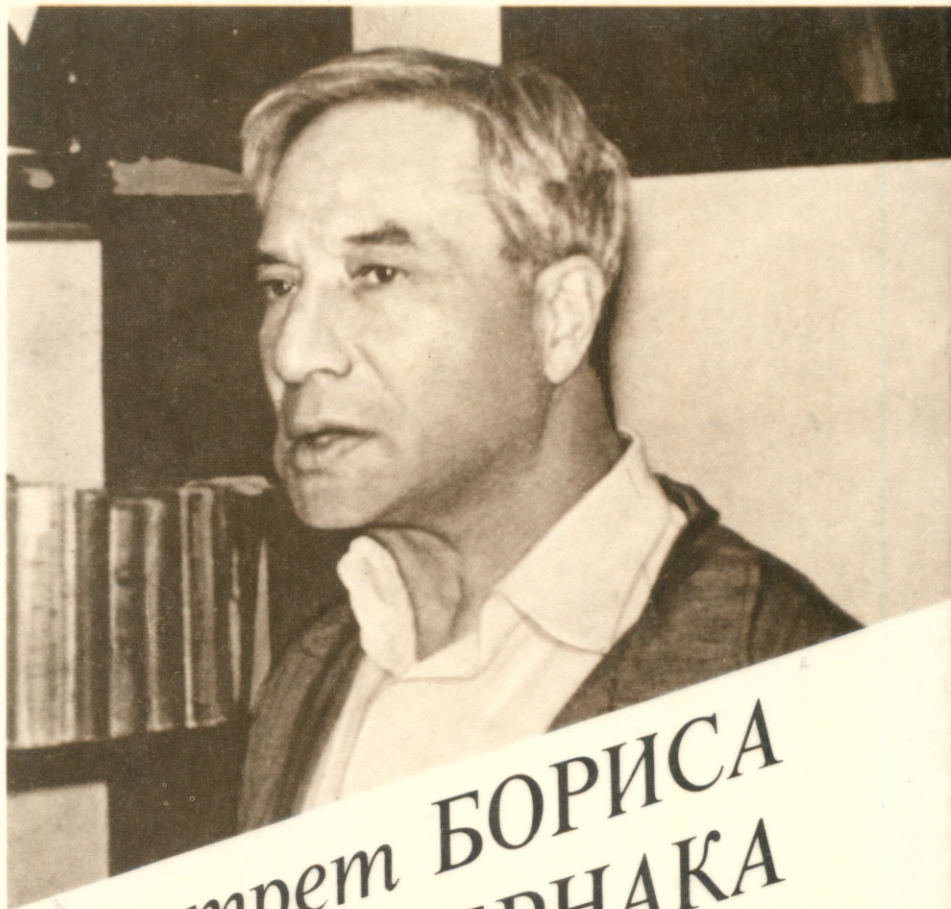


Зоя Масленикова    Портрет БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Зоя Масленикова



Портрет БОРИСА  
ПАСТЕРНАКА

Зоя Масленикова

Портрет БОРИСА  
ПАСТЕРНАКА

Москва  
«Советская Россия»  
1990

8Р2  
М31

**Масленикова З. А.**

**М31** Портрет Бориса Пастернака. — М.: Сов. Россия, 1990. — 288 с., 8 л. ил.

Дневник автора скульптурного портрета Б. Л. Пастернака написан на основе многочисленных бесед с писателем, которые она вела во время работы. Скульптор рассказывает о личности Б. Л. Пастернака, его взглядах на литературу и искусство, о событиях последних двух лет его жизни — публикации романа «Доктор Живаго», присуждении Нобелевской премии, шумном отклике на эти события, исключении из членов Союза писателей.

М  $\frac{4603020101-121}{М-105(03)90}$  148—90

**8Р2**

ISBN 5—268—01127—8

© Издательство «Советская Россия», 1990 г.

## ПАСТЕРНАК — СОБЕСЕДНИК

*(Вместо предисловия)*

Предлагаемые записки о встречах с Борисом Леонидовичем Пастернаком не что иное, как дневник. Я делала записи обычно на следующий день после встречи, стремясь как можно точнее воспроизвести диалог по свежим следам. Писала я затем, чтобы сохранить для себя, и только для себя, наши разговоры.

Семь лет после смерти Бориса Леонидовича я не решалась даже отдать тетрадки на машинку. Смущали меня в числе прочих и следующие обстоятельства:

— возможные погрешности памяти, да и не все я могла понять из его высказываний;

— невольное навязывание читателю моей особы: ведь диалог есть диалог; хотя под многими моими понятиями тех лет я отнюдь не подписываюсь сегодня, но я их нарочно оставила, чтобы показать, как Борис Леонидович создавал атмосферу, в которой его собеседники чувствовали себя чуть ли не на равных;

— резкие его суждения о многих здравствовавших тогда или ныне здравствующих близких;

— откровенности, которые явно не предназначались для посторонних ушей и могли в те времена, как я опасалась, повредить публикации его произведений.

Но постепенно одержало верх сознание, что через меня Пастернак обращался и к другим, ведь не могли адресоваться мне одной все эти щедроты (недаром же он так горячо благодарил, когда я призналась ему, что веду эти записи).

Со временем в записях обнаруживались мелкие неточности. Теперь трудно установить их причины. Я могла и ослышаться, и ослабить внимание к словам Бориса Леонидовича в какой-нибудь особенно напряженный момент работы, да и просто память могла вдруг подвести. Но и он сам тоже ведь мог ошибиться, излагая тот или иной факт, или его сведения могли оказаться неточными.

Я оставила все, как есть. Ведь дневниковые записи не научный труд, назначение их другое.

Каждая запись лишь титр под кадром. Мне жаль быть единственной зрительницей этого фильма. Но я надеюсь, что какие-то картины возникнут и перед теми, кому дорог этот удивительный человек и гениальный художник.

Знакомство наше с Пастернаком состоялось в конце июня 1958 года, а последний разговор произошел в апреле 1960-го, за несколько дней до того, как он слег в свою последнюю болезнь.

В тесное пространство этих двух лет включились перипетии с публикацией его романа «Доктор Живаго», бури, поднятые присуждением Нобелевской премии, исключение из Союза писателей, шумный отклик мировой общественности на эти события (достаточно упомянуть, что за Пастернака лично ходатайствовал Джавахарлал Неру), а затем работа над незавершенной пьесой «Слепая красавица» и, наконец, болезнь и смерть.

«То, что случилось и продолжает происходить в этом году, — сказал Пастернак в мае 1959 года, — превышает по сумме события всей остальной жизни, если их собрать вместе».

Сюда же уместилось более семидесяти наших с ним встреч и разговоров, в которых эти события нашли свое отражение.

В основном беседы велись во время позирования Бориса Леонидовича для скульптурного портрета.

Впоследствии записи разговоров помогли мне лучше осмыслить важные черты личности Пастернака, проявившиеся в общении с людьми.

Однажды Борис Леонидович сказал: «Я не люблю слово «культура». Оно у меня как-то ассоциируется с культуртрегерством. Вместо него Симочка (одна из героинь «Доктора Живаго». — *З. М.*) употребляет слово «работа». Греция была такой великой работой, итальянский Ренессанс...»

Мне представляется, что Пастернак сам был подобной «великой работой». Попробую объяснить.

В силу биографических условий он с младенчества оказался на перекрестке больших трудов русской и мировой культуры, часть которых, и немаловажная, совершалась у него на глазах. Его отец был крупным художником-академиком, вечным тружеником, мать — выдающейся пианисткой. В доме запросто бывали Толстой, Скрябин, Серов, Ге. Из окна кухни можно было наблюдать за работой скульптора Паоло Трубецкого. Квартира примыкала к мастерским, где замечательные педагоги обучали молодых художников, многие из которых составили потом славу русского искусства. Таким образом, Пастернак с детства был включен в атмосферу серьезного творческого труда, созидавшего «серебряный век» нашей культуры.

Самостоятельная переработка наступающих его со всех сторон художественных впечатлений, творческих концепций и философских идей среды рано и естественно вводит его в эту работу.

Она уже никогда не остановится в Пастернаке, чем бы он ни занимался: музыкой, философией, литературой. Она не будет прекращаться в нем и в часы отдыха, прогулок, бесед. Механизм творчества приведен в действие раз и навсегда. Это меньше всего значит, что он непрерывно выдает готовую продукцию. Может быть, главная часть работы происходит и не за письменным столом

вовсе. Но это рабочее состояние головы и сердца проявляется с необычайной простотой чуть ли не в любое мгновение его существования.

Приходя позировать от письменного стола, Борис Леонидович нередко продолжал размышлять вслух над письмами, статьями или пьесой, которые он только что писал.

Как следует из свидетельств очевидцев, говорил Пастернак в разные эпохи творчества по-разному. То есть говорил и писал, как думал и чувствовал, в зависимости от того, чего искал и к чему стремился.

Перенасыщенность одновременным восприятием, переживанием и осмыслением уму непостижимого богатства разнообразнейших знаний и сигналов от живой жизни и стремление передать все это единым махом в начальную пору приводило порой к непреходимой усложненности ранних стихов, прозы и речи. Но сквозь эти дебри он упорно пробивался к прозрачной ясности позднего периода.

В родстве со всем, что есть, уверясь  
И знаясь с будущим в быту,  
В конце нельзя не впасть, как в ересь,  
В неслышанную простоту.

И в ходе этого процесса упорядочивалась, осветлялась и прояснялась его речь.

По счастью, я общалась с Пастернаком в поздний период высокой классики, и речь его была большей частью внятна. К тому же в него, казалось, было встроено некое «реле чуткости», которое мгновенно перестраивалось на уровень понимания собеседника. И все же случилось, что, хотя все слова были понятны, мысль его совершенно от меня ускользала. Это происходило тогда, когда пропадала впустую невольная работа предугадывания очередного витка его речи. Его гений часто прокладывал тропы по нехоженным ландшафтам, находя первозданные способы выражения, которые были мне

недоступны. Размытая туманность первичного хаоса пронзалась ослепительными, как молнии, внешне неуместными конкретностями, и тогда я не могла ни понять, ни запомнить его слов вне связи с ускользнувшим смыслом.

Речь Пастернака была неслыханно содержательна, и потому мысль его нередко кружила запутанными витиеватыми ходами с неожиданными ответвлениями. Тогда казалось, что он безнадежно забыл, с чего начал, увлекшись случайными частностями или попутными находками. Но нет, все ненужные, казалось, объяснения, перескакивания, отступления вдруг обрели свое значение, и в пространном ветвистом дереве рассуждения обнаруживалась внутренняя стройность, превращавшая плоскую схему ожидавшейся логики в живой объемный организм, существующий по своим неписаным законам.

Этот текущий поток речи нес с собой и крупницы тут же рождавшихся афоризмов. То, что для кого-то могло стать темой ученого исследования, щедро разбрасывалось на ходу, как искры от раскаленного железа, которое кует кузнец на наковальне.

«Нельзя быть в искусстве жар-птицей, а в быту мокрой курицей». Или: «Лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком».

Слово — его профессиональное орудие, и даже в случайных репликах оно сверкает и искрится. Но бывает, это дается ему трудно, он долго мычит, экает, гудит, ища то единственное, что ему нужно. Тогда кажется, что слышно, как со скрипом проворачивается в его голове туго идущий механизм оригинальной мысли, сопротивляющийся беззаконной, бездумной легкости штампа.

Но чаще его старомосковские, богатые модуляции насыщены свободными, барскими интонациями. Говорит он громко, непринужденно, он хозяин своей речи, она



послушно повинуется ему и всячески ему подражает. Как будто она поставила себе цель походить на своего хозяина, добиться единства с ним, и это ей прекрасно удалось. Они друг с другом слились, стали неотличимо похожи и, по существу, составляют одно целое.

А ведь это редко в жизни случается. Мало кто из людей обладает такой цельностью натуры, чтобы между человеком и его речью пропадала дистанция, наполненная толпами многообразных околичностей.

Мы перестали употреблять слово «артист» в его широком, обобщающем смысле, обычно для нас это синоним слова «актер». В его первоначальном значении оно означает «человек искусства». В этом смысле для Пастернака беседа была неким художественным поприщем, невольным поводом для проявления прирожденной артистичности. Впрочем, только ли беседа? Случалось, он не знал, что за ним наблюдают, мог думать, что он один. Но и тут даже по его походке или по тому, как он просматривает только что полученную почту, видно было, что перед вами истинный художник, художник в каждом случайном жесте.

Рассказывая о разных персонажах, Пастернак мог мгновенно в них преображаться. Однажды я увидела перед собой неожиданного и вместе с тем достоверного Горького: до сих пор помню, что в это мгновение карие глаза Бориса Леонидовича показались мне серо-голубыми, его прямые плечи вдруг ссутулились, он стал больше ростом и закал, как волжанин.

Говоря о том, как Андрей Белый смотрел на Маяковского, Пастернак вдруг впился в меня, можно сказать, раскаленным жадным взглядом, от которого я покраснела и съежилась, так мне стало не по себе.

Однажды, к слову пришлось, изобразил, как Бурлюк читает стихи. Лицо его стало неподвижным, глаза глупо выкатились, а в них забегали чертики, и он громогласно и высокомерно понес несусветную бурлюковскую чушь. Я хохотала до упаду, так это было смешно.

В процессе творческой работы меняется не только материал, над которым трудится художник, но в значительной мере и он сам.

Я уже застала итоги этого преобразующего труда, тонкой шлифовки души на протяжении долгой жизни, и поэтому мне хочется рассказать, как проявлял себя Пастернак в человеческом общении.

На всем его облике и на манере общения сказывались и мировоззренческие начала. Толстовское влияние проявлялось в простоте и неприязнательности его одежды и обстановки дома, особенно в аскетически пустой его комнате, солдатской железной койке, накрытой старым лняным покрывалом.

Пожалуй, налет толстовского опрощения лежал и на скромной, простой и демократичной манере обхождения. Но еще определенной проявлялись в отношении к собеседнику его духовные установки.

Правда, мне кажется, что человек выбирает себе мировоззрение и жизненную позицию в соответствии со своими изначальными психофизическими данными, и я не берусь провести четкую границу между врожденными свойствами Пастернака и плодами его духовного самовоспитания.

Прежде всего поражала его безоглядная открытость и детская доверчивость, однако без тени наивности. В основе ее лежала некая «презумпция порядочности». Кажется, чуть не любого незнакомца, если уж Пастернак шел на контакт, он встречал с рыцарской старомодной учтивостью и доброжелательством. Если он к тому же обнаруживал в собеседнике интерес к себе и понимание, то щедро дарил его сердечностью, одобрением, восхищением.

В первые же минуты знакомства после того, как, объясняя, почему хочу его лепить, я сказала, что люблю поэзию больше того искусства, которым занимаюсь, а в современной поэзии выше всех ставлю его, и что особенно

ценю его нравственный облик, то, как он выдерживает испытания времени, он уже говорил мне, женщине с улицы, о которой он ничего не знает: «Я, вероятно, самый обыкновенный обыватель, но, правда, есть случаи, когда меня ничто не может заставить пойти против совести. В связи с венгерскими событиями ко мне приезжали за подписью под одним документом. И как ни настаивали, я наотрез отказался». И такое признание он ведь сделал в 1958 году, когда уже начались гонения за роман и его публикацию за границей.

«Если уж говорить, то откровенно, а иначе и не стоит», — как-то обмолвился он.

Пожалуй, второй поражающей чертой Пастернака можно назвать его скромность. Она проявлялась, в частности, в его способности восхищаться людьми, находить поводы для одобрения и похвал, порой обескураживающих своей чрезмерностью.

«Я вашей Лизе Драбкиной в подметки не гожусь!» — совершенно серьезно воскликнул он, когда я рассказала об испытаниях, выпавших в заключении на долю писательницы Елизаветы Драбкиной.

Известны его дарственные надписи на книгах, которые можно было бы счесть чистой водой комплиментами, если бы не подкупающая искренность его доброжелательности.

Естественно, готовя к печати записи бесед, я подчеркивала бесчисленные: «Умница!», «Молодец!» и прочие знаки одобрения, которыми была усыпана его речь. И напрасно, они ведь характеризуют Пастернака, а не автора записок. Но уж очень мы непривычны к такой манере, и записи, испещренные этими похвалами, воспринимались бы как нескромность автора.

Он мог быть сам жаден на похвалу и несоразмерно за нее благодарен, когда она свидетельствовала о понимании и о том, что его работа находит глубокий отклик в собеседнике. Но и тут чувство правды и огромной требо-

вательности к себе никогда не покидало его. А фальши преувеличения он не прощал. Так, он резко рассорился со своим другом актером Б. Н. Ливановым, когда тот на людях стал превозносить его. «Я не лягушка, чтобы меня раздувать, — негодовал он. — Гораздо лучше, если б вместо преувеличенных восхвалений был просто интерес ко мне».

В ходе беседы в нем включался аппарат творческого сопереживания. Это сказывалось и в том, как охотно он подхватывал и развивал порой мысль собеседника.

Но более всего его способность сопереживать я ощущала в ходе работы над портретом.

Работа эта не шла гладко. Иногда я сбивалась и портила достигнутое. Но Пастернак был не просто моделью, он творчески соучаствовал в рабочем процессе. Он так это и воспринимал сам, иногда говоря после сеанса: «Мы с вами хорошо поработали сегодня». Он всячески вселял в меня уверенность, обострял способности, поддерживал и окрылял. За всю жизнь я не слышала и десятой доли тех похвал, которыми он осыпал меня. Он все делал, чтобы укрепить мою веру в успех. Мне позировали десятки людей, в том числе и поэты, например Ахматова и Асеев. Но ни с кем работа не шла так весело и азартно.

Казалось, я должна была уставать. До дачи Пастернака надо было ехать электричкой и идти с полчаса пешком. Работа требовала особого напряжения: я знала, что передо мной великий поэт; к тому времени он был главным собеседником сердца уже двадцать лет, я бесконечно восхищалась им, и мне жизненно необходимо было, чтобы портрет удался. Я понимала, что он жертвует своим временем, которое мог бы просидеть за письменным столом, и тем самым я лишая людей его бесценных строк. Поэтому в работе я, разумеется, выкладывалась.

Но, кроме того, надо было поддерживать разговор и напоминать его, что тоже требовало полного внимания.

Часто я приезжала домой с головной болью, едва держась на ногах от усталости.

Но утомление очень быстро проходило, потому что я получала от общения мощнейший заряд, оно насыщало меня силой и радостью, и весь этот период работы со всеми трудностями и неладями я вспоминаю как пьянящее счастье. Этого не было бы, если б не братская доброта и щедрость Пастернака.

Обычно мемуаристы отмечают монологичность его речи. Действительно, он мог увлечься предметом и долго, обстоятельно говорить о нем. Охотно рассказывал обо всем, чем жил в этот день, о чем думал, что переживал.

Но его совершенное «реле чуткости» мгновенно настраивало его на сегодняшнее состояние собеседника, на его потребности, интересы и невысказанные вопросы.

Он безотказно откликался на любую просьбу рассказать о чем-нибудь, и тогда следовала подробная увлекательная повесть то о Цветаевой, то о встречах с Горьким, то о себе в отрочестве, то об отношениях со Сталиным, то о том, что сейчас пишет.

Но все равно это был не монолог, а беседа. Он следил за выражением лица собеседника, как бы держал руку на его пульсе, откликаясь на его реакцию.

Его интерес к людям был живым и неподдельным. В первый же наш сеанс он подробно расспрашивал меня о семье, о том, как устроена моя жизнь, о моей художнической судьбе и позиции. Сам он говорил на удивление охотно, иногда с жадностью до слушателя, и тем невольно выдавал, как был в то время одинок.

Вообще Пастернак был очень добрым человеком, внимательным, отзывчивым, иногда отечески заботливым.

Перед моей поездкой на пароходе дает советы: не брать этюдник и книг для чтения, коридорной дать денег не в конце поездки, а в начале, вовлекает меня в неначатое путешествие, задает ему мирную, пасторальную тональность.

Доброта Пастернака сказывалась, в частности, в его готовности понять собеседника, в желании стать на его позицию, найти возможность согласиться с ним.

Хорошо известно, как упорно отвергал он свои довоенные стихи. О разговорах на эту тему еще в 1941 году в Чистополе вспоминает А. Gladkov.

Борис Леонидович не раз говорил и со мной об этом. Но однажды, когда я горячо ему возражала, он и тут почти готов был согласиться, так велика в нем была потребность понимать другого.

Его уважение к человеку, эта глубинная доброта делали его широким и терпимым.

Пастернак насыщал атмосферу встреч невиливающей правдивостью, и любая фальшь становилась немислимой. Прочитав «Доктора Живаго», роман, который я сразу и на всю жизнь полюбила, я все же многое не могла в нем принять.

Но, несмотря на мои настойчивые возражения, его доброе ко мне отношение ни на йоту не меняется. Более того, он не отмахивается от них, а отвечает со всей серьезностью.

Если правда, что художник творит затем, чтобы люди полюбили его самого, — а на это намекает строка, ставящая перед поэтом задачу «привлечь к себе любовь пространства», — то Пастернак не только в литературе, но и в жизни весь был таким творчеством — обнаружения, вбирания в себя лучшего в другом человеке и полной ему самоотдачи в момент общения.

Жизнь ведь это только миг,  
Только растворенье  
Нас самих во всех других,  
Как бы им в даренье.

В собеседнике, попавшем в это мощное излучение деятельного добра, нередко происходили глубокие изменения.

Общение с Пастернаком было некоей творческой и

духовной школой, от встречи к встрече легко и незаметно усваивалась некая обширная программа, способствовавшая быстрому духовному росту. В той целостной подвижной картине сущего, которую он постоянно творил как художник, для него важна была любая деталь, а тем более живой человек, так или иначе с ним в общении сотрудничавший. Вовлекая собеседника в свое ощущение единства и одухотворенности мироздания, он вдруг ставил его на новую высоту обзора и гостеприимно распахивал перед ним новые дали.

В силу бесстрашной безоглядности ему не надо было ничего делать напоказ. Все проявления его были естественны и подлинны. Он не стыдился и плакать, когда случалось, или беспричинно улыбаться во все лицо, когда был счастлив. Мог и рассердиться не на шутку, и обозвать почтенную даму дурой, правда, за глаза, но в гневе он всегда владел собой и был достаточно сдержан. И каждый раз был другим, новым, непредвиденным.

Пастернак был похож на проточное озеро. В него вливалась река впечатлений, собиравшая воды с необозримой территории, а из него непрерывно лился поток самовыражения даже тогда, когда он молча думал в присутствии собеседника, и процесс этот обновлял и обдавал чувством свежести их обоих.

Это привычное ему состояние было самым здоровым, основанным на сильном, нормальном функционировании эмоционального и творческого аппарата, неизменно находившегося в отлаженной рабочей форме.

При всей спонтанной импровизационности общения, вольной, непринужденной игре тем, интонаций, нюансов живых взаимоотношений Борис Леонидович был как бы драматургом и одновременно режиссером-постановщиком встречи. Он брал на себя ответственность за ее содержательность, пропорции и гармонию. Он строил встречу по законам истинного вкуса как «явление» в акте, держа в уме и отдельные сюжеты, и сквозной замысел пьесы.

Но легкость импровизации оставляла собеседнику чувство полной свободы. При этом Пастернак вовлекал его в круг своих мыслей и интересов в безошибочной уверенности, что они ему дороги и важны.

Сколько надо отваги,  
Чтоб играть на века,  
Как играют овраги,  
Как играет река,

Как играют алмазы,  
Как играет вино,  
Как играть без отказа  
Иногда суждено.

Это относится в первую очередь к самому Пастернаку. Он знал, что «вышел на подмости» и на него направлены «тысячи биноклей». Он ясно сознавал свою роль. Но знание о своем предназначении уравновешивалось этой артистически свободной, увлеченной до самозабвения игрой-творчеством, позволявшей ему в каждое мгновение оставаться самим собой, сохранять почти детскую непосредственность. Он ничего не оставляет про запас на черный день и расточает себя встречному и поперечному с какой-то безоглядной удалью.

Человек и творец в нем слиты воедино и равновелики.

Поэтому речь его представляется мне столь же бесценной, как и его стихи, письма и проза.

К несчастью, в записях бесед неизбежно пропадает воздушная объемность и ветвистая усложненность ходов его мысли.

Память не стенографистка, а переводчица. Она невольно перелагает чужую речь на свой привычный и доступный язык. Поэтому записи мои страдают неизбежным упрощением и уплощением того чуда, которым была вибрирующая, насыщенная светом, игрой и энергией речь живого Пастернака.

Текст записей публикуется в сокращении.



# 1958 год

---

22 июня

Как все это началось? В конце апреля мы с мужем отправились в Мичуринец искать дачу для дочки, но по ошибке сошли станцией раньше и оказались в Переделкине. Тут же на платформе нам предложили подходящую дачу.

Месяц спустя ко мне зашел один знакомый.

— Вы сняли дачу в Переделкине? А вы знаете, что там живет Пастернак?

— Нет, понятия не имела.

— Это кismet (его любимое словечко, означающее, кажется, судьбу, рок). Вы должны его лепить.

С тех пор эта мысль не покидала меня, хотя я и не верила в возможность ее осуществления. Слишком давно, слишком глубоко жили его стихи у меня в душе как самое драгоценное и заветное впечатление от встреч с искусством. Слишком подлинной тайной славой был овеян его образ. Но я знала, что не прощу себе, если не сделаю этой попытки.

И вот в это воскресенье я подходила к двухэтажной деревянной даче, за которой черной стеной стоят сосны.

В сад ко мне спустилась Зинаида Николаевна<sup>1</sup>.

Я назвалась и объяснила цель прихода.

— Не думаю, чтобы Борис Леонидович согласился позировать, — сказала она. — Но я ему передам. Сейчас его нет дома, а вы приходите во вторник или среду около часу за ответом.

На этот раз с крыльца сошел хозяин дома. Первое впечатление: юношеская легкость и лицо давнего друга. Он был в летних серых брюках и голубой рубашке с застученными рукавами и раскрытым воротом, чуть загорелый. И если бы не белые волосы, то и в голову не пришло бы, что он уже очень не молод.

— Пойдемте, Зоя Афанасьевна, поговорим. — И он повел меня по немятой траве к террасе. Мы сели друг против друга за длинный, покрытый клеенкой стол.

— Должен вас огорчить, Зоя Афанасьевна. Я сам из художнической среды, отец мой был художник, может быть, вы знаете. И меня не раз просили позировать — и Кончаловский, и Фаворский, и Сарра Лебедева, и Коненков. Года два назад скульптор Григорьев просил меня. Надо быть идиотом, чтобы хотеть видеть себя изображенным: выходишь или непохожим, или если уж похожим, то обезьяной. И, кроме того, я полгода болел, теперь хочется наверстать упущенное.

— И потом вы, наверно, думаете: почему именно она и почему именно меня хочет лепить?

— Ну, имя и все такое.

Я объясняю, что люблю поэзию больше того искусства, которым занимаюсь, а в современной поэзии выше всех ставлю его и особенно ценю его нравственный облик, то, как он выдерживает испытания времени.

— Спасибо. Это самая высокая похвала, которую может получить человек. Я, вероятно, самый обыкновенный обыватель, но, правда, есть случаи, когда меня ничто не может заставить поступить против совести. В связи с венгерскими событиями ко мне приезжали за подписью под одним документом. И как ни настаивали, я наотрез отказался. Но вообще я обыватель, как и герой моего романа Живаго.

Он принимается говорить об этой книге.

— Роман имел успех за границей. Он о жизни и смерти, о человеческом бытии, но в какой-то исторической раме. И революция там изображается вовсе не как торт с кремом. Почему-то ее принято изображать как торт с кремом.

— Ну, у Шолохова она вовсе не такая.

— Да. Когда на Западе говорят о советской литературе, то обычно упоминают оба наши имени вместе.

Меня упрекают в том, что в романе я пренебрег установившимися взглядами на исторические события и этим якобы нарушил кем-то как-то толкуемые интересы государства. Это похоже на то, как большой пароход отчаливает от пристани, уходя в дальнее плавание, а на берегу кричат: корзинку забыли! Ну не может он вернуться назад за корзинкой!

Мы разговорились, и вскоре я вернулась к цели своего прихода, предложив посмотреть фотографии с моих работ.

Он внимательно разглядывает снимки, расспрашивает о моделях.

— Очень жизненно и выразительно. И я верю, что похоже, потому что убедительно. Внутреннюю сущность все хотят передать, без этого желания в искусство не идут, но владение формой, умение передавать сходство — это очень важно. Ну что ж, когда вы хотите начать?

Я чуть не вскакиваю со скамьи. Мы назначаем первый сеанс на второе воскресенье июля.

— Вам, вероятно, будет интересно познакомиться с моим «Биографическим очерком»<sup>2</sup>, — говорит Борис Леонидович. — Я могу вам дать.

Он уходит в дом и возвращается с зеленой папкой.

— Огромное вам спасибо. А можно «Очерк» перепечатать?

— Да, конечно. Я очень рад, что с вами познакомился. Жду вас в двенадцать, — говорит он, прощаясь.

Я уйду степенным шагом, но мне стоит большого

усилия не оторвать ног от дорожки и не полететь над землей.

Неужели все это правда?

*13 июля*

В дни, оставшиеся до первого сеанса, я волновалась: а вдруг раздумает? Поэтому мои первые слова, когда я увидела Зинаиду Николаевну, были:

— Не передумал?

— Он пошел гулять и скоро придет, — отвечала она.

Мы сидели с ней на нижней веранде, где решено было работать, когда, наконец, пришел Борис Леонидович.

— Простите, Бога ради. Я больше не буду опаздывать. Где мне сесть?

Я ставлю соломенное кресло на нужное место, достаю приготовленный эскиз. Он застывает. Лицо неподвижное. Я принимаюсь за работу.

Проходит время, и он говорит:

— Я, кажется, повернул голову.

— Сидите совершенно свободно. Можете менять положение, двигаться, разговаривать с кем-нибудь.

— Нет, нет, я вам хорошо буду позировать.

— Хорошо позировать значит существовать независимо от меня.

Он садится свободнее, и через некоторое время, когда, как мне кажется, он отрывается от мыслей, на которых был сосредоточен, я отваживаюсь заговорить.

— Борис Леонидович, от кого это пошло, что вы похожи сразу и на араба и на его коня? От Ахматовой?

— От Цветаевой<sup>3</sup>. Правда, есть что-то лошадиное? — улыбается он милой улыбкой. — А вас ничего не задело из того, что я написал об Ахматовой в «Биографическом очерке»<sup>4</sup>?

— О ней — нет. А вот то, что вы о Маяковском написали, задело.

— Вот как? А что именно?

— Мне кажется, вы несправедливы к нему. Можно по-разному воспринимать мир, с разным углом охвата. И талантливость или неталантливость не зависят от этого. Ну какой угол охвата был, скажем, у Эмили Дикинсон? У Маяковского был общественно-исторический строй мировоззрения, и я убеждена в полной его искренности. А у вас выходит, что он как бы...

— Покрывил душой? — подсказал Борис Леонидович.

— Да.

— Я этого не хотел сказать. Я очень любил раннего Маяковского, испытал огромное воздействие его таланта, но то, что он писал в последние годы, мне кажется риторическим.

Я заговариваю о «Биографическом очерке». Рассказываю, что он действует на меня так же, как музыка: порождает ток внутренней жизни, будит мысли, прямо даже не связанные с ним.

— Это как раз то, чего я хотел. Чтобы реальные картины вызывали к жизни какие-то состояния, настроения. Но вы заметили, он как бы распадается на две части, неодинаково написанные. Первая состоит из таких вот реальных картин жизни, а вторая — из портретов. Мне доставляло огромное удовольствие заключать в несколько строк знакомый образ. Мне вообще всю жизнь хотелось писать прозу. Стихи писать легче.

Но я ограничился во второй части «Очерка» портретами вовсе не потому, что боялся честно говорить о после-революционном периоде. Все, что в такой книге было бы ценного, вошло в роман.

— Как же это получилось, что его у вас нет?

Почему-то он понял, что я его спрашиваю, отчего роман не издан.

— Мне очень хотелось видеть его напечатанным. Я его послал в разные редакции, но его отклонили и разругали. В Союзе писателей было обсуждение, но я не поехал и хорошо сделал — оно было мне враждебным. Но там

были люди, представлявшие мои интересы. Сурков назвал роман антисоветским, и он был прав, если под советским понимать нежелание взглянуть на жизнь такую, как она есть. Там решили создать комиссию по этому поводу. На комиссии я был. К сожалению, в нее вошли Федин и Твардовский, к обоим я очень хорошо отношусь, и я не мог быть с ними так резок, как надо бы.

В Италию роман попал без моего ведома<sup>5</sup>, но когда там было решено его издать, я обрадовался. Здесь об этом узнали и просили меня задержать издание на полгода с тем, чтобы он успел выйти у нас раньше. Я это сделал, но потом убедился, что это только проволочка, что его не собираются у нас издавать. Там стали готовить его к печати. Тогда меня заставили подписать телеграмму о прекращении издания. Я сделал это с легким сердцем, потому что знал, что там сразу по стилю телеграммы поймут, что она не мной написана. Роман вышел и имел большой успех. За полгода появилось одиннадцать изданий.

— А какой тираж?

— В Италии тиражи несоизмеримы с нашими. Первый — 3000, второй — 5000, остальные — по 10 000. — А вы английский знаете? — вдруг спрашивает он.

— Да. Это вы потому спросили, что я о Дикинсон упомянула?

— Да.

— Вы ее цените?

— Да, конечно. Но не слишком.

— Между прочим, из нее сделала хорошие переводы Вера Николаевна Маркова, но они не опубликованы. Если хотите, принесу.

— Спасибо, но у меня нет времени читать. Так хочется самому работать! Сейчас идут отклики на роман, и много времени занимает переписка. Это не значит, что я целый день что-то строчу.

— Нет, я представляю, просто хочется побыть со своими мыслями одному.

— Вот-вот, вы понимаете.

— А сейчас вы что-нибудь пишете, Борис Леонидович?

— Только письма. Но мне хочется писать. Хочется написать пьесу о русском актере, об обаянии русской интеллигенции. И в реальной жизни, где-то на рубеже, где кончается крепостное право и начинается другая жизнь. Так, как это делал Островский, но у него среда — купечество, а я хочу взять другую среду — разночинную интеллигенцию. Это должен быть очень талантливый человек, ищущий и мятущийся.

И еще мне хочется написать шпионский роман. О том, как из лучших патриотических побуждений, но нелегально в Россию возвращается эмигрант. Ему приходится скрываться, его ищут; сюжет должен быть острый и не такой банальный, как обычно.

Поработав молча, я говорю:

— А знаете, кто мне вас открыл? Асеев.

— Николай Николаевич? Что вы говорите! Расскажите! Не о том, как он вам меня открывал, а о том, как вы с ним познакомились.

Я рассказываю о том, как пятнадцатилетней севастопольской школьницей стала партнером Асеева по теннису в Ялте, и о том, как впервые услышала о Борисе Леонидовиче и его стихи из уст Асеева.

— Асеев чудный человек<sup>6</sup>, он гораздо лучше меня. Но ему хотелось бы услышать от меня о его стихах то, чего я не могу сказать. Им чего-то не хватает. Страстности, той силы, которая заставляет не останавливаться на достигнутом, не удовлетворяться им, той требовательной жажды совершенства, из-за которой Толстой семь раз переписывал «Анну Каренину».

Но тут к дому подъезжает машина с немецким корреспондентом, и на этом сеанс заканчивается.

В этот сеанс я продолжала работу над эскизом.

— Борис Леонидович, мне понадобятся ваши фотографии разных лет. Вы их мне дадите?

— У меня их очень мало. Я редко снимался, а из того, что было, почти ничего не сохранилось. Но кое-что наберу. Удачных мало. Я, когда снимаюсь, опускаю вниз челюсть, чтобы лицо казалось удлинённым. Хочется выглядеть более красивым.

— Я в портрете стараюсь выразить человека не только таким, какой он сейчас, но и таким, каким он был на протяжении всей жизни. Вы помните себя в 14 лет?

— Отлично помню.

— Расскажите!

— Я в это время страстно увлекался музыкой, находился под сильным воздействием Скрябина. Уже тогда была и до сих пор осталась жалость к женщине, как к существу поруганному, оскорбленному. Был крайне застенчив, излишне целомудрен и в отношениях между полами боялся всего, что называл пошлостью. Это, вероятно, была обратная сторона просыпающейся мужественности. Это признак здорового естественного развития, и через это обычно проходят нормальные неспорченные дети. Мог влюбляться в товарищ и страшно ревновал, когда такой товарищ оказывал кому-нибудь предпочтение, ну, например, становился в паре не со мной. Уже тогда знал Рильке, увлекался Белым, Пшибышевским, вкусы в искусстве были самыми левыми, отрицал всю классику, чем очень огорчал отца<sup>7</sup>.

Об этих его огорчениях я узнал сравнительно недавно. Отец умер в 1945 году в Оксфорде. Там живут мои сестры. После гастролей МХАТа в Лондоне Зуева<sup>8</sup> привезла мне от них большое письмо. Я думал, что они что-нибудь интересное для меня напишут, а они подробно описывали, какие у меня племянники.



Но они прислали мне фотографии последней выставки работ отца, а также его записки. Это разрозненные заметки разных лет — тут и счета, и деловые письма, и записки в дневнике. И вот я прочел прекрасное описание переезда на дачу и встречи с весенней природой и слова о ссоре с Борей. И в другом месте: «...после скандала с Борей...»

— Повлиял на творчество вашего отца контакт с современным западным искусством?

— Нет, он, по-видимому, еще больше укрепился в реалистическом направлении.

— Борис Леонидович, авы никогда не рисовали?

— Рисовал, как все, до 10—12 лет и, кажется, плохо. Отец у нас был молодец, говорил: бросайте! И в самом деле, к чему поддерживать слабые потуги. Если человеку дано, он и сам выберется.

— Я спросила потому, что это часто сочетается: поэзия и рисование.

— Да. Вот был такой крупный польский поэт и художник Выспяньский.

— Его выставка или уже открыта, или на днях открывается.

— Выспяньского? Что вы говорите! Вы непременно сходите. Отец часто и очень хорошо о нем отзывался.

Поработав молча, я говорю:

— Борис Леонидович, вы выглядите так, будто занимались спортом. Это верно?

— Нет, я никогда спортом не занимался. Я люблю ходить. До болезни возился на огороде, копал. В молодости ходил на охоту.

— Но ведь вы не можете убить!

— Я вам даже больше скажу. В 1915 году я жил в имении Морозова на Урале<sup>9</sup>. Это замечательные места, там, между прочим, Чехов бывал. Я ходил с ружьем. То ничего не встретишь, то промажешь. И вот, возвращаясь, я как-то увидел птичку. Она взнеслась высоко в небо и пела себе. Я подумал — все равно не попаду, и вы-

стрелил. И попал. До сих пор неприятно, когда об этом вспомнишь. Но вообще-то глаз у меня неплохой. В 1941 году мы тут проходили обучение. Я стрелял лучше других писателей, об этом даже говорили.

До конца сеанса он расспрашивал обо мне, о семье, интересовался, как устроена моя жизнь. Он понял и одобрил мою позицию в искусстве.

*27 июля*

Итак, в это воскресенье я въехала в ворота дачи на такси, нагруженном станками, ящиком с пластилином, табуреткой и пр.

Когда я вышла из машины, наверху распахнулось окно.

— Здравствуйте! — крикнул Борис Леонидович. — Вам пришлось взять машину из города? Я сейчас спущусь.

Он с любопытством взглянул на мои атрибуты и передал мне большой конверт с фотографиями.

Я долго сосредоточенно работаю молча. Чувствую, что Борис Леонидович пачинает привыкать ко мне. У него напряженное, размышляющее лицо, в нем идет еле уловимая работа. Потом губы начинают шевелиться, мне кажется, что он беззвучно шепчет стихи. Вдруг он спохватывается, бросает на меня быстрый взгляд и смущенно улыбается. И, видимо, велит себе перестать.

Я рассказываю, как сегодня случайно увидела, что вахтерша из нашего дома читает Цветаеву, и как сменяла у нее стихи на три другие книжки.

— Для меня стихи — лишь окошечко в душу поэта, — замечаю я. — Когда я говорю, что люблю Лермонтова, Байрона, Пастернака, я имею в виду не стихи, а их самих, узнанных благодаря стихам.

Он чуть смущен и принимается говорить о Лермонтове и о Байроне.

— И для меня тоже Лермонтов, пожалуй, скорей,

чем Пушкин. Пушкин был первым, кто выстроил дом русской поэзии, а Лермонтов...

— Был первым жильцом в нем,— подхватываю я.

— Умница. Это как раз то, что я хотел сказать. Между прочим; мое отношение к Лермонтову многим на Западе непонятно. Мои стихи переводит один профессор Калифорнийского университета, он и раньше занимался мною. Так он мне прислал письмо, в котором просит объяснить мое отношение к Лермонтову.

— Что же вы ответили?

— Я еще не отвечал. Ему и другое кое-что непонятно. Он спрашивает, например, что такое Ржакса и Мучкап. Но он зря занимается моими старыми стихами. Я хотел бы, раз их нельзя уже уничтожить, чтоб о них не вспоминали.

Мое упоминание его имени в одном ряду с Байроном (сделанное случайно) его, видимо, удивило.

— Романтизм с его построениями, не проверенными жизнью, я скорее отвергаю. Заслуга Байрона в том, что в «Дон Жуане» он ввел в поэзию разговорный повседневный язык, события обыденной жизни. Настоящее искусство может быть только реалистическим.

По какому-то поводу я упомянула, что Некрасов как поэт для меня не существует.

— Я встречал такое отношение к Некрасову. Оно меня удивляет.

— Я ему не верю, и я не выношу стилизации.

— Ну, это другое дело. Это касается какой-то части его поэзии. Но «Мороз, Красный нос» великолепен. Как он там волшебство зимнего леса описывает! Ни у кого больше нет такой русской зимы.

— Борис Леонидович, как вы тут живете без музыки?

— А-а! Я ведь от нее совсем отошел. Старая связь утрачена. Но здесь играют. Пианист Станислав Нейгауз — сын Зинаиды Николаевны. И Зинаида Николаевна играет. Она не Бог вещь какая музыкантша, но играет. Но это

только так считается — ах, ах, музыка, это что-то высшее, божественное. На самом деле в музыке особенно много дешевого, фальшивого, построенного на эффектах.

— А у вас что-нибудь сохранилось из ваших музыкальных произведений?

— А, да. Какой-то опус<sup>10</sup> где-то валяется.

Я работала над нижней челюстью, и мы замолчали.

— Борис Леонидович, меня очень смущает это изречение: если можешь не писать — не пиши. Я вот могу не работать.

— Это сказал Толстой, и тут он впал в преувеличение. Нам иногда бывают неподвластны дурные побуждения, мы часто не можем преодолеть темные звериные инстинкты, но добрые наши поступки всегда в нашей власти. У меня иногда бывает очень сильное, страстное желание писать, но в то же время я могу и не работать — это от меня, к сожалению, зависит. Вот этим летом я писал прекрасные стихи. Но я мог бы переключиться и вместо них написать статью или письмо.

Вдруг он увидел в окно, как к дому приближаются мужчина с женщиной. Всмотревшись, он покраснел и поздравил меня:

— Я вам что-то на ухо скажу. Это та самая искусствоведка, которая мне Григорьева сватала.

Он вышел к ним в сад, а я стала убирать после работы. Вскоре я услышала, как он меня зовет. Он познакомил меня с Еленой Ефимовной и Евгением Борисовичем Тагерами<sup>11</sup>, попросил Елену Ефимовну дать мне роман. Мы немного поговорили и потом ушли втроем.

*3 августа*

Войдя на веранду, Борис Леонидович увидел на столе иллюстрированный каталог выставки Выспяньского и стал с интересом его рассматривать.

— Вы не могли бы мне его оставить на несколько дней?

— Он ваш, у меня еще есть.

— О, спасибо. А это что?

— Это хороший перевод из яркого японского поэта Такубоку, вашего ровесника.

— У меня совсем нет времени читать. Протягиваются какие-то личные связи, и часто это определяет выбор книг. Кроме того, я задался целью одолеть «A la recherche du temps perdu»\* Пруста.

— Почему одолеть? Пруста читать — наслаждение.

— Да, но в этой книге около 4000 страниц. Мне ее прислали из Франции в великолепном издании в четырех томах. Последняя часть называется: «Le temps retrouvé»\*\*, и я хочу понять философский смысл книги, как Пруст нашел потерянное время.

Сидя на станке, он продолжал листать каталог и делать замечания о воспроизведенных картинах.

По поводу картины Мехоффера «Майское утро» сказал:

— В ней есть хорошая естественная сложность, какая бывает в жизни.

Расспрашивал о моих впечатлениях.

— Борис Леонидович, скажите, рисунок вашего отца «Портрет пианистки Пастернак» — это портрет вашей матери?

— Карандашный рисунок, она за роялем?

— Да.

— А где вы его видели?

— Я недавно была в Третьяковке на выставке Серова и, проходя по нижним залам, посмотрела работы вашего отца.

— А что еще там сейчас есть?

---

\* «A la recherche du temps perdu» (фр.) — «В поисках утраченного времени».

\*\* «Le temps retrouvé» (фр.) — «Обретенное время».

— Картина «Вести с родины» и еще один рисунок. Он спрашивает о выставке Серова.

Многие работы он отлично помнит и поправляет меня, когда я неправильно называю имя модели одного из портретов. На мое замечание, что при всем обаянии Серова-художника ему недостает дара перевоплощения, нужного портретисту так же, как и актеру, он возражает:

— Вы очень строги к нему. Разве плохо, что ощущается индивидуальность художника? А кого из художников вы больше всего цените? — спрашивает он.

— Безоговорочно я люблю Клода Моне.

— Правильно! Я тоже люблю больше всего французских импрессионистов.

— А кого особенно?

— Пожалуй, Ренуара. Еще мне очень нравится Фонтен-Латур.

Спрашивает о моем отношении к Сомову, к Петрову-Водкину, к Родену. Предлагает взять у Нейгауза для меня книгу о Родене.

Я отвечаю, что Роден не вполне меня удовлетворяет, и одна из причин, почему я стала заниматься именно скульптурой, это то, что у меня нет в ней бога.

— Как? — не понял он.

— Нет бога в скульптуре.

— А-а, понял. Это очень веское соображение, очень серьезное.

Я принялась рассказывать грустную историю Эрзи<sup>12</sup>. Он задавал много вопросов, вставлял реплики.

— Зря он уехал, сидел бы уж там, — сказал он.

— Его тянуло на родину. И потом ему обещали создать специальный музей для его работ.

— Он наивный человек, не понимает, что в наших условиях это невозможно. Чтоб кого-то так выделили, поставили над другими... Сразу же закричат: а как же мы? Мы лауреаты и академики, а Эрзи кто?

Описывая приход Эрзи ко мне, он смеется над

комическими ситуациями. С любопытством слушает о бурях, вызванных выставкой Эрзи, но потом огорченно и сочувственно восклицает:

— Бедный, бедный! Ну а у Коненкова положение лучше? Он ведь тоже вернулся из Америки.

— Ничего общего. Коненков заделался идеологом от искусства: пишет руководящие статьи с марксистских позиций. На самом деле он идеалист чистейшей воды и глубоко верующий человек. Он говорил мне, что большевики — сами обезьяны, потому что верят, что человек произошел от обезьяны. Он в чинах и в большом почете. Между прочим, Коненков совершенно убежден в том, что он гений, и говорит об этом со спокойной покоряющей уверенностью.

— При всем том, что он сам о себе говорит, что он гений, он просто слабый человек, — замечает Борис Леонидович.

— Борис Леонидович, мне не совсем понятно ваше отношение к религии, — отважилась я, наконец, задать давно волновавший меня вопрос. К моему удивлению, он встретил его так, как будто заранее ждал, что я его об этом спрошу.

— Не в том смысле, что я верю в установленных формах, но мне нравится думать, что существование не случайно и не бесцельно, что у нашей драмы есть Режиссер, который следит за ходом действия, направляет его и знает его смысл и что и мне Он отвел какую-то свою роль...

Вы говорили, что в детстве жили в Крыму, — сказал Борис Леонидович. — Вы давно оттуда уехали?

— Да, во время войны. Но я до сих пор не могу здесь акклиматизироваться. До нелепого. Что бы мне ни снилось, место действия — всегда Севастополь, и даже на лыжную прогулку я выхожу из севастопольского дома, хотя его давно уже нет.

— Когда вы говорили, я представил себе степной

сухой Крым. Белое солнце, ровный, горячий ветер, степь, заросшую ковылем, молочаем и волчцами, и как она обрывается невысоким уступом в море. И пахнет чабрецом. Земля седая, а море темное, в резких барашках.

От его сухих точных штрихов вдруг вспыхнула до боли знакомая картина.

— Но ведь вы не можете любить всего этого! — воскликнула я, пораженная этим маленьким чудом.

— Да, — смущенно улыбнулся он. — Я люблю север, среднерусскую природу.

— А любить Севастополь меня научил Паустовский. Мне было лет четырнадцать, когда я прочла его «Черное море», и я была ошеломлена тем, что столько есть прекрасного в реальной окружающей меня жизни.

Борис Леонидович принимается горячо хвалить Паустовского, говорит о нем с азартом и воодушевлением.

— Не знаю, так ли надо писать прозу, но никто сейчас лучше его прозы не пишет.

Я ему рассказала о доведшем меня до слез рассказе «Ночной дилижанс» из «Золотой розы». «Золотой розы» он не читал.

— И еще я люблю его за его любовь к Грину, — замечаю я.

И тут я услышала нечто удивительное — целую поэму о Грине, о колдовских свойствах гриновской фразы. Я не берусь пересказывать, это надо было слышать!

И когда я сказала, что у меня давно есть мысль сделать когда-нибудь Грину памятник, он воскликнул:

— Молодец!

Расставаясь, он сказал:

— Простите, что я совсем заговорил вас сегодня. Но я очень рад, что мы с вами одинаково воспринимаем эти вещи.



В этот день я приехала с фотографом, чтобы снять Пастернака.

Борис Леонидович встретил нас приветливо и попросил сделать репродукции с десятка своих фотографий. Пока устанавливалась аппаратура, он советовался со мной, какие фотографии лучше репродуцировать. Самым удачным он считает снимок, сделанный после больницы, на котором он в полосатой пижаме, как арестант.

— Я думала о вашей ноге. Почему бы вам не пользоваться магнитофоном для писем и переводов? Вам пришлось бы меньше сидеть.

— Да нет, ну какой там магнитофон!

— Но ведь это очень просто и удобно. Так многие работают.

— Ну мне это не подходит. Не такой я человек.

Я сразу умолкла.

Наконец, все было готово, и Борис Леонидович сел сниматься. Но фотограф так долго возился с освещением, что лицо модели стало каменеть. А когда фотограф принялся поправлять ему галстук и руками поворачивать и наклонять голову, я по выражению глаз Бориса Леонидовича поняла, что он разозлился.

Съемка длилась долго, наконец, фотограф взмок и попросил время на перекур.

— Сниматься надо сознательно, — говорил Пастернак. — Когда снимают врасплох, то получается уродство — разинутый рот, перекошенные черты. Но модель не может по двадцать минут быть моментальной.

Он сходил наверх и принес несколько иностранных газет с его портретами и итальянское издание романа с его фотографией во всю суперобложку. Он хотел объяснить фотографу, что считает хорошим снимком, но тот был во власти штампов.

Я в этот день была несколько подавленной и сидела

задумавшись. Вдруг, подняв глаза, я встретила с добрым пристальным взглядом.

— Вы нехорошо себя чувствуете?

— Нет.

— Не надо грустить. Ну мало что бывает в жизни. И у меня было. А я вот жизнью очень доволен.

— Для широкой публики?

— Нет, зачем же, в самом деле доволен и ничего не хотел бы в ней менять.

Съемка продолжалась, и я, понимая, как вся эта канитель должна была утомить его и надоест, стала торопить фотографа. Но Борис Леонидович до конца был ровен и терпелив, дождался, пока все имущество было собрано и уложено, и проводил нас.

*10 августа*

Я принесла снимки и показала их Борису Леонидовичу, когда он пришел позировать.

— Нет, это все-таки не так плохо, как я ожидал, вот эти два ничего. Но невозможно столько времени присутствовать. Приготовишься, сосредоточишься, но он так долго возится, что все исчезает и остается одна обложка.

Поработав молча, я говорю:

— Наконец-то Тагер дала мне роман.

— Вот как? Когда же? И вы успели что-то прочесть?

— Да, довольно много. Но мне не стоит высказываться, пока я не прочла всего.

Однако ему интересно, и, поговорив о другом, он толкает меня на разговор.

— И вас в романе ничего не задело, не нашло в вас отклика?

— О, этот роман — огромное личное событие в моей жизни, какой-то переворот, все последствия которого я еще не могу предвидеть. Как будто открыли двери к новым незнакомым горизонтам. Трудно об этом гово-

рять. Но при всех его откровениях роман мне близок, слишком близок. Ваш Живаго — это то худшее, что есть во мне.

Этого он не ожидал.

— Как так? Почему?

— И во мне сидит это стремление уйти от напряжения общественных, исторических бурь, сохранить, уберечь от них себя и свой мир, но я вижу в этом свою слабость, стыжусь ее и борюсь с нею. И в этой борьбе ваш Живаго мне не помощник, а противник.

— Он обыватель, да?

— Не знаю, может быть. Со всем его неборимым обаянием и талантливостью — он эгоист: в такое время жить по принципу — моя хата с краю!

— Это вы оттого говорите, что он оказался эгоистом в отношении Лары?

— Нет. Меня особенно задело то, что он, врач, отказывался от помощи больным и несчастным. Все это написано с гипнотизирующей силой, и требуется большая внутренняя борьба, чтобы противостоять этим идеям. Мне кажется, что роман — вершина русской прозы. Иногда от его красоты, от пейзажей — хочется плакать. Этот приезд в Варыкино, когда уходит поезд и они остаются с природой!

— А вы заметили, как Вакх говорит?

— Да. Где вы это подслушали? Такое своеобразие, и все так убедительно, слышишь каждое слово. А закливание над коровой? Неужели сами выдумали?

— Кое-какую ворожбу я слышал, кое-что вычитал, а частью придумал. А вот песню о рябине я сам сочинил.

— А я догадалась. Не из-за формы, она совершенно народная, а из-за хода мысли. Роман меня ошеломил. Я его уже на всю жизнь люблю и притом многое не могу принять. Вы относитесь к жизни с позиций прошлого. Почему Живаго не выносил избитости советских идей, но не бунтовал раньше против пошлости идей его круга

до революции? Раньше разве было больше свободы? Почему же инакомыслящие были в подполье, в тюрьмах, ссылках? Я ведь помню ваше обещание:

Я говорю про всю среду,  
С которой я имел в виду  
Сойти со сцены и сойду.

Может быть, хранить верность такому обещанию и очень благородно, но, по-моему, глупо. Вы же сами не очень высоко эту среду ставите, и что за смысл ложиться жертвой под колеса истории?

— Вероятно, вы во многом правы. Но что я могу поделать? Я не могу не думать об обмельчании личности в наше время. Все те неисчислимые жертвы, которые были принесены, стоили ли они результата?

О, я вижу какое-то улучшение материальной жизни, но ведь все, что было сделано, делалось ради человека, а человек-то духовно оскудел, и процесс этот идет дальше. Люди уже почти добровольно отказываются от собственного мнения, думают по указке.

— Но почему вы не хотите видеть, что лучшие люди этому сопротивляются и от их усилий жизнь улучшается? Просто те люди, с которыми вы сталкиваетесь, дают вам пищу для таких размышлений, но есть и другие. Ведь сейчас положение иное, чем было 8—10 лет назад. Не само же собой это сделалось?

— Да. Но мне кажется, будут опять изменения, и не в лучшую сторону. Может быть, вы правы, если только где-то существуют такие люди, очень может быть, что мне не везет.

Я принимаюсь рассказывать о Кислицыных, о Лизе Драбкиной<sup>13</sup>.

— Я вашей Лизе Драбкиной в подметки не гожусь! — восклицает он.

— Ну вот видите, есть же отдающие себе во всем отчет по-настоящему честные стойкие люди. Их жизнь

трудна, труднее, чем у вашего Живаго, и прекраснее.

А в романе так заметно, что вы несравненно шире своего героя и в нем не уместились, и вам понадобились еще герои, чтобы выразить себя, — и Гордон, и Дудоров, и Лара, и даже Симочка.

— Это вы верно подметили.

Борис Леонидович стал говорить о состоянии нашей литературы.

— Кажется, никогда еще уровень русской литературы не был так низок, как теперь. Ну а что можно тут поделать? Вот писатели отправляются в творческие командировки изучать жизнь. Но ведь жизнь не изучают, жизнью живут. Что можно понять о жизни из такой поездки? Мне тоже предлагали поехать на бакинские морские нефтепромыслы, написать серию очерков для газеты. Вы знаете об этих нефтьвышках на искусственных островах среди моря? Люди работают в страшно трудных условиях, рискуют жизнью, иногда гибнут, а я приеду на гастроли! Надо не уважать их труд, чтобы согласиться! Мне говорят, что я оторван от народа. Я тоже понимаю, что такое народ! И навряд ли из какого-нибудь другого места я увижу жизнь лучше, чем из моего дома в Переделкине.

*17 августа*

— Я прочла «Царь-Девуцу», — сказала я, — но она мне не понравилась — смесь эротики и стилизации. Расскажите мне о Марине Цветаевой. Она начинает небескорыстно интересоваться мной.

— Небескорыстно? — переспросил Борис Леонидович. — Хорошо.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

— На том месте, где сейчас Институт марксизма-ленинизма, за Волхонкой, и перед ним раньше был сад. Часть его сохранилась на территории института.

В этом саду стоял дом, где жили Серовы<sup>14</sup>. Мальчиком я часто туда ездил, мы всегда бывали у Серовых на елке, а они у нас. Я очень любил Рождество и елку, и до сих пор осталось ощущение чего-то сказочного, праздничного. И я хорошо помню, как вырубали этот сад, корчевали деревья, потом рыли котлован. Мне было очень жаль этот сад. А потом стали возводить стены Музея изящных искусств.

Вдохновителем этого дела, создателем и первым директором музея был профессор Цветаев, отец Марины. Это был просвещенный и эрудированный в искусстве человек. Он ездил в Италию, Германию, Францию — отбирал образцы для копий.

Марина воспитывалась в женском монастыре в Швейцарии<sup>15</sup>. Она рано начала писать стихи. У нее была сестра Ася — тоже одаренная и своеобразная, но рядом с Мариной она меркла. В их доме бывал поэт-символист Эллис, и он начал портить девочек, в том смысле, что забивал их головы стихами, приобщал их к декадентской поэзии. В то время существовало Общество эстетики, туда входили многие поэты-символисты, и этот кружок стали посещать сестры. Так как они были очень молоды и застенчивы, то читали стихи в унисон, держась за руки. Их там даже Брюсов слушал.

Цветаева была похожа на Наполеона: круглое решительное лицо с правильными чертами. Все ее поступки, жесты, движения были целесообразны. Так она была воспитана: каждый ее час должен был быть занят определенным делом.

Вначале я ее не оценил. Прочел ее стихи и как-то не воспринял их. Мы были знакомы, но не коротко. Помню, она приходила ко мне приглашать выступить на каком-то благотворительном вечере.

В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей — стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми

и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу.

То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать.

В 1935 году в Париже был Антифашистский конгресс<sup>16</sup>. Туда поехала наша делегация, а там стали спрашивать, почему меня нет, и настаивать на моем приезде. Меня вызвали в ЦК и сказали, что я должен ехать. Я отказывался, объяснял, что болен, но мне говорили, что это необходимо.

Меня одели с головы до ног, я и не подозревал о существовании таких ателье вроде закрытых распределителей.

Я поехал через Германию. Мои родители жили в то время в Мюнхене и ждали, что я проеду через Мюнхен, чтобы с ними повидаться. Но я не поехал из глупого самолюбия. Мне не хотелось, чтоб они видели меня в таком жалком, раскисшем состоянии.

— Так вы их и не повидали?

— Нет. Оказалось, что это была единственная возможность. Я думал встретиться с ними на обратном пути, но назад я возвращался через Англию. В Берлин, правда, к приходу моего поезда приезжала сестра, но отца с матерью я так больше никогда и не видел.

На конгрессе почему-то меня приняли восторженно. Весь зал поднялся, когда я появился. Я стал говорить, сказал, что я болен, но вот все-таки приехал. Тут меня дернули сзади — оказывается, этого не надо было говорить. Потом еще предстояло выступление. Его для меня составили. Когда я начал выступать, оказалось, что я забыл взять текст, и я опять что-то ляпнул. К моему удовольствию, меня освободили от необходимости присутствовать на конгрессе, руководитель делегации Щербаков<sup>17</sup> объяснил, что я заболел.

И я прекрасно проводил там время. С утра ко мне в номер являлась дочь Марины Цветаевой Аля. Она приходила с клубком шерсти, вязала и болтала со мной. Потом приходили Марина и Ходасевич, и мы отправлялись куда-нибудь в Булонский лес, Фонтенбло или Версаль. Я начал понемногу спать.

Марина Ивановна много говорила о том, что хочет вернуться в Россию. Это было настойчивое желание ее мужа и дочери, они постоянно толкали ее к этому. Я ей отвечал, что считаю это глупостью, решительно отговаривал. Я спрашивал: ну зачем тебе это, что это тебе даст? Она отвечала, что у поэта должен быть резонанс. Но, помилуй, какой у нас резонанс? Но она была очень упрямой<sup>18</sup>.

После поездки мы много переписывались, она присылала стихи<sup>19</sup>.

— А сохранились у вас ее письма?

— Нет. Во время войны я отдал ее письма и кое-какие другие, в том числе Ромена Роллана, на хранение одной женщине. Она была сотрудницей музея Скрябина, преданный и надежный человек. Она их хранила необычайно тщательно, никогда с ними не расставалась. Но именно эта тщательность и погубила письма. Она жила за городом и однажды вечером возвращалась домой. Письма были с ней в чемоданчике. В электричке, видно, она задремала, была очень усталой, и вышла на платформу без чемоданчика, опомнилась, когда поезд уже ушел. Так все и пропало<sup>20</sup>.

Марина Ивановна приехала в Россию в 1939 году. Дочь ее и муж вернулись немного раньше. Когда она приехала, то узнала, что они арестованы<sup>21</sup>. Ее не печатали, конечно, и жить она могла только переводами. Она не понимала, как можно переводить с языков, которых не знаешь. Жаловалась мне, что делает только 20 строк в день да потом их еще четыре дня переделывает. Я ей говорил, что для того, чтоб имело смысл этим занимать-



ся, надо делать 100 строк в день. Я в то время мог делать по 150.

Она жалела, что приехала, обвиняла в этом дочь. Дура! Говорили же ей. А теперь оказалось виновато глухое дитя, которое ничего не знало о России и романтически мечтало о родине.

Когда началась война, писательские семьи эвакуировали в Чистополь на Каме. Марину с сыном Муром — ему было лет 16 — отправили не в Чистополь, а в Елабугу. Это была медвежья дыра. И Марина с Муром остались без средств к существованию.

В Чистополе был детский дом. Там Зинаида Николаевна работала сестрой-хозяйкой. Работала с такой честностью, что похудела на 20 килограммов и нажила чахотку. Цветаева написала письмо в Чистополь, прося взять ее в судомойки в детский дом. Решение это зависело от Тренева и Асеева — они были во главе чистопольского «правительства» и заправляли там всеми делами. Но они испугались ответственности, того, что их обвинят в контакте с эмигранткой, только что приехавшей из-за границы, и в помощи ей отказали. Стали говорить, что судомойкой неудобно, надо поднять вопрос о принятии ее в Союз, что было, конечно, делом безнадёжным.

Мур был красивый, избалованный, не по летам развитой мальчик, наверно, он томился в Елабуге. И вот однажды Марина ему сказала: «Мур, я стою помехой на твоём пути, но я этого не хочу, надо устранить препятствие». Мур ответил: «Об этом надо подумать», — и ушел гулять. Когда он вернулся, он нашел мать повесившеюся<sup>22</sup>.

Мур уехал в Чистополь, но он рвался в Москву. Он привез с собой сундук, набитый рукописями матери. Кое-что он продавал и на это жил. Но тут его забрали в армию. Кажется, ему еще не вышел возраст, но он был крупный, сильный, рослый, и его документам не поверили. Он оставил рукописи на хранение у поэта-

символиста Садовского, жившего в Новодевичьем монастыре.

Вероятно, из-за матери он попал в штрафную часть и очень скоро погиб<sup>23</sup>.

Дочь Марины Аля была в лагере, но сейчас она живет в Москве, работает в издательстве. Она мне говорила: «Ты не знаешь (мы с ней на ты), как мама к тебе относилась, как она о тебе писала, у нее сундуки были набиты письмами о тебе. Ты к ней совсем не так относился, как она к тебе».

Аля ездила в Елабугу, но не могла найти могилы.

Сестра Марины Ася живет в Павлодаре, иногда приезжает в Москву.

*22 августа*

С этого дня начались дополнительные сеансы по будням, когда я работала одна по фотографиям.

В доме было тихо: вся семья, кроме Бориса Леонидовича, отправилась в автомобильное путешествие на несколько дней.

Борис Леонидович писал у себя наверху, а потом зашел поздороваться и спросить, как мне работается.

— А вам? — спросила я. — Вам не мешало мое присутствие в доме?

— Нет. Если бы вы были другой человек, то мне мешала бы мысль, что думают: вот заперся наверху, не обращает внимания, пренебрегает, но вы такая умница, так все понимаете, что несколько не мешало.

— А у меня в голове, пока я работала, жужжала строка: «Некоторых мучает, что летают мыши».

— Это плохие стихи, надуманные и неестественные. Я не люблю своих стихов до 1940 года.

— Вы неправы. Их нельзя отрывать от того, что сделано позднее, они законные предшественники.

— Ну разве что в этом смысле.

Но я горячо возражала.

— А может быть, вы отчасти и правы и я к ним предубежденно отношусь. Недавно мне прислали перевод на французский стихотворения «Смерть поэта» — знаете: «Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих». Да, так я даже удивился, там, оказывается, есть содержание.

Он пригласил меня пообедать, но я отказалась, и мы расстались.

*24 августа*

Это был ужасный сеанс. Бориса Леонидовича без конца отрывали, он выходил к каким-то людям, разговаривал с шофером о доставке баллонов с газом, принимал почту. Наконец, когда он опять вышел к новым посетителям и застрял, я, совсем измученная рывками в работе, тихонько выскользнула из дому, оставив записку о том, что приду во вторник.

*26 августа*

Во вторник я пришла в безлюдный дом. Шел дождь. Я работала одна уже около часу, как вдруг вздрогнула от громкого:

— Здравствуйте! Простите, напугал вас. Я могу вам посидеть. Хотите?

— Конечно, хочу.

— В воскресенье мы вас искали. А потом я нашел записку.

— Простите, что я так ушла. Но я все равно не смогла бы работать. В воскресенье у меня было особенно хорошее рабочее состояние, и я так расстроилась, что не могла лепить.

— Бедная! Я понимаю, но что я мог поделать — они мне были нужны. Это приходил Сосинский<sup>24</sup>, он при-

ехал из Америки и привез важные для меня известия и разные вырезки из газет и журналов обо мне. Он уезжает на совещание в Швейцарию и до отъезда больше не мог у меня быть. Между прочим, Сосинский предлагал подписать меня на вырезки. Существует такое агентство, которое по заказу делает вырезки из печати на любую тему. Но я наотрез отказался. Я не архивная крыса, чтобы копаться в этих бумажках и копить их. Приятно, когда они попадают в руки, но пусть они доходят случайно, естественными путями. Они с женой подписались на вырезки «в память обо мне». Пусть лучше они в память обо мне раз в году в оперу ходят!

Он стал говорить со мной о Лене<sup>25</sup>, спрашивать, какое он произвел на меня впечатление и не хочу ли я его лепить (перед этим он как-то просил Леню помочь мне укрепить расшатавшийся после падения портрета каркас, и я с ним познакомилась).

Мы кончали сеанс, и он попросил:

— Зоя Афанасьевна, пообедайте со мной сегодня.

— Спасибо,— протянула я, соображая, успею ли в Москву.

— Спасибо да или спасибо нет? — улыбнулся он.

— Спасибо да.

Он весело закричал на кухню, отдавая распоряжение Татьяне Матвеевне.

Через полчаса мы сели за стол. Борис Леонидович налил мне из кастрюли супу, бухнул туда две столовых ложки сметаны, собственными перстами насыпал зелени в тарелку и, передавая ее, доверительным шепотом сообщил:

— Это все надо съесть.

Он был как-то особенно по-домашнему заботлив и приветлив, болтал, говорил мне всякие приятные вещи, следил, чтобы я ела.

Я все смотрела на висевший против меня рисунок его отца. Изображена была спиной худая босоногая баба на кухне.

— Кое в чем жизнь не изменилась, — сказала я. — Похоже, что нарисовано с Татьяны Матвеевны.

— Верно. А правда, сразу видно, что чистит картошку? — заметил он с гордостью. — Отец был прекрасный рисовальщик.

— А это что у вас за мраморы?

— О, они к нам попали случайно. Они принадлежат одному нашему знакомому промышленнику. После революции ему угрожала реквизиция, и он попросил нас их сохранить. Как будто бы Мария-Антуанетта работы Гудона. А потом он эмигрировал и никаких вестей о себе не подавал.

— Я так и подумала, что они у вас случайно, они как-то не идут к вашему дому.

— Ну что ж теперь с ними поделаешь? Выкинуть жалко — может быть, это и Гудон. Стоят и стоят.

Пообедав, мы с полчаса посидели за столом, разговаривая.

Не помню, почему он заговорил о Вийоне. Я сказала о читанной мной прекрасной английской книге о Вийоне. Это убедительная попытка в форме биографического романа угадать жизненные и психологические обстоятельства появления на свет его стихов. Он с интересом расспрашивал.

— Если хотите, я достану эту книгу для вас.

— Через вашу приятельницу в иностранной библиотеке?

— Нет, я брала ее у другой моей знакомой. Она художница, знает языки, и у нее хорошая библиотека на четырех-пяти языках, собранная со вкусом.

— Ее фамилия не Тарасова?

Я ошеломлена.

— Тарасова Вера Яковлевна. Как вы догадались?

— Ну, сопоставил: художница, знает языки, библиотека. Как вы с ней познакомились?

Я рассказываю.

— А вы?

— Несколько лет назад она была два-три раза у меня.

— Она вас рисовала?

— Нет, она хотела сделать портрет, но я не стал позировать. Вы ей не говорите, что меня лепите. А то она захочет меня видеть, а у меня, ей-богу, нет времени. И вообще никому лишнему не надо говорить. А то будут обижаться те, кому я отказывал.

— Обещаю.

— Спасибо.

— Но вас кто-нибудь изображал?

— Да. В молодости меня лепил Ватагин. Получилось не очень удачно. Этот портрет стоит у нас в городской квартире на шкапу.

— А еще?

— Не так давно делал гравюру Филипповский. Я ему два часа посидел. По-моему, очень плохо. Но у него этот портрет купила Третьяковка.

— А больше никто? У меня есть книжка с вашим портретом.

— Это, наверное, Яр-Кравченко<sup>26</sup>. Это плохо.

— Нет, это хороший рисунок. Вы молодой, голова поднята и повернута в профиль.

— А, это работа отца. Это прекрасный рисунок. На нем все правильно.

Он проводил меня на крыльцо и вслед кричал напутствия.

*31 августа*

Это был первый вечерний сеанс. Борис Леонидович встретил меня на кухне. Дверь в столовую была отворена, и было видно, что за столом, накрытым к чаю, сидят Зинаида Николаевна и еще кто-то.

— У вас гости?

— Ей-богу, я тут ни при чем, я никого не ждал. Не можете ли вы сегодня поработать без меня?

— Один час могу, а потом надо, чтобы вы посидели.

— Вы знаете Симона Ивановича Чиковани<sup>27</sup>? — громко сказал Борис Леонидович, вводя меня в столовую.

— По стихам — да.

Я поздоровалась и, отказавшись от чаю, ушла работать.

Дверь с веранды в столовую была открыта, и, если б не моя глуховатость, я могла бы слышать все до слова. Там помянули меня, и затем Борис Леонидович громко спросил:

— Зоя Афанасьевна, а не покажем ли мы Симону Ивановичу работу?

— Не стоит, в вечернем освещении она смотрится ужасно. Разве на условии, что вы будете позировать.

Я успела исправить главные дефекты, выступившие в новом освещении, и тут снова раздался голос Бориса Леонидовича:

— Зоя Афанасьевна, мы к вам идем.

Чиковани остановился в дверях, разглядывая портрет в три четверти сзади, а Борис Леонидович зашел с фаса. Он впервые видел работу, потому что до сих пор я запрещала смотреть.

— Да ведь это очень хорошо! Вы уловили что-то существенное. И то, что вы делаете меня птицей («хищной» — добавила я), — правильно. Но вы испортите. Так хорошо уже не будет. Начнете исправлять, вносить какую-то идею и испортите. А сейчас это и я и довольно приятный молодой человек. А Тагер с ее Григорьевым! Я уверен, что ни Коненков, ни Сарра Лебедева<sup>28</sup> так бы не сделали. Стали бы мудрить, и ничего хорошего не вышло бы.

Чиковани тоже похвалил работу.

Я смущенно отшучивалась, а потом погрузилась в лепку. Они принялись говорить о грузинской литературе, о новых поэтах и их отношении к грузинским традициям

и истории и т. п. Борис Леонидович сказал, что совсем оторвался от грузинской литературы. Разговор клеился плохо, прерывался паузами.

Чиковани принялся расспрашивать о переводах стихов Бориса Леонидовича на французский.

— Там хотели поручить перевод маститым поэтам с именами, но мне помог Альбер Камю, и дело кончилось тем, что стихи переводили никому не известные молодые переводчики, в том числе Окутюрье, и прекрасно получилось. Они ничего не вносили своего и только добросовестно следовали за мыслью. Это и есть хороший перевод, где нет индивидуальности переводчика.

— Но позвольте, — не выдержала я, — это находится в полном противоречии с тем, как вы сами переводите. Почему вы к переводам своих стихов предъявляете такие требования, а сами переводите совершенно иначе?

— Я тоже стараюсь добросовестно передать мысль.

— Почему же тогда, читая стихи в разных переводах, я сразу узнаю, что вот это переводили вы?

— Вы выдумываете.

— Выдумываю? Можно проделать эксперимент.

Но он уже сам почувствовал, что запутался, и махнул рукой.

— А, при чем тут логика...

Не знаю, как они перескочили на это, но вдруг я услышала, что Борис Леонидович говорит:

— Вероятно, это происходит потому, что я недостаточно знаю английский язык, но я не чувствую архаичности языка Шекспира. В то же время язык писем его современницы Елизаветы для меня труден.

— Дело, видно, не в языке, — сказала я. — Если бы Шекспира и Елизавету вы читали по-русски, наверно, и тогда вам ее трудно было бы воспринимать. Вероятно, дело в архаичности образа мышления.

Его глаза заблестели, и он мне улыбнулся.

— Это как раз и есть следующая моя мысль. Шекс-



пир — это река, которая омывает наши берега. Есть два времени — одно физическое, а другое — органическое, измеряемое рожденьями, смертями, большими событиями человеческой жизни, и оба они движутся неодинаково. И Шекспир, существующий в органическом времени, ближе к нам тех, кто не так отдален во времени физическом.

Потом он заговорил о своем отрицании романтизма. Он ставит ему в вину преувеличение и тут же оговаривает, что предметом искусства может быть лишь исключение, крайность, а не «средний тип».

— Аморфное среднее не может дать представления о явлении, оно видно только в крайних своих полюсах. Но когда я слышу крики страсти, когда мне говорят о сердце, истекающем кровью, об исступлении, я как-то замораживаюсь, я в это не верю. Насколько сильнее чувство, выраженное в преображенных им картинах повседневности!

Он стал рассказывать о стихах одной немецкой поэтессы, присланных ему в письме.

— Там есть такой пейзаж. Старое, брошенное поместье. Серое туманное утро. Трое молодых людей уезжают. Они едут верхом вдоль ограды парка. Они оглядываются на старый дом. Они никогда не вернуться. Двигаются три фигуры. Это война<sup>29</sup>.

И другое стихотворение. Глухой Бетховен. Все звуки, которых он не слышит и не услышит никогда, он собирает и бросает как крик отчаяния в мир. Это поражение<sup>30</sup>.

Он говорит ровным, глухим голосом, а из глаз сбегают слезы, и он, не прерывая речи, смахивает их пальцем. Кажется, Чиковани ничего не замечает, а я не могу оторвать глаз от прекрасного взволнованного лица.

2 сентября

В эти дни я ходила в Ленинку, выписывала литературу о Пастернаке, читала его прозу, которой у меня нет, и те стихи, которых я раньше не знала.

Сегодня я работала одна, а Борис Леонидович зашел меня проведать.

— А знаете, мы встретились с Чиковани на обратном пути и вместе ехали в Москву.

— Что вы говорите! О чем же вы разговаривали?

Я рассказала и заметила, что для грузина он очень скромен.

Борис Леонидович ответил почти сурово:

— Они очень разные бывают, не надо обобщать.

— А кто эта немецкая поэтесса, о чьих стихах вы говорили? Она известна?

— Нет, она никогда не печаталась, но пишет прекрасные стихи. Это молодая женщина, ей года 24—26, вероятно. Ее дядя известный историк, философ Альберт Швейцер.

— А я вчера огорчилась, — сказала я.

Он удивленно вскинул брови.

— ?

— Почему вы не сказали, что десять стихотворений из романа в прозе были опубликованы в 1954 году в «Знамени»<sup>31</sup>? Ведь это так важно для меня, а я на них совсем случайно наткнулась в Ленинке.

— Ей-богу, я о них не помнил. Я вам дам стихи, это целая книжечка страниц в сто, но тогда, когда их вернут, сейчас у меня нет. А что вы там читаете?

— Все, что относится к вам. Разные статьи.

— Наверно, старые?

— Всякие. Но больше тридцатых годов. Читаю вашу прозу. Я еще со школьных лет помню и люблю «Воздушные пути», особенно «Апеллесову черту».

— Это меня удивляет. Это плохая проза, манерная

и надуманная. Так не надо писать. А вы читали «Повесть»? В ней много биографического.

— Как раз сейчас читаю. Я там нашла «Близнеца в тучах», еще не читала.

— Не читайте! Это очень плохие стихи. Не могу же я всю Ленинскую библиотеку сжечь!

— А вам хотелось бы? — улыбнулась я.

— Во всяком случае, если бы была возможность, я бы уничтожил почти все, что написал до сорокового года. А «Близнец в тучах» — желторотые стихи: выпренные и беспомощные. Только мое тогдашнее несвежесть в поэзии привело к тому, что они были напечатаны. Не надо их читать.

— Хорошо, не буду. Борис Леонидович, а что из ваших стихов было опубликовано последним? Я после стихотворения «Хлеб» в «Новом мире», в одном номере с Дудинцевым<sup>32</sup>, ничего не встречала. Это последние напечатанные стихи?

— Клянусь вам, не помню. А Дудинцева я не читал. Хорошая книга? Я ведь почти ничего не читаю. Завязываются какие-то личные связи, присылают книги — надо их прочесть. Нужно прочитать то, что появилось за последние годы и как-то прозвучало. Вот я читал Кафку, Альбера Камю, собираюсь Фолкнера читать.

Я делюсь своими впечатлениями от Фолкнера, и вскоре Борис Леонидович уходит, чтобы «пробежаться до обеда».

*5 сентября*

Опять я работала одна. Во втором часу зашел Борис Леонидович переброситься несколькими фразами.

— Борис Леонидович, у вас есть Элюар?

— Нет, у меня нет.

— Его выпустило наше издательство на иностранных языках. Я для вас купила. Хотите?

— Спасибо, — говорит он без особого воодушевления. — Я почитаю. Это Эренбург издал? Мне говорили.

— Да, с его вступительной статьей. Он там о вас упоминает.

— Я немного читал Элюара. Он мне не слишком понравился, показался запутанным, темным, а местами — слишком патетичным, но я ваш сборник посмотрю. Спасибо.

Он остается еще поболтать, и я рассказываю, что накануне видела фильм, произведший на меня самое тягостное впечатление, — неоконченную Эйзенштейном вторую серию «Ивана Грозного».

— Картина возмутила меня — это попытка не только оправдать, но и возвеличить опричнину.

— Какая подлость! Все они хороши — и Эйзенштейн, и Алексей Толстой, и другие. Я с ними не мог общаться и на многие годы почти отказался от встреч с людьми. Я не терплю нашей интеллигенции за раболепие перед силой и половинчатость. Это какие-то полулюди! Полулюди! — восклицает он с горечью и гневом.

Никогда я не видела его, ни до, ни после, таким рассерженным и расстроенным.

*7 сентября*

Снова я лепила вечером. Борис Леонидович был приглушенный, тихий, грустный. Он был добр и даже ласков со мной, но как-то рассеян.

— Я второй раз вижу вас вечером, и вы в каком-то особенном вечернем настроении, — заметила я.

— Нет, бывает по-разному. Просто я огорчен.

— Чем, Борис Леонидович?

— Всем, что делается вокруг, направлением, которое принимает жизнь, людьми. А то, что вы рассказали мне о картине Эйзенштейна, — разве это не мерзость?

— Это ужасно. Я тоже страдаю от многого из того,

что было и есть в нашей жизни. На мой самый впечатлительный возраст 14—15 лет пришлись 37—38-й годы. И может, поэтому я так радуюсь всем тем изменениям, которые происходят.

— Да ведь все они лишь на поверхности. Что изменилось по существу?

— Уверю вас, что перемены есть. Они не так велики, как хотелось бы, но они есть. Разве возможна была книга Дудинцева пять лет назад?

— Но мне кажется, что опять будут изменения и не к лучшему. Испугаются той небольшой свободы, которую дали, и подвинтят гайки. И одной из первых жертв буду я со своим романом.

Он говорит это тихо и убежденно, как бы про себя.

— Ну, даст Бог, вы окажетесь неправы. Вся эта демократизация нашей жизни произошла не сама собой, а потому, что в народе есть здоровые силы, которые ведут за нее борьбу, и надо им помогать.

— А что я могу сделать?

— А вы и делаете. Никто от вас не ждет готовых рецептов, как жить и действовать. У каждого своя роль. Ваша состоит в том, чтобы множить связи человеческой души с бытием, вызывать любовь к жизни, могучую, как страсть, выстаивающую и тогда, когда жизнь трагична. Это нужно. Это придает силы.

— Да, вы правы. Я и пытаюсь это делать.

Мы надолго замолчали. Но мне хотелось отвлечь его от нерадостных мыслей, и я попросила:

— Борис Леонидович, вы мне обещали рассказать о том, как говорили со Сталиным по телефону. Или сегодня у вас нет настроения?

— Нет, почему же. Хорошо.— Он задумался.— Но я издалека начну.

И он действительно начинает с предреволюционных лет, обрисовывает штрихами литературную обстановку,

расстановку сил, рассказывает о своем к ним отношении, о знакомстве с О. Мандельштамом.

— Осип Мандельштам был человек одаренный, но необычайно ленивый, вечно валялся на диване и бездельничал. Однажды мы с ним откуда-то возвращались поздно вечером, шли по Тверской-Ямской. Тогда — это было, кажется, в 1932 году — Москва была совсем другой, малолюдной, движения почти не было, можно было идти посреди мостовой и спокойно разговаривать.

И тут Мандельштам прочитал мне страшное стихотворение о Сталине<sup>33</sup>, о том, что он наставил между людьми непроницаемые перегородки, отец не доверяет сыну, муж — жене, и все заключены в стены одиночества и страха, как в первобытные времена, что это — уничтожение цивилизации, сближающей людей.

Я его спросил: кто-нибудь, кроме меня, знает эти стихи? — Я их читал одной женщине. — Но больше никому? — Нет. — Тогда уничтожь их немедленно. Не будь дураком, они ничего не изменят, но ты погибнешь. Обещай мне, что ты это сделаешь. — Он обещал.

А через некоторое время стало известно, что Мандельштам арестован. Мне позвонила его жена и стала умолять, чтоб я что-нибудь предпринял. В этот день из Ленинграда приехала Анна Радлова, я с ней встретился в Камерном театре, и она и другие знакомые тоже настаивали, чтобы я действовал.

Вы знаете, что Камерный театр и «Известия» находятся близко друг от друга. В то время главным редактором «Известий» был Бухарин, он ко мне хорошо относился, и в антракте я пошел к нему.

Я ему сказал: я понимаю, что мое ходатайство глупо и не имеет смысла. Я знаю, что к аресту Мандельштама вы относитесь так же, как и я, и что если вы что-нибудь можете сделать, то вы сделаете или уже сделали и без моей просьбы. Но если нужно мое ручательство за Мандельштама, то пожалуйста, я за него ручаюсь.

Бухарин ничего определенно не обещал, но, видимо, поговорил об этом со Сталиным.

В то время мы жили в старой отцовской квартире на Волхонке у брата. Квартиру разделили, туда вселили пять семейств, и жило в ней двадцать два человека. Телефон был общий, в передней. И вот как-то поздно вечером позвонил телефон, я подошел, и мне сказали, что со мной сейчас будет говорить Сталин. Я подумал, что это меня разыгрывает кто-нибудь из друзей. Тогда говоривший, — видимо, это был секретарь, — дал мне номер кремлевского телефона и попросил позвонить самому. Я набрал этот номер. Ответил Сталин.

— Чему я обязан этой честью? — спросил я.

— Скажите, вы знаете поэта Мандельштама? Какова о нем молва? — Он так и выразился, он говорил по-русски слишком правильно, слишком литературно и, как мне показалось, в то время с гораздо меньшим грузинским акцентом, чем после.

— А вам пришлось еще с ним разговаривать? — спросила я.

— Нет, но был фильм с его выступлением на съезде, когда принимали Конституцию, по радио я его слышал.

— Да, ну так что вы ему ответили?

— Вы слишком хорошего мнения о нас, писателях, если думаете, что у нас существует какое-то общественное мнение. Каждый слишком занят своими делами.

— Но каково ваше личное мнение о нем?

— Поэты как красивые женщины, им трудно оценить достоинства друг друга.

— На вашем месте я не стал бы топить товарища, а постарался бы все сделать, чтобы его спасти.

— Но, помилуйте, Иосиф Виссарионович, ваш звонок ко мне, вероятно, и вызван тем, что я за него просил и прошу. Я уверен, что вам так же тяжело, когда происходят подобные вещи, и что вы не упускаете возможности исправить зло. Но если вам нужно мое заверение, что

Мандельштам вполне советский человек, я его даю. Как жаль, что нам с вами приходится разговаривать на такую тему, нам бы надо было говорить с вами совсем о другом.

— А о чем бы вы хотели со мной говорить?

— Ну мало ли о чем, ну о жизни, о смерти.

— Хорошо. Как-нибудь, когда у меня будет больше свободного времени, я вас приглашу к себе, и мы поговорим за чашкой чаю. До свидания.

— В этот вечер, после звонка секретаря, у меня возникло особое состояние собранности, — продолжал Борис Леонидович, — я говорил и делал то, что нужно, и когда впоследствии вспоминал разговор, мне не хотелось изменить в своих ответах ни слова.

Когда он повесил трубку, я тут же набрал этот номер снова. Ответил секретарь.

— Я только что разговаривал с Иосифом Виссарионовичем, — сказал я ему. — Я хотел бы узнать, могу ли я рассказывать об этом разговоре?

— Иосиф Виссарионович уже занят, я об этом спросить его не могу, но, по-моему, можете.

Представляете переполох, когда в квартире узнали, что я разговаривал со Сталиным? Вскоре Мандельштама выпустили.

— Но он, кажется, погиб в лагере? — спросила я.

— Да, через несколько лет его снова арестовали, и на этот раз он не вернулся. Он умер, кажется, на Колыме. Но потом начали распространяться всяческие слухи об этом разговоре со Сталиным, и стали говорить, что я погубил Мандельштама. Но ведь о содержании разговора могли знать только от меня. Не стал же Сталин бегать по знакомым и рассказывать, о чем он говорил с Пастернаком.

— Ну что же, приглашал он вас на чашку чаю?

— Нет, — улыбнулся Борис Леонидович<sup>34</sup>.

И рассказал, как написал ему однажды письмо по сходному случаю. Арестовали мужа Анны Ахматовой



Пунина. Она приехала из Ленинграда хлопотать и остановилась у них в доме. Но что предпринять, куда обращаться, никто не знал.

— Меня стали уговаривать написать Сталину. Ахматова от переживаний заболела, ночью был переполох в доме, и утром я вышел на улицу и сам опустил в почтовый ящик Кремля письмо Сталину. Ответ получился как-то очень быстро, чуть ли не на следующий день. Ахматовой предложили взять его на поруки.

Я еще раз обращался к Сталину. В 1937 году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался дать подпись. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что Союз — гнездо оппортунизма, и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.

Дома меня ожидала тяжелая сцена. Зинаида Николаевна была в то время беременна Леней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал.

В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг.

Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину. Как будто у меня с ним переписка и мы по праздникам

открытками обмениваемся! Все-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей.

Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали.

— Вероятно, вас оградила известность за границей?

— Ну, тогда никакой известности не было. Если о ней можно вообще говорить, то она только сейчас начинается.

Да, я еще раз писал Сталину. Когда он сказал, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи, я его поблагодарил. Я ему написал, что рад тому, что с меня тем самым снимается ответственность, которую пытались возложить своими преувеличениями некоторые поклонники.

Мы с ним говорим о всеобщем гипнозе, связанном со Сталиным, и он признается, что тоже не избежал его действия. Рассказывает, как тяжело переживал смерть Сталина.

— Когда он умер, Зинаида Николаевна стала просить меня, чтоб я написал о нем стихи — пусть они никуда не пойдут, но пусть они будут в доме.

Быть может, это чудовищно, что я скажу, но, кажется, я никогда не был так счастлив, как во время войны<sup>35</sup>, — говорил Борис Леонидович.

Уже нечего было бояться чего-то неведомого и темного, была налицо реальная опасность, исчез тот искусственный гнет, который давил на жизнь перед войной, — и каким это явилось облегчением! И были надежды, что произойдет общее оздоровление и прошлое не вернется.

Некоторое время я жил в Лаврушинском. Во время налетов я подымался на крышу дежурить. Эти ночные дежурства вызывали у меня состояние, близкое к опьянению.

Я подымался вверх по лестнице в полной темноте, а вниз спускались в убежище люди, и я, встречаясь с ними, вдруг проводил рукой по чьему-нибудь лицу — так мне весело было! — и вообще позволял себе разные озорные выходки. Семьи писателей уехали в Чистополь, я остался один, проходил на ополченском пункте военную подготовку.

— Меня удивило в ваших военных стихах знание дела, полное отсутствие развесистой клюквы.

— Я ведь ездил во фронтовую полосу вместе с другими писателями. А потом пришлось уехать в Чистополь. И там неплохо жилось, радовала определенность и подлинность существования, внесенная войной. Вы, наверно, думаете, что это отвратительно, ведь война — это такое всеобщее бедствие?

Мы кончили работать. Борис Леонидович пошел меня проводить.

На востоке на холодном зеленоватом небе светилась крупная звезда.

— Это Марс, — сказал он. — В прошлом году было великое противостояние. Я изо всех сил смотрел, но не заметил, чтоб он стал больше.

Звездное небо навело его на космические размышления, и он стал с восхищением говорить о спутниках.

— Одна француженка мне даже прислала стихи. «Oh, douce Laïka, martyre de la Science!»\* — торжественно декламирует он, и мы смеемся.

---

\* Я нашла эти стихи в его архиве:

Oh, douce Laïka, martyre de la Science,  
Tu embrassais la main qui menait à la mort,  
Tu savais être gaie après chaque expérience  
Et tu sentais pourtant fequel serait ton sort.

О, кроткая Лайка, мученица Науки,  
Ты лизала руку, которая вела тебя на смерть,  
Ты умела быть веселой после каждого испытания,  
И, однако, ты чуяла свою судьбу.

Мы идем не спеша, нас кто-то нагоняет и здоровается с Борисом Леонидовичем. Он всматривается:

— А, Николай Корнеевич?

Он берет меня под руку и говорит:

— Это Зоя Афанасьевна Масленникова, скульптор. Она лепит меня. Сейчас я ее провожаю после сеанса.

Наш спутник его расспрашивает, и Борис Леонидович говорит ему:

— Нет, я сейчас не работаю, но времени совсем нет. Я переживаю роман с романом. Получаю письма, отклики, отвечаю. Роман выходит даже в Южной Африке, скоро должен выйти во Франции по-русски. А вы чем сейчас занимаетесь? Переводами?

Тот отвечает и, дойдя до поворота, прощается с нами.

— Это Николай Чуковский, сын Корнея Ивановича, — объясняет Борис Леонидович. — Это целая семья писателей. Николай Корнеевич уже сам дед, а прадед еще бодр, работает, пишет. Вы не читали его книгу «Люди и книги»? Прочтите. Дочь его, Лидия Корнеевна — тоже писательница. Она милый человек.

*9 сентября*

В это утро я работала по фотографиям. Было тихо, и казалось, в доме никого нет, но потом в столовой раздались голоса. Говорил Борис Леонидович и еще чей-то мужской голос. Неожиданно вошел высокий светловолосый иностранец в сером клетчатом пиджаке.

Он церемонно поклонился и бесцеремонно стал разглядывать портрет. Мне очень хотелось набросить у него под носом на голову тряпку, но, понимая, что тут он может быть лишь с согласия Бориса Леонидовича, я воздержалась.

Через минуту пришел Борис Леонидович и представил его так:

— Это один швед.

«Один швед», кстати, неплохо говорит по-русски, не знаю, остался ли он очарован вежливостью Бориса Леонидовича. Пробормотав несколько похвал, швед при активном содействии хозяина распрощался.

— Это стокгольмский профессор (Борис Леонидович назвал незапоминающуюся фамилию), специалист по русской литературе, он приехал на съезд славистов, — сказал он, вернувшись...

Замечали ли вы, — спросил он, — сходство между скандинавской и русской литературой? В ландшафте мировой литературы, где есть свои горы, леса и стремительные потоки, русская и шведская литературы похожи на глубокие спокойные озера. Есть такой шведский писатель Лагерквист. Я его не читал, но мне написали письмо о том, что он оригинален и глубок и что есть связь между его поисками и моими, — и просят сделать о нем статью. Мне бы хотелось написать статью не столько о Лагерквисте, сколько о свежести и самобытности скандинавской литературы и ее месте среди других литератур.

— Я хотела вас спросить, кто этот Альбер Камю, с которым вы переписываетесь?

— Это хороший писатель, талантливый публицист. У него не такая банальная точка зрения на современность, и потом у него есть вкус. Ну, вместо «эпоха империализма» он говорит «*Le siècle des marchands*»\* и так далее. Он лауреат Нобелевской премии, и он мне все писал: надо будет вам прислать текст шведских речей — до меня не сразу дошло, что это речь, произносившаяся при вручении премии. Он там, оказывается, лестно обо мне отзывается, говорит, что многим мне обязан.

Да, вот о чем я хотел вас попросить. Вчера вечером я гулял и зашел к одним знакомым. Они читали книгу Уэллса «Россия во мгле» и мне прочитали отрывки. Скажите, вы не могли бы ее достать?

---

\* «*Le siècle des marchands*» (фр.) — «век торговцев».

- Постараюсь, Борис Леонидович.
- Большое спасибо.
- Но это сокращенный перевод. В иностранной читальне даже не выдают английское издание.
- А, тогда не надо. Это неинтересно.
- Нет, почему же. Я попробую.

*12 сентября*

Я работала одна. Прошло часа два, я с головой погрузилась в работу и вдруг всем телом вздрогнула от громкого «Здравствуйте, Зоя Афанасьевна!».

— О, простите, Бога ради, я вас испугал! Простите меня.

Борис Леонидович остался перемолвиться словечком, и я сообщила, что в субботу иду в Политехнический музей на вечер встречи с итальянскими поэтами<sup>36</sup>. Он не знал об их приезде.

— Тогда, наверно, ко мне приедет Рипеллино. Он меня переводил, писал обо мне. Он тут у меня был, и мы переписывались.

— А разве он поэт? Я думала, он профессор, критик.

— Да, он и стихи пишет.

— Пусть лучше не приезжает. Когда была встреча с советскими поэтами в Италии, он о вас неприлично высказывался. Обозвал вас принцем Гомбургским, заявил, что вы уже принадлежите истории, и вообще был непочтителен.

— Это ничего, — тоже с улыбкой говорит Борис Леонидович. — Если он приедет, он непременно будет у меня. А кто приезжает?

— Сольми, Кадорези, Буттито, Мунчи, Квазимодо.

— А, и Квазимодо приезжает? Это, пожалуй, самый значительный, самый интересный из поэтов Италии. Он основоположник школы герметизма.

И Борис Леонидович принимается мне рассказывать о принципах этой школы.

— Почему вы так много переводите? Ведь вам есть что сказать и самому.

— Не спрашивайте меня. Я к вам так хорошо отношусь, что не смогу вам не ответить. А потом я начинаю мучиться, зачем был так с вами откровенен.

— Вам незачем беспокоиться. Я ни с кем не делюсь содержанием наших разговоров.

— Да, мне есть что сказать и хочется писать и сделать что-то значительное, раскрыть и развить многое из того, чего в романе я только коснулся или к чему так и не подошел. После романа прошел кусок жизни, появились новые мысли, сделаны какие-то открытия, и хочется их выразить. Но вокруг меня создалось целое финансовое управление, много людей от меня зависит, и очень много денег надо зарабатывать.

— А вы махните на все рукой и пишите. Это ведь самое главное. Вам самому надо немного, а остальные обойдутся.

Он погладил мою руку.

— Наверно, так и надо бы сделать. Но это невозможно.

Когда он собрался уходить, я вручила ему «Россию во мгле».

*14 сентября*

— Я вам принес сегодня стихи, — сказал Борис Леонидович, кладя на стол тетрадь, — но я не могу вам их подарить, у меня больше нет.

— Зачем же? Но вы позволите мне перепечатать?

— О да, пожалуйста. Только знаете что, перед тем как переписывать, дайте их мне. Там, наверно, много ошибок и опечаток, я посмотрю. И у меня к вам просьба: если вы заметите описки или какие-нибудь неясности, покажите мне и вообще отметьте все, что непонятно. В этих стихах я

добивался предельной ясности смысла, и там не должно быть никаких темных мест. Я вам буду очень благодарен.

Он уселся на станок, и, поработав в молчании, я сказала:

— Я вчера была на вечере итальянских поэтов. Вы о нем ничего не знаете?

— Нет, ничего.

— Тогда я должна вам рассказать. Но во время работы трудно связно говорить, давайте после сеанса.

Но он все же задает вопросы о том, кто был, что читал, как принимали. Голос его потеплел от сочувствия, когда он узнал, что с Квазимодо случился инфаркт и он лежит в Боткинской.

Когда я упомянула о выступлении Андрея Вознесенского<sup>37</sup>, он мне рассказал о нем.

— Вознесенский начал писать рано, школьником. На выпускном экзамене по литературе его попросили прочесть на выбор стихотворение советского поэта. Он прочел мои стихи. Это было вызовом. Но все-таки ему поставили пятерку. Потом мы познакомились, он советовался со мной, куда ему поступить, и я отговаривал его идти в Литературный институт. Он поступил в Архитектурный. Он одаренный поэт, стихи его написаны под напором, его захлестывает материал, и он не успевает сказать всего, что хочет, от этой недоговоренности создается энергия и стремительность ритма.

Он стал архитектором и начал печататься. Стихи его имели успех, и сейчас он переключился на литературную работу, видимо, это оказалось прибыльней.

С похвалой отозвался о Евтушенко.

— Вчера я смотрел по телевизору вечер, посвященный Толстому, — говорит Борис Леонидович и принимается рассказывать о своих впечатлениях, о докладе, о президиуме и т. д.

— Потом был концерт. Показывали отрывки из «Воскресения». Как у них Катюша говорит! (Он имитирует



речь.) Ни в одном кругу — ни в купечестве, ни в крестьянстве, ни в мещанстве никогда так не разговаривали. Откуда они это взяли? Удивительная безвкусица! Зато мне понравилась молодая актриса... она понимает, что делает, держится с милой естественностью, и голос приятный. Вообще же я редко смотрю телевизор, а семья почти каждый вечер.

Он рассказывает о связи своих родителей с Толстым, о том, что мать часто ездила в Ясную Поляну играть для Льва Николаевича, о музее Толстого в Париже, созданном из архивов, вывезенных за границу его семьей, об Александре Толстой и толстовском фонде.

Упоминает, что одна из сотрудниц этого музея переводила роман на французский язык, другой переводчицей была преподавательница русского языка из Бордо.

— Борис Леонидович, помните, вы мне обещали рассказать о своем романе с Горьким. Расскажите сегодня.

— А-а! Ну, хорошо. Кажется в 24-м году я перевел пьесу Клейста «Разбитый кувшин» для журнала «Современник». Перевод был ужасный, беспомощный. И вот я получил оттуда рукопись с поправками. Как! Меня смеют править, учить писать! Я сейчас же написал заносчивое, щепящее письмо Горькому, требуя призвать редакцию к порядку. Ответа на это письмо не было. А потом, гораздо позже, выяснилось, что поправки вносил сам Горький, а я нажаловался ему на него самого.

Когда я узнал об этом, я написал Горькому письмо. Он в то время жил на Капри. Он мне ответил, что мое письмо непонятное. Я написал снова, он прислал ответ, и мы стали обмениваться письмами.

Я вам говорил, что у Марины Цветаевой есть сестра Ася. Она тоже по-своему одаренный человек, но она меркла рядом с сестрой. Она была замужем за неким Зубакиным<sup>38</sup>. Он великолепно знал историю, особенно историю религии, обладал замечательной памятью и мог говорить стихами о чем угодно, не задумываясь. Но это была богема, люди на редкость разбросанные и безалаберные, без особых принци-

пов, принятых обычно в общежитии. Им очень хотелось на Капри, я о них написал Горькому, и он их пригласил. А через некоторое время я получил от него сердитое письмо, в котором он писал, что мои друзья (мои друзья — это слишком сильно сказано) невоспитанные, неприемлемые в общежитии люди и он вынужден попросить их оставить дом.

Я хорошо представляю, что они могли, скажем, пить всю ночь напролет, вставать во второй половине дня, но совершить что-нибудь подлое и бесчестное они не могли.

Я написал Горькому, что думал, что эти маленькие и в общем жалкие люди будут интересны ему для наблюдения, что они могут послужить ему материалом в работе, но не предполагал, что он, такой большой и значительный, будет предъявлять к ним серьезные требования, желая, чтобы они были достойны его. Он мне ответил, что я опять написал ему непонятное письмо, и предложил прекратить переписку.

— Разве вы не видались с ним?

— Виделся. Первый раз я пришел к нему по поводу Пильняка, у которого были неприятности.

Борис Леонидович в деталях рассказывает об этой встрече, о впечатлении от Горького, имитирует его окаящую речь. Я вдруг отчетливо вижу какого-то нового для меня Горького.

— Во второй раз я был у него в трудный момент моей жизни. Я очень увлекся Зинаидой Николаевной, она была женой Нейгауза, у нее было двое сыновей. Я тоже был женат, и у меня был сын<sup>39</sup>. Мне огромных мучений стоило порвать с женой. Чтоб как-то облегчить ей разрыв, чем-нибудь отвлечь ее, я хотел устроить ей поездку в Германию. В те времена поездка за границу была как крупный выигрыш в лотерее. Я пришел просить Горького помочь мне.

— Новая любовь — это всегда очень хорошо, — сказал Горький.

— И помог?

— Да, она поехала с сыном в Германию. Потом на Первом съезде писателей мы сидели рядом в президиуме. Горький шутил, когда меня поминали с трибуны, подталкивал локтем, спрашивал: «Ну, как ты на это будешь отвечать?» — и добродушно трунил надо мной. Тогда я не думал, что вижу его в последний раз.

Я рассказываю о впечатлении, вынесенном от Горького в результате работы над портретом Андреевой. Мы принимаемся говорить о роли Горького в советской литературе, и оба сходимся во мнении, что роль эта преувеличена и образ Горького в литературоведении искажен.

Я кончила лепить и, убирая вместе с ним станки, сказала:

— Теперь я должна вам рассказать о вечере.

— Да вы уже все рассказали.

— Ничего не рассказала, а вам надо знать, что вчера было. Там Сурков отвечал на записки. В одной из них спрашивали, существуют ли ваши переводы с итальянского и переводы ваших произведений на итальянский. Сурков отвечал, что о первых ему ничего не известно, а вторые есть и даже много.

В другой задавался вопрос, почему вы не приняли участия в этой встрече с итальянскими поэтами. Сурков ответил, что вы написали антисоветский роман и отдали его для публикации за границу. В зале была бурная реакция на это сообщение. Сурков долго не мог успокоить публику. Кто-то спросил, как называется роман. Сурков ответил. Он сказал, что это второй случай такой нелояльности за время существования советской литературы. Из зала крикнули: а какой первый? Сурков сказал, что это был роман Пильняка «Красное дерево»<sup>10</sup>. По его словам, ваш роман направлен против сердца русской революции.

Борис Леонидович жадно слушал, расспрашивал о реакции зала, а когда я заговорила об итальянцах, перебил:

— Погодите, так вы говорите, что в зале...

Я добавляла новые подробности.

— А Сурков ко мне правильно относится, он так и должен относиться, — заметил Борис Леонидович.

— Это первый случай публичного разговора о романе? — спросила я.

— По-видимому, да.

Мне показалось, что его не огорчило то, что я ему рассказала, во всяком случае, прощаясь, он был особенно мил со мной и шутил.

*16 сентября*

Я лепила одна. Прошло довольно много времени, и неожиданно в дверях появился одетый, в плаще, Борис Леонидович.

— Я пойду погуляю, а потом вам попозирую. Только недолго, с полчаса. Хотите?

— Хочу. Борис Леонидович, спасибо!

— О, пожалуйста, пожалуйста, — сказал он тоном, которым отвечают на благодарность при возвращении занятой десятки.

— Вы не поняли, я за стихи.

— Нет, я понял, — улыбнулся он.

Гулял он долго, но, наконец, пришел, и я усадила его спиной. Весь этот недолгий сеанс я работала над затылком, и разговаривал он спиной ко мне.

Поработав, я тихо сказала:

— А стихи ваши меня поразили...

— Да? — восторженно спросил он.

— В них вы настолько выше себя прежнего, насколько в старых стихах вы выше всех остальных. «В перерыве» — чудо. С трудом представляется, что стихи созданы руками человека, который сидел за столом, что-то марал, перерешал. Они кажутся нерукотворными. Чувствуешь, что они всегда были в душе, что пережито не хорошая книга, а прожит оставивший глубокий след день подлинной жизни.

И от этого ощущение внезапного богатства, свалившейся на голову долгожданной удачи. Ведь это земля и небо, красота и жизнь стали больше своими, обжитыми. И совсем не хочется думать, почему это так хорошо, откуда эта берущая в плен сила, просто ей подчиняешься безоглядно. Спасибо!

Он отвечал мне взволнованно, задушевно, с силой.

— Я очень рад, что вы так к ним отнеслись. Я рад всему, что вы мне сказали. Вы — умный, чуткий, современный и очень одаренный человек. Не знаю, почему меня так взволновал этот разговор. Может быть, он потому такой особенный, что происходит спиной. Мне дорог ваш отклик. Но это сказано и не оставит следа. Вы спрашиваете, почему я трачу время на переписку, — люди откликаются, а письма — это документ, это остается.

— Я понимаю. Но кое-что из того, что я вам говорила, я записала.

— Вы ведете дневник?

— Это нельзя назвать дневником. Я записываю только то, что относится к моему становлению как художника.

— Это должно быть очень интересно. Меня часто спрашивают, веду ли я дневник. Нет, не веду. Я мысли вынашиваю долго, иногда годами, а когда они созревают, то отливаются в форме стихов или художественной прозы.

— Вам дневник даже вреден был бы. Как бы ни была зафиксирована мысль, но она уже выражена, и возвращаться к ней обычно не хочется.

— Вот видите, вы это лучше меня выразили. Вы любите грибы? Пообедайте с нами, у нас сегодня грибы.

Вскоре нас позвали. Он снова обратил мое внимание на ярко-розовый пепин за окном столовой.

— Как бы пасмурно ни было, всегда кажется, что ветки освещены заходящим солнцем.

Видимо, он любит эту яблоню. За обедом Зинаида Николаевна стала говорить о портрете.

— Мне портрет кажется мало похожим. Лицо у вас

заостренное и резкое, у Бориса Леонидовича все гораздо мягче и спокойней. Сходство есть, конечно, но портрет похож скорей на карикатуру.

— А у меня другое мнение. У меня физическое ощущение, что это я, я сам. Уловлено что-то очень существенное, и портрет мне нравится. Вы ее не слушайте, а то собьетесь. Вы на правильном пути, так и продолжайте.

*19 сентября*

Дома я сделала корректурную правку его стихов, нашла десятка два орфографических ошибок и с сотню пунктуационных. Все они не меняли смысла. Существенным было только:

Где ночь ложится на полати

В <sup>а</sup>п~~н~~кошенные клевера.  
(«Стога»)

Пунктуационные ошибки в основном заключались в отсутствии запятой между сочиненными предложениями с союзами и при перечислении.

В этот день в ожидании Бориса Леонидовича я не лепила. Мне удалось настроиться на отчужденный взгляд, и я долго рассматривала работу в разных ракурсах и освещенных, а потом стала на подвернувшемся клочке бумаги записывать, чтоб не забыть, обнаруженные недостатки.

За этим занятием меня застал Борис Леонидович.

— Что это вы пишете? Стихи?

Я объяснила.

— Вы — молодец. Ваш метод работы очень похож на мой. Я тоже перечитываю написанное и на листке делаю пометки о том, что нужно исправить или переставить, что еще нужно доделать. Вообще ваше отношение к работе и ваш метод мне нравятся. Они мне близки.

Я отдала ему стихи.

— Я пойду наверх и посмотрю, а через час приду, —

сказал он, унося тетрадь и благодаря за поправки. Через час он действительно спустился.

— Вы — умница, — сказал он, — и так толково это сделали, поместили строфу и строку, легко искать. Я многими вашими замечаниями воспользовался. Не всеми, правда. Я иногда пропускаю запятые, чтобы не задерживать темпа. Вы проделали большую работу, и у вас есть корректорский глаз. Но когда вы прошлый раз хвалили эти стихи, я вас слушал и почти соглашался, а сейчас я их перечитывал, и они такими скучными мне показались.

Я стараюсь его разубедить.

— А знаете, какое у ваших стихов есть отличительное свойство? Я с вашим маленьким томиком, изданным в 33-м году, не расстаюсь уже почти двадцать лет. Проходят два три месяца, я снова беру его в руки, и вдруг меня охватывает стыд.

Борис Леонидович делает быстрое движение — в нем испуг и любопытство.

— Как! Почему же?

— Потому что выясняется, что своего любимого поэта я не знаю. Вдруг я обнаруживаю, что я это читаю в первый раз, и это случается и тогда, когда я эти стихи знаю наизусть.

— А, — облегченно говорит он, — это и со мной бывает, когда я, например, Блока читаю. Но мне об этом же Камю написал.

Говоря о его стихах, я сказала, что в них тщательно замаскированы и неуловимы реальные события личной жизни, легшие в их основу.

— Правда? Но так и должно быть! Я редко говорю о чем-нибудь с уверенностью, но в этом я совершенно убежден: лишь когда свое, личное, с кровью пережитое становится общим, обретает общечеловеческое значение, только тогда оно получает право на существование в литературе.

— И еще вы мне одно благодеяние оказали. У меня с детства была патологическая зависимость от погоды. Мой тонус менялся столько раз, сколько за день солнце пряталось и выходило из-за туч. Вы меня от этого рабства освободили. Я увидела, что в свинцовых тучах, слякоти, грязных лужах есть красота и прелесть.

— Это верно. Я очень рад. — И правда, видно, что мои слова доставили ему удовольствие.

Я ему рассказываю, что накануне мы были у интересного человека — профессора Брюхоненко, и о его «незаконной любви» — увлечении психологией восприятия. Брюхоненко установил, что человек использует возможности мозга в лучшем случае на 3—4 процента, мы — страшные ленивцы. Он проделывает в доказательство любопытные опыты: выучился различать в несколько раз больше оттенков, чем любой живописец, исполняет одновременно три мелодии с разным счетом и в разном темпе, может заниматься сразу четырьмя видами деятельности и т. д.

— Какой молодец! Одного того, что вы сказали, хватило бы какому-нибудь ученому рассусоливать на всю жизнь, а это у него даже не главное занятие! Я с недоверием отношусь к так называемым интересным людям. Чаще всего они бывают интересными только в глазах тех, кто так о них отзывается, а на поверку обнаруживается, что, кроме одной бросающейся в глаза особенности, в них ничего больше нет, чаще они краснобаи и пустоцветы. Но ваш Брюхоненко вызывает у меня восхищение. Да, до революции в Москве была гимназия Брюхоненко, он не имеет к ним отношения?

*21 сентября*

Дома я просмотрела его правку. Принял он почти все, кроме удвоения согласных в словах «аккордеон» («Свадьба») и «мирра» (Магдалина II), зато вставил в «Зимней



ночи» отсутствующую и мною не указанную смысловую запятую:

На озаренный потолок  
Ложились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья.

В эту встречу я спросила его о Фаворе, и он подробно, с большим знанием дела объяснил мне про гору Фавор и про свет, окруживший на ней Христа в день Преображения.

— Откуда вы все это знаете? — удивилась я.

— Но ведь столько служб отстоял в детстве. Я мальчиком очень религиозным был, все это западает в душу на всю жизнь. Когда я лежал в Боткинской, там были ночные сиделки-старушки. Но ночам я часто не мог заснуть, и я разговаривал с ними на эти темы. Оказалось, что я помню псалтирь, литургию.

Но однажды я напутал. Выяснилось это так. У меня есть один знакомый старичок. Он отлично знает старую Москву, а главное — все помнит: кто с кем связан родственными узами, где и когда происходило то или иное событие. Им часто пользуются, когда надо установить какой-нибудь нигде не зафиксированный факт. Он мой поклонник, и для него отведен один день в году, на Благовещенье, когда он ко мне приезжает. И вот как-то на Благовещенье я оказался занят и сказал ему по телефону: я помню, что это ваш день, но, ей-богу, сегодня мне некогда. Он ответил, что непременно должен меня видеть, он обнаружил серьезный промах в романе.

— Так скажите мне по телефону, — прошу.

— По телефону никак нельзя.

— Но это действительно что-нибудь существенное? — спросил я.

— Да, очень.

У меня сердце екнуло.

— Хорошо, приезжайте обедать.

Он приехал, и я попросил его сказать, в чем дело, я

беспокоился, что я там мог такое ляпнуть — роман был уже напечатан. Но он таинственно дал знать, что может говорить об этом лишь наедине. Представляете мое волнение? Наконец, обед кончился, и мы пошли с ним в кабинет. Сначала он удостоверился, что дверь закрыта, а потом вполголоса сообщил, что в разговорах Симочки о христианстве я перепутал двух Марий: то, что там написано, на самом деле относится к Марии Египетской. У меня отлегло от сердца. И хотя он оказался прав, но я ничего не стал менять, все оставил как было.

Борис Леонидович принимается говорить о Симочкиных рассуждениях.

— Я не люблю слово «культура», оно у меня как-то ассоциируется с культуртрегерством. Вместо него Симочка употребляет слово «работа». Греция была такой великой работой, итальянский Ренессанс...

На какую-то мою реплику он отвечает:

— Нет, я не боюсь дидактики. Каждый писатель хочет что-то объяснить, чему-то научить. А Толстой, Достоевский, Чехов?

— А что вы думаете делать с портретом? — спросил Борис Леонидович.

— Если что-нибудь выйдет...

— Уже вышло, — перебил он.

— Отолью в гипсе два экземпляра, один подарю вам.

— Спасибо. А с другим что станете делать?

— Может быть, покажу на выставке.

— А какие выставки предстоят?

Я объясняю.

— А в бронзе отлить можно?  
— Да, конечно, были бы деньги.  
— И даже не официально заказанный портрет?  
— Да. У нас есть скульптурные мастерские, там можно перевести в мрамор или бронзу любую работу. Но об этом рано еще говорить.

Без всяких побуждений с моей стороны Борис Леонидович принимается мне рассказывать о своем романе с Зинаидой Николаевной. Вероятно, он подумал, что после обеда втроем у меня могли возникнуть вопросы.

— Когда я познакомился с Зинаидой Николаевной, она была женой Нейгауза. Она была тогда очень хороша собой, и я влюбился. Мое влечение к ней было мучительным. Я ни о чем другом не мог думать, рвался к ней и боялся этих встреч, и презирал себя, и заставлял себя приходиться на свидание в наказание за трусость. Такое состояние очень точно описал Стендаль — помните роман Жюльена Сореля с мадам Реналь? Эта страсть должна была сломить препятствия, иначе кончилось бы каким-нибудь несчастьем.

И вот, наконец, мы оказались вместе, у нас не было даже крова над головой, негде было приткнуться. По счастью, нам предоставил свою квартиру на Ямском Поле Пильняк, а сам куда-то уехал.

А потом мы поехали в Грузию<sup>41</sup>. Это было чудесное время. Нас замечательно принимали — знаете эти грузинские пиры по трое суток и пламенные тосты? Нас возили по Грузии в какие-то средневековые замки, в одном таком замке мы жили у Леонидзе.

Там я сошелся с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Табидзе был замечательный тамада, он обладал огненным темпераментом и даром импровизации и был украшением и душой этих сборищ.

Борис Леонидович набрасывает живые портреты-характеристики обоих и рассказывает об их трагических судьбах<sup>42</sup>.

— Когда мы вернулись, мы некоторое время жили у брата. Он оставался на старой отцовской квартире на Волхонке, но туда вселили несколько семей, и вся квартира была переделана перегородками. Это туда звонил Сталин.

Но в это время на дорожке показалась посетительница, и рассказ оборвался.

*23 сентября*

— Ну как, вы довольны спектаклем? — спросила я Бориса Леонидовича о «Короле Лире», когда он уселся позировать.

— Да, они молодцы. Я знал, что будет хороший спектакль, и приготовился наговорить им приятных вещей, но неожиданно стал говорить другое. Все-таки в наше время Шекспира почти невозможно играть. Наряду с гениальными местами вдруг такая ходульность! Я жалею, что огорчил актеров, они играли добросовестно, и спектакль поставлен со вкусом. Но они тут ни при чем, дело в Шекспире.

После спектакля я пригласил их к себе. Я не имею возможности устроить банкет в ресторане — всегда найдется кто-нибудь, кто меня знает, и там нельзя свободно говорить, а если не можешь говорить все, что хочешь, то лучше совсем не говорить.

— Зоя Афанасьевна, я хочу вам что-то сказать. Сейчас у нас нет денег, но как только они будут, мы хотим приобрести портрет.

— Вы решили меня обидеть?

— Нет, нет, но это ваша работа, и работа удачная, и вы должны получить за нее деньги.

— Я не хочу на эту тему разговаривать.

— Ну, пусть вы не хотите, но я вынужден настоять.

Выслушайте меня. Это только один раз, потерпите, мы больше не будем к этому возвращаться.

Выслушав его доводы и уговоры, я проговорила:

— Спасибо, Борис Леонидович! Но будет по-моему. — И принялась за работу.

— А мне иногда кажется, что надо бы сделать портрет с плечами. Не этот, этот отформовать так, но если бы можно было его сохранить и дополнить плечи?

— Такие достройки редко удаются. Надо тогда делать второй портрет, — отвечала я.

— Наверно, ваш портрет и будет моим надгробием, — сказал он как-то задумчиво. Увидев боль на моем лице, продолжал, улыбаясь: — Вот растерзают меня за роман, вы мне его и поставите.

— Меня пугает та легкость, с которой идет работа. Потом непременно выявится какой-нибудь просчет, когда уже поздно будет, — сказала я, останавливая его похвалы портрету.

— Ну зачем вы стараетесь омрачить себе жизнь? Хорошо работается, и слава Богу.

— Но эта легкость мне вовсе не присуща. Есть люди, обладающие моцартовской удачливостью в труде, а мне все обычно дается с мучениями.

— Все мучаются. И Моцарт мучился, и Пушкин, который об этом писал, тоже мучился.

— Борис Леонидович, когда вы рассказывали о пропаже писем Марины Цветаевой, вы упомянули, что вместе с ними пропали письма Ромена Роллана. Расскажите о них.

— Хорошо. Я вам говорил, что я мало читаю и что многого я не читал вовсе. Такой непростительный пробел был у меня и с Роменом Ролланом. Я совсем не знал его, когда мне на глаза попались «Героические жизни». Меня захватило то, что он написал о Толстом, его постижение соединения гандизма и христианства на русской почве.

Я написал Роллану благодарственное письмо. Он ответил, и мы стали обмениваться письмами. В это время развертывался мой роман с Зинаидой Николаевной. Я не мог решиться на разрыв с женой и чувствовал его неизбежность, и страшился этого шага, боясь причинить ей боль. И вот в этом состоянии духа я написал Роллану, очевидно, туманное письмо, намекая на предстоящий роковой шаг, за которым начнется неведомая жизнь. Он понял все иначе и прислал длинное, доброе, полное тревоги и основанное на недоразумении письмо, в котором пытался удержать меня от страшного поступка.

А его «Жан Кристоф» замечательная книга, правда? И как он хорошо музыку знает! А вот «Очарованную душу» и «Кола Брюньон» я так и не читал.

— Ромен Роллан был наставником моей юности. Я ему написала несколько писем, но, конечно, ни одного не отправила.

— Почему?

— Мне всегда казалось назойливым и нескромным, когда писателю пишут о личном. Наверно, такие письма вызывают досаду.

— Нет, это не всегда так. Жаль, что не послали, вероятно, он был бы рад и ответил.

*28 сентября*

Этот сеанс был вечером. Позируя, Борис Леопидович все посматривал на портрет.

— Мне нравится, что в вашей голове при бесспорном сходстве есть благообразие. Что поделать, хочется быть красивым.

Занятая работой, я ничего не ответила. Но потом (он в это время сгибал и разгибал больную ногу), вспомнив эти слова и подумав, каким прекрасным я его вижу, невольно фыркнула.

— Это вы надо мной из-за ноги смеетесь?

— Нет, над вашим желанием быть красивым.

— Разве оно не естественно? Все люди хотят быть красивыми.

— А знаете, в чем несоответствие между тем представлением, которое сложилось у меня о вас по книгам и по вашим вечерам, и моим новым знанием вас? Это ваше полное физическое и душевное здоровье.

— Да. Почему-то меня представляют неврастеником. Разве в стихах есть что-то болезненное?

— Нет, но там есть кое-что наводящее на такие мысли. Стихотворение «Болезнь» и «Я как грамматику бессонницу знаю...».

— Нет, я здоров и сейчас хорошо сплю. Пожалуй, я раньше себя никогда так хорошо не чувствовал. А вы бывали на моих вечерах?

— Да.

— Я их очень любил. Перед выступлением я волновался, нервничал, но, когда выходил на публику, вдруг успокаивался и так легко и естественно себя чувствовал. И не знаю, может быть, мне это казалось, но протягивались какие-то нити между мною и залом, и я чувствовал, что **управляю** публикой, веду ее, куда мне надо.

А однажды был ужасный случай. Я стал читать малоизвестные стихи из военного цикла — они незадолго перед тем вышли. И вдруг забыл. И никто подсказать не может. В зале были близкие, сын, я смотрю на них с мольбой: ну подскажите же, а они не знают. Хоть бы кто-нибудь догадался книжку с собой взять! У меня возникло чувство какого-то отчуждения к ним, хотя, вероятно, я был несправедлив. Я так и не мог вспомнить, пришлось извиниться и читать другие стихи. И так горячо аплодировали, что я почувствовал благодарность к публике за доброту. Ни одного смешка не раздалось. Мне приятно, что вы бывали на этих вечерах и помните их.

В этот день я привезла перепечатанные и переплетенные в четыре тетради его стихи с тем, чтобы он выбрал

для себя две из них. Он очень благодарил, говорил, что чуть не до слез растроган.

Сидя на станке, он держал томик в руках и рассеянно перелистывал его.

— А «На Страстной» хорошие стихи, правда? — спросил он.

— Да, очень. И очень языческие.

— Как так?

— Там перевешивает вера не в Бога, а в землю, любовь не к Христу, а к природе.

— Да? — раздумчиво говорит он. — Может быть, вы и правы. А самое значительное стихотворение сборника «Вакханалия» — вы не находите? А «Душа» и «Перемена» слабые стихи. Я их давал для редакторов, чтобы пощекотать их нервы: все-таки они люди и живут двойной жизнью, и в глубине души им нравятся такие вещи.

— Борис Леонидович, знаете ли вы, что я никогда не читала ваших «Волн», они мне не попадались. И вообще я знаю не все, что вами написано.

— Я вам не могу помочь, у меня самого этого нет. У меня нет и «Охранной грамоты». А что у вас есть?

— Избранное 1933 года и томик 1945-го.

— У вас есть книжка 1945 года? Тогда у вас есть все, что нужно.

— Но как же так — у вас нет ваших книг? Тогда я буду их вам раздобывать.

— А зачем?

— Но ведь время от времени полезно оглянуться назад, это помогает лучше видеть дорогу. Разве вам не хочется иногда перечесть «Охранную грамоту»?

— Не думаю, чтоб я стал когда-нибудь ее перечитывать. Я ее хорошо помню.

— Борис Леонидович, а как возник роман? Мне хочется знать: сразу ли вы его весь увидели целиком?

— Я его писал долго, семь лет. В 1946 году мы были на торжествах в Грузии по случаю столетия Бараташ-



вили<sup>43</sup>. Стояли чудесные солнечные дни, все цвело и было как-то празднично — кончилась война, и появились новые надежды. И мне захотелось сделать что-то большое, значительное — тогда и возникла мысль о романе.

Я начал со страничек о старом поместье. Так ясно представилась большая усадьба, которую разные поколения перепланировывали по своим вкусам, и земля хранит еле видимые следы цветников, служб, дорожек.

Чтобы втянуться в работу, мне важно взять разгон, и я зачастую начинаю с чего-то побочного, второстепенного, а потом иногда эти страницы совсем выбрасываю.

Написано было гораздо больше, чем вошло в роман, примерно треть осталась за бортом. И не потому, чтобы эти страницы были хуже других, а потому, что приходилось себя ограничивать, меня захлестывал материал.

— Да, в романе много людей, событий, тем и идей, жизнь так я кишит, и не все концы сведены с концами.

— Это заметно?

— Да. Но, может быть, в этом случае и надо было так писать?

— Не знаю, так ли вообще надо писать, — качает он головой. — Но я не одним романом в эти годы занимался. Я много переводил: в это же время перевел всего «Фауста», переводил Шекспира, написал несколько литературоведческих работ. В романе, может быть, десятки, сотни страниц скуки, но он подымает какие-то новые пласты, ставит важные для современности проблемы, и в этом его значение.

В это время в саду ожесточенно залаяли собаки. Громкий лай не смолкал, и Борис Леонидович, взяв фонарик, пошел посмотреть, в чем дело. Вскоре он вернулся.

— Под яблоней собаки нашли ежа, вошли в охотничий азарт и лают на него, — сообщил Борис Леонидович.

— Что же вы его не спасли?

— Очень темно. Они ему ничего сделать не могут, он свернулся в клубок.

— А нравственные страдания ежа не в счет?

— О, нравственные страдания — это ужасно, — улыбнулся он.

Лай не смолкал, был одиннадцатый час, и Борис Леонидович предложил:

— Может быть, кончим? И пойдем спасать ежа.

Мы оделись и вышли в сад. Борис Леонидович позвал собак, и они тотчас повиновались. Тобик отправился с нами.

С большим смущением я решаюсь попросить его написать мне стихи. Он соглашается очень охотно и забирет с собой красный томик.

Мы идем, разговаривая приглушенными голосами, темной осенней ночью. За поворотом после кладбища мы расстаемся, и вслед он мне кричит, чтоб я не сворачивала на тропинку, а шла по шоссе.

*30 сентября*

Пастернак не раз говорил мне, что не любит свой профиль, и я обещала ему доказать, что он ничего в этом не смыслит. И вот настал день моего торжества. Я работала над профилем, а он мне мешал, все поворачивал голову и смотрел на портрет.

— А знаете, вы меня примирили с моим профилем. Он выглядит как на медали. Хорошо бы сделать такой барельеф.

Вероятно, в тех редких случаях, когда я видел свой профиль, я бывал в том состоянии, которое так в себе не люблю, и снимки в профиль — их, правда, мало — делались, видно, в такие неудачные моменты. Вы — молодец, недаром я в вас поверил.

Когда он по меньшей мере в десятый раз сказал после похвал портрету, что так хорошо, конечно, не будет, я спросила:

— Вы помните такой рассказ — Доде, кажется? «La cruche cassée»\*.

— Нет.

— Семья сидит за обедом. «Жак, принеси воды», — просит отец маленького сына. «Как можно просить Жака, он непременно разобьет кувшин», — говорит бабушка. «У него дырявые руки, кувшин будет разбит», — говорит мама. «Уж он непременно споткнется на пороге», — добавляет сестра.

— Жак идет за водой и разбивает кувшин? — догадывается Борис Леонидович.

— А вы умный!

Мы смеемся. Потом я серьезно объясняю, что не боюсь никаких переделок, не верю в неповторимость удачи в работе. То, что достигнуто, сидит во мне и может быть всегда повторено.

— Я вас понимаю. То же самое у меня со стихами. Я их переделываю, и не раз, и друзья кричат, что порчу. А я, может быть, и порчу в какой-то частности, но в целом стихи несомненно выигрывают. И я могу возвращаться к стихам через несколько лет, когда, казалось, утрачено состояние, в котором они возникли.

(С тех пор я, кажется, ни разу не слышала это убийственное: «Вы испортите!»)

— Борис Леонидович, сегодня в «Литературной газете» стихи Вознесенского<sup>44</sup>. Я вам принесла, хотите посмотреть?

— Да, спасибо.

Прочитав, он говорит:

— Хорошие стихи. Он мне их показывал. Он недавно вернулся из удачной поездки на Кавказ. В Тбилиси он завязал связи с грузинскими поэтами, стал их переводить.

— Да. На вечере итальянских поэтов он читал хороший

---

\* «La cruche cassée» (фр.) — «Разбитый кувшин».

перевод стихотворения Нонешвили «Со всеми и совсем вдвоем».

Борис Леонидович улыбнулся.

— У этого перевода забавная история. Я вам расскажу, но вы меня не выдавайте и никому не говорите, а то выйдут неприятности.

(Пропускаю рассказ Бориса Леонидовича об этом случае.)

Он хвалит Вознесенского и предсказывает ему видное место в литературе.

— Спасибо, что вы мне показали газету. Я сегодня как раз пойду звонить по телефону и заодно позвоню Андрею и поздравлю его — мальчику будет приятно. Он что-то значит в моем существовании, он какая-то спица в колеснице моей судьбы.

— Борис Леонидович, а кто еще из молодых поэтов вам нравится?

Он хвалит задатки Евтушенко, но не уверен, что тот не собьется с пути.

— И еще есть такой поэт — Виктор Боков. Вы о нем не слышали?

— Нет, ничего не читала.

— Он мало печатался, во всяком случае книжка его еще не выходила. Он не так молод, ему лет сорок пять, вероятно. Он неудачник. Я ему помогал деньгами. Он из крестьянской семьи, рано осиротел, и детство у него было трудное. У него удивительный слух на народную речь, это роднит его с Кольцовым и Никитиным. Он не подражает фольклору, а создает свое, почти неотличимое от народных форм. Он был еще мальчишкой, когда в их края приехали специалисты по фольклору из Дома народного творчества, и Боков взялся помогать им собирать народные песни. Они остались им весьма довольны и привезли в Москву много записей и кое-что опубликовали. Прошло много времени, пока выяснилось, что он их надул и подsunул под видом народных свои песни. Он замечательно знает крестьянский

язык. При случае почитайте его, кое-что было опубликовано в журналах.

Борис Леонидович вышел к почтальону и вернулся с пачкой писем. Он был доволен, что их так много.

— А мне все-таки жаль, что вы так много времени тратите на переписку. Когда еще все это будет собрано, переведено, опубликовано! И эпистолярный жанр мне представляется как-то ушедшим в прошлое.

— Какой там эпистолярный жанр! Пишу я на иностранных языках, а чего стоит мой французский или английский? Но идет поток писем, и надо отвечать.

— А вы сохраняете хоть черновики?

Он даже руками замахал.

— Ну что вы! Терпеть не могу эту канцелярию. Я так не люблю себя прежнего, что избегаю те места, где есть следы моего прошлого.

— Борис Леонидович, а вы переводили из Рильке?

— Представьте, нет. Те стихотворения, которые я привожу в «Очерке», я специально для него и перевел. Когда-то в двадцатых годах я перевел две довольно большие поэмы Рильке в белых стихах (Реквиемы), переводы были опубликованы в журналах (в «Новом мире» и в «Звезде»).

— А вы с ним были знакомы?

— Нет, была единственная встреча в детстве, я о ней в «Охранной грамоте» написал. Отец был с ним знаком, состоял в переписке. Та первая книжка Рильке, на которую я случайно наткнулся, была с надписью отцу. Правда, незадолго до его смерти я написал Рильке письмо о своем к нему отношении.

— А какие стихи Рильке вы больше цените — немецкие или французские?

Он подумал.

— Все-таки немецкие.

— Мне показалось, как ни странно, что немецкие его стихи музыкальней французских.

— Странно потому, что французский язык мелодичнее? Нет, это неверный подход. Музыкальность связана со смыслом, а хотя Рильке и жил долго во Франции (он был секретарем Родена, вы знаете?), но думалось ему по-немецки свободней и естественней.

— Значит, вы не могли бы уловить музыкальность в незнакомом языке?

Он опять подумал, чуть поколебался и ответил:

— Нет.

Мы разговорились об английских писательницах. К моему удивлению, выяснилось, что он даже не слышал о «Wuthering Heights» Emily Brontë\*. «Jane Eyre»\*\* Шарлотты Бронте он как раз читал, хотя это много слабее. Он с интересом слушал подробности об этом семействе и заинтересовался романом.

— У меня мало времени читать. Я, правда, много читал, когда лежал в больнице. Я ведь полгода был болен. Мне присылали письма и книги незнакомые люди. Я такая свинья — до сих пор не всем ответил. А вы и говорите по-английски бегло?

— Не слишком, но говорю.

— А я никак не мог осилить английское произношение. Англичане — чудачки: столько усилий затрачивают на то, чтоб не произносить «р». Ну выкинули бы его совсем, а то язык наизнанку выворачивают, — смеется он.

— Да это совсем просто!

— Ну, нет! Вообще-то за последнее время я сильно оживил свой английский и французский благодаря пе-

---

\* «Wuthering Heights» Emily Brontë (англ.) — «Гремящие высоты» Эмили Бронте. В русском переводе книга вышла под названием «Грозный перевал».

\*\* «Jane Eyre» (англ.) — «Джен Эйр».

реписке. Одно время я переписывался с моим итальянским издателем Фельтринелли — это был хороший повод научиться писать по-итальянски, и я жалею, что им не воспользовался. Как-то не оказалось под рукой хорошего русско-итальянского словаря и грамматики. А Фельтринелли на издании романа разбогател, даже типографию себе заново оборудовал.

*7 октября*

По дороге домой я прочитала надпись на книге. Он сам вклеил в нее лист бумаги и написал: «Дорогой Зое Афанасьевне Маслениковой, умной, мужественной, талантливой, на память о наших встречах и разговорах и о том, как подвигалась ее скульптурная работа осенью 1958 года. Б. Пастернак. Переделкино, 30 сентября 1958».

Когда Борис Леонидович уселся на станок, я ему сказала:

— Большое вам спасибо за надпись. Но я, когда вас о ней просила, не предполагала, что она будет такой. Вы слишком добры.

— Нисколько. Мне ее легко было написать, я над ней не ломал голову. Иногда надпись бывает сделать трудно, даже хорошо знакомому человеку, все о нем знаешь — а не за что зацепиться. А у вас есть характер, это большая редкость. А я думал, когда вам отдавал книжку, что вы тут же посмотрите.

Я промолчала.

— Ну как, вы пописали маслом? — спросил он.

— Представьте, нет, начала этюд и бросила. Этого со мной еще не бывало, я чуть не заболеваю, если не довожу работу до конца.

— Я так и думал, что вы не будете писать.

— Почему?

— Ваши мысли сейчас заняты другим, и вы слишком втянуты в эту работу.

— Ну а вы были на концерте? Как Стасик играл?  
— Начал он скованно и по-ученически, но потом разошелся.

— Я его никогда не слышала. Что ему лучше дается?

— Как большинству пианистов — Шопен.

— Вы любите Шопена?

— Да, конечно. Я о нем даже написал. Так, пустячок, три странички. Я вам покажу. Пошел я на концерт, потому что во всем придерживаюсь принципа семейственности, мальчику это было приятно. После концерта все приехали к нам, пили тут, гости остались ночевать. Но меня расстроила публика: какие-то чужие безразличные лица. Я не балерина, чтобы на меня смотреть, но в этот раз я остро ощутил, что их и меня ничего не объединяет, что им никакого дела нет до того, что важно для меня.

Он говорит это огорченно, с болью.

В ответ я рассказываю, что во времена моей юности одним из критериев, от которого зависело — может возникнуть дружба или нет, — было отношение к Пастернаку, о том, что в сохранившейся у меня переписке тех лет все время встречается его имя.

— Ну, когда это было!

— Правда, много сделано для того, чтобы ограничить вашу популярность, и все же у вас много друзей, и здесь и во всем мире. В конце войны я была в качестве военного переводчика за границей...

— А где вы были?

Я отвечаю и рассказываю, как им интересовались югославские интеллигенты, с которыми я познакомилась в доме одного белградского художника, и как мне пришлось по-французски пересказывать его стихи (за что я попросила у него прощения).

— Спасибо вам. Это меня удивляет. Меня мало знали за границей раньше. Если говорить о какой-то известности, то она только сейчас начинается.



Я ответила, что дело не в широкой известности, а в глубине отклика, который рождают его стихи.

Был серый, мягкий день. Стояла осенняя тишина. Я работала молча. Вдруг очень отчетливо и вместе с тем приглушенно раздался жалобный протяжный гудок.

— Какой осенний голос у паровоза, — медленно и тихо произнес Борис Леонидович.

— Почти человеческий, — откликнулась я.

Борис Леонидович задумчиво смотрел в окно.

— Смотрите, на занавеси божьи коровки, — вдруг привлек он мое внимание. — Их, верно, принесли сюда вместе с яблоками (на веранде стояли, благоухая, ящики с собранным урожаем) — и теперь они выползли. Сегодня так ясно чувствуется осень.

— Да, и в этом году она поражает меня своей яркостью и щедростью. Я, кажется, никогда еще так не любила среднерусскую природу, как в эти вот пасмурные дни.

— Это потому, что вы еще так молоды. В старости осенью становится холодно и грустно. — И он зябко поводит плечами.

Борис Леонидович принимается расспрашивать о моей жизни.

— Но вам, наверно, нелегко приходится — и няню содержать, и дочку, и дачу снимать?

— Нет, я вовсе не трудно живу в материальном отношении. Прожиточный минимум я обеспечиваю, этого достаточно, а мне самой немного нужно.

— Я понимаю. Но вы достигли какого-то материального уровня, а за ним ведь есть еще и еще.

— Вот именно. И так без конца. Первое, чему нужно научиться, если хочешь что-то сделать в искусстве, это самоограничению.

— В этом, как и во многом другом, у меня нет твердого правила. Мне тоже самому мало нужно, но бывают

периоды, когда нужны деньги, и тогда я гоню переводы. Но оказывается, я плохо представляю себе, чего стоит мой труд. Бывали случаи, когда я приходил получать деньги и, расписываясь, видел в графе сумму и был вполне уверен, что это деньги, которые мне причитаются, а потом оказывалось, что это сумма вычетов.

— А творческий труд слишком высоко оценивается — он и так наслаждение.

— Вы и в этом правы.

— Я вот о чем в эти дни размышляла. Когда человек что-то создает, то ему кажется, что преобразуется материал, над которым он трудится. На самом деле самые большие изменения происходят с ним самим.

— Это очень верная мысль, — сказал Борис Леонидович.

— Я об этом даже недавно написала.

— А вы мне покажите.

— Это в стихах и, значит, плохо.

— А я вам скажу.

Когда сеанс кончился, он сел в плетеное кресло, приготовившись слушать. Но я не стала читать, а дала ему листок и принялась убирать после работы.

— Ответственно названо, — улыбнувшись, сказал он.

— Да! — ответила я с вызовом.

Я расхаживала по веранде, занимаясь уборкой. Проходило время, он молчал. Вот эти стихи в том виде, как попали к нему:

### Творчество

Создатель мною недоволен.  
И он осенней глины взял  
и с красным лесом, небом, полем  
во гневе все перемешал.

Он тесто замесил руками  
и, повелевши зубы сжать,  
нетерпеливыми рывками  
стал заново меня кромсать.

Ровяла листья, точно росы,  
заслыша человеческий хруст,  
незакаленная береза  
и с ней орешниковый куст.

И вот я в неприросшей коже,  
и к ней рабочий сор пристал,  
а кажется, что стал похожим  
портрет на свой оригинал.

Наконец, я не выдержала.

— Вы, наверно, почерк не разобрали?

— Все прекрасно разобрал. Хорошие стихи.

— Правда, Борис Леонидович?

— Да. Обычно, когда сначала рассказывают содержание стихов, то Бог знает как интересно распышат, чего потом не оказывается. А вы обещали меньше, чем дали. И мысль ясно выражена. Начало очень хорошее. И очень хорошо, что с красным лесом, небом, полем во гневе все перемешал (он делает энергичный, переворачивающий жест), что все вокруг, вся природа участвует у вас в творчестве. И дальше тоже хорошо (он читает), а вот это не так хорошо.

Это о третьем четверостишии.

— Почему, Борис Леонидович? Сентиментально?

— Нет, не потому. Просто по сравнению с тем, что вы себе позволили в первом четверостишии, это слабее и не так понятно. А дальше опять хорошо.

— А может быть, этого четверостишия совсем не надо?  
Оставить только три?

— А? Да. Может быть.

Я его благодарю и протягиваю руку за листком.

— У вас еще экземпляр есть? — спрашивает он.

— Да.

— Можно мне это себе оставить?

— Да, конечно.

— Спасибо.

Он складывает листок и кладет в верхний карман

куртки. А когда я, вымыв руки, подхожу к нему проститься в столовой, где он просматривает почту, он еще раз говорит:

— Хорошие стихи.

*10 октября*

— Отправляясь к вам, я сегодня в киоске на Киевском вокзале купила в издании «Огонька» любопытную книжечку об «Автобиографических записках» Пушкина, — завела я разговор.

— Автор Илья Фейнберг? — спросил Борис Леонидович.

— Вы, значит, знаете об этом?

— Да. Этот Фейнберг тут как-то жил в Доме творчества и приходил ко мне. Мы с ним гуляли, и он мне рассказывал о своих находках. Кажется, он на меня обиделся. «Автобиографические записки» Пушкина — это, конечно, явление исключительной, первостепенной важности, и он считал, что я должен все бросить и немедленно читать его работу. Он не мог понять, что как это ни важно, но у меня может быть своя заполненная жизнь и что просто не хватает времени.

Да и много времени уходит на быт. Я сам убираю свою комнату. Делаю гимнастику, после этого обливаюсь холодной водой — все это тоже отнимает время.

Он заговаривает о моих стихах и снова принимается их хвалить.

— Жаль только, что есть неточные рифмы. Я сам отказался от сложных рифм, от всякой изысканности в рифмовке, но избегаю небрежностей.

И опять говорит какие-то хорошие слова.

— Очень близкая мне концепция. И суметь ее выразить в трех-четыре четверостишиях! А вы никогда не печатались?

— Нет, и не пробовала. Я отдаю себе отчет в том, что раз у меня есть идолы в поэзии, то мне уготована судьба лишь бледной их тени.

— Нет, почему же. У вас есть свое собственное мироощущение — это большая редкость. Вы попробуйте — может быть, напечатают.

— Ну, до такой нескромности я еще не дошла.

— А я как-то не задумываюсь, скромны или нескромны мои поступки, — признается он.

— О, просто ваша жизнь протекает в других масштабах. Вы иногда говорите вещи, которые у другого прозвучали бы чудовищно, но в ваших устах они звучат естественно. Вы позволили себе смелость быть цельной натурой — при чем же тут скромность? Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы, со всеми вашими реальными трудностями и даже с тем трагическим, что есть в вашей судьбе, — очень счастливый человек, самый счастливый, кого я знаю.

Я чувствую, что мои слова о том, что он счастливый человек, вызвали в нем реакцию, что он, замолкнув, думал именно о них и раз или два порывался ответить, но ограничился лишь тем, что сказал:

— А может быть, вы правы.

— На днях я была на выставке из Дрезденской галереи, — говорю я ему.

Он спрашивает, я рассказываю.

— Там есть превосходные римские портреты. Они поразили меня глубоким сходством между римлянами и нашими современными военными.

— Такие жирные важные лица?

— А вы пойдете на выставку?

— Нет. Я вам сделаю признание, оно вам покажется диким, чудовищным, но я не был и на первой Дрезденской выставке.

— Вероятно, вы все это видели в Германии?

— Нет, в Дрезденской галерее я не был.

Он принимается говорить о картинах, которые видел

в Мюнхене, в Венеции и Флоренции, и я поражаюсь богатству и невыцветаемости его памяти.

В разговоре выясняется, что я тоже не была на какой-то важной выставке, потому что в это время лепила.

— Я это очень хорошо понимаю,— говорит он.— Воспринять сто и, может быть, тысячу чужих произведений, даже активно воспринять — несравненно легче, чем создать одно свое.

Уславливаясь о следующем сеансе, он сказал:

— Но вообще вашу работу пора кончать.

— Мне осталось четыре сеанса, через воскресенье я кончу.

— Это очень хорошо. Мне не хотелось бы вас торопить, но близятся важные для меня события, и мне надо быть свободным. И накопилась целая гора дел, больше откладывать нельзя. По-моему, портрет вышел очень удачным, и это совершенно законченная вещь. Если вы еще уточнять будете, то уже мне придется стараться быть похожим.

— Не выдумывайте. Лучше скажите, пока не поздно, что не нравится, может быть, можно переделать.

— Когда мне что-то нравится, то я принимаю всем сердцем целиком, и мне не хочется копаться в мелочах. Есть основное, существенное, а все остальное я просто не вижу.

— Что вы на меня так смотрите? — спросила я, смущенная его пристальным взглядом.

— Мне нравится, как вы работаете. Вы лепите, как будто комнату убираете.

Я вспыхнула. В романе есть похожая фраза о Ларе, звучащая как похвала ей.

— Я все ломаю голову над тем, кого я теперь лепить буду. Вы меня избаловали, и мне трудно будет выбрать модель.

— Ну, пустяки. А вы слепите кого-нибудь из вождей.

— Борис Леонидович!

— А почему бы нет? Так, на скорую руку, не мучаясь. Ну, это будет для вас то, что для меня переводы. Вам же нелегко живется: вот из-за денег от дачи пришлось отка-заться.

— Я вам прочитаю шесть строк, чтоб вы поняли, как я к этому отношусь.

Кустарь на продажу выделявал будд  
и их же молил дать семь пядей во лбу,  
ему, чтоб сумел их продать подороже.  
Но зря вылезал бедняга из кожи:  
Будда не в силе, и в тот же храм  
другой кустарь поставляет брам.

Читая, я слежу за выражением его лица. Оно внима-тельно, сосредоточенно, он подался, слушая, вперед, и вдруг стихи его смешат, и возникает внезапная, неподчи-няющаяся ему улыбка.

— Это остроумно. Особенно хорошо, что он сам делает богов и им же молится. И что в тот же храм. И есть в этих стихах словарная свежесть — это неожиданные будды и брамы во множественном числе. Нет, вы молодец.

Я скромно сияю.

— Я подумываю о Рихтере.

— О, это может быть интересно. У него выразительная голова. Вы с ним не знакомы?

— Нет.

— Это можно будет устроить. Как-нибудь я приглашу его и вас, и вы у нас познакомитесь.

— Спасибо, Борис Леонидович! Но я вовсе не хочу доставлять вам столько мороки.

— Да нет, это совсем несложно, только его, кажется, нет сейчас в Москве.

Я опять, как дура, отнекиваюсь.

— Вам с ним интересно будет познакомиться. Он хоро-шо разбирается в живописи, сам немного пишет. Он обла-дает легкостью в схватыванье, и его одаренность прояв-ляется иногда неожиданно: например, он любит сочинять разные игры, придумывает головоломки.

Он дружил с Трояновской, проводил там целые дни, для него даже рояль поставили, и он у нее упражнялся.

— Вы цените его как пианиста?

— Да, конечно.

Но он принимается говорить не о Рихтере, а о Клайберне. Он говорит о нем с воодушевлением, глаза его загораются, голос приобретает силу и мягкость.

— Он входит в музыку как хозяин, переворачивает все вверх дном и создает свой собственный порядок. Он существует в ней с неслыханной естественностью, и кажется, что никакой музыки до него не существовало, что он ее заново открыл!

— Вы были на его концерте?

— Нет. Я слушал по телевизору, и потом сюда привозили пластинки. Я прослушал Третий концерт Рахманинова в исполнении Клайберна и самого Рахманинова, и, ей-богу, по-моему, Клайберн ничуть не хуже Рахманинова. Вы хотели бы его лепить?

— Вы с ума сошли!

— Но хотели бы?

— Ну конечно!

— Даст Бог, буду жив, все будет благополучно, я это устрою.

*12 октября*

Это был вечерний сеанс. Сговариваясь, Борис Леонидович предупредил, что днем будут гости.

— Нет, я не постесняюсь сказать, что устал, но это не такое быстрое дело. Но вы приходите, пусть они там шумят, допивают, а мы с вами будем работать.

Я попыталась отказаться от этого варианта, но он настоял.

Мне не слишком улыбалась перспектива вырывать Бориса Леонидовича у подвыпивших гостей, однако, когда я пришла, от них и следа не осталось. В доме было чисто,



прибрано, проветрено. Вскоре появился Борис Леонидович, лицо у него было измученное.

— Я не умею себя держать. Слишком много ел и пил. Портрет смотрели и хвалили. Говорят, что похож и что ваша цель ясна. Было, правда, мнение, но вы можете слушать, можете нет, что зря наклонена голова. Но мнения тут разделились. Иванов, например, говорил, что наклон не нужен, а его жена защищала вас<sup>45</sup>.

Я долго работаю молча.

— Сегодня в моем лице вам только волосы пригодны, так все изменилось.

— Нет, на челе у вас печать мировой скорби — это мне нужно. Подумать только, что все это делается ради удовольствия.

Он сконфуженно отмалчивается.

В столовой появляется Зинаида Николаевна. Она включает телевизор. Показывают австрийский фильм «Проделки близнецов». Борис Леонидович прислушивается.

— Смотри, смотри. Это город, в котором я учился.— Шутливо: — В этом городе учились Ломоносов и я<sup>46</sup>.

— Какому это городу так повезло?

— Марбургу.

— Показывают Марбург? Пойдите посмотрите.

— Нет, не нужно.

— Посмотрите, вам приятно будет.

— Нет. Я там каждую улочку знаю. Красивый город. В нем 29 тысяч жителей; в Переделкине, наверное, больше. Очень старинный, готический, весь в зелени. На горе огромный замок. Университет, в котором еще Джордано Бруно читал лекции. Со времен средних веков город мало изменился.

— Трудно представить, как в этих исторических декорациях живут современные люди.

— Я об этом не задумывался. Мне был 21 год, и я отлично себя чувствовал.

— И ни разу не соскучились по России?

— Нет. Тогда так просто было: захочешь, сядешь в поезд — и через два-три дня дома.

— Вы там полгода были?

— Да. Хотя я теперь читаю в некоторых биографических справках, что был там до самой войны. Из Марбурга я поехал в Италию, вы ведь знаете.

Борис Леонидович принимается рассказывать о путешествии. Он в несколько штрихов создает маленькие картинки и раскладывает их передо мной.

Вот две из них.

Въезд в Италию.

— В поездах там нет спальных мест, да и ехал я третьим классом. Ночью ломит все тело, ужасно хочется спать, я уже вторые сутки не сплю, но жалко что-то пропустить, и я всматриваюсь в темноту. На какой-то маленькой станции после Сен-Готарда входят темнолицые худощавые крестьяне. Они вносят мешки с луком и мехи с вином. Обуты они в сырмятные постолы вроде индейских мокасин. У них профили древних римлян со старых золотых монет. Они всех вокруг угощают вином, оно пахнет козьим мехом, но отказаться нельзя.

Потом все успокаивается, пассажиры начинают дремать, и вам на плечо ложится голова, обдавая вас запахом чеснока...

...Во Флоренции я выхожу на перрон, и мне кажется, что я попал в оперу. Великолепно поставленный баритон поет арию Верди. Я иду на звук, и оказывается, что это смазчик ходит с масленкой вдоль вагонов и распевает по всем правилам итальянской школы.

Работаю молча, потом тихо спрашиваю:

— Борис Леонидович, а вы никогда не жалели, что не поехали с отцом?

— О, это трудный вопрос. Я знаю, что во многих отношениях мне там жилось бы легче. Можно было бы свободней писать и говорить, да и в материальном отношении было бы, вероятно, лучше.

Но все было бы тогда гораздо мельче. Человек должен жить жизнью своего государства, даже если он со многим не согласен. Он должен жить напряженной, естественной жизнью, и тогда в творчестве будет напряженная естественность, а если вырвать человека из родной среды, то к нему не поступают новые соки. Ведь эмигрантская литература ничего значительного не дала.

Я бы поехал за границу с удовольствием, особенно в Скандинавию и Грецию, — повстречаться с людьми, наговорить им приятного и самому услышать, но на полгода, не больше. Я не представляю своей жизни где-то в другом месте.

Мы замолкаем, потом я говорю:

— Уже полдевятого, пора кончать.

— Валяйте еще.

— Вы же устали.

— Ничего, ничего, валяйте.

Через четверть часа:

— А как вы пойдете домой?

— Прекрасно пойду.

— Прекрасно! Я вас провожу.

— Не выдумывайте, вы еле живой; вам надо отдыхать.

— Нет, я вас провожу. И вот что, давайте сейчас кончим.

Очень темно. Идем молча, мне не хочется болтать, но Борис Леонидович заводит разговор:

— Этот Иванов такой комик, всегда смешные глупости выкидывает.

— Вы с ним старые друзья?

— Да, мы знакомы около двадцати лет. Это благодаря ему я начал переводить Шекспира. Собственно, я начал переводить «Гамлета» по заказу Мейерхольда. И вот как-то в гостях я читал первый акт. Там был Иванов, он расхвалил перевод Немировичу-Данченко, и кончилось это тем,

что МХАТ расторг договор на перевод «Гамлета» с Анной Радловой, это нехорошо вышло, и заключил договор со мной. И кончал перевод я уже для них<sup>47</sup>.

— А «Гамлет» шел во МХАТе?

— А, это целая история, я вам как-нибудь расскажу. Но рассказывать начинает тут же.

Ночь теплая, туманная, темная. Мы идем по краю шоссе. В свете фонаря вдруг появляется крупная фигура, шагающая нам навстречу.

— Катаев, — тихо говорит Борис Леонидович. — МХАТ — избалованный театр, — принимается он за рассказ. — Новую постановку там готовят долго, иногда годами. Гамлета очень хотелось сыграть Ливанову, но его Бог наказал.

В 1940 году он был как-то на приеме в Кремле. К их столу подошел с бокалом в руке Сталин, чтобы выпить вместе с ними. Ливанов сделал шаг к нему, но там всегда было много этих, ну, охранников, что ли, и один из них удержал его рукой, не потому, чтоб думал, что Ливанов что-то такое сделает, а просто чтоб не надоедал. «Пáчему не пускаете Ливанова ко мне, если он хочет пáговорить?» — вдруг с акцентом произносит Борис Леонидович. А тот возьми да ляпни: «Иосиф Виссарионович, я хочу вас спросить: как бы вы стали играть Гамлета?»

Он думал, что тот ответит — ну, черным, лиловым, словом, в шутку скажет глупость, и Ливанов, ссылаясь на это, сможет потом играть Гамлета, как ему хочется.

А тот вдруг спрашивает: «А кто ваш руководитель?» — «Немирович-Данченко». — «Это опытный режиссер, и он вам объяснит, как надо играть Гамлета. Но если хотите знать мое личное мнение, я вообще не стал бы ставить «Гамлета».

— Почему? — воскликнула я.

— Ну, пьеса упадочная, психологическая.

Ливанов наивно думал, что, если он об этом разговоре не станет рассказывать, никто и не узнает, но когда

он наутро пришел в театр, там все уже было известно. Так «Гамлет» и не пошел.

Нас обгоняет какая-то женщина с мешком.

— Вот видите, женщина идет на станцию. Можете спокойно идти.

— Поворачивайте назад, Борис Леонидович, я прекрасно дойду сама.

— Нет, я вас провожу.

— Очевидно, женщине полагается нервничать, идя ночью по пустынному шоссе, но вы, верно, успели заметить, как мало во мне женского.

— Нет, почему же. Современные женщины не так уж сильно отличаются от мужчин, вероятно, потому, что им приходится работать, действовать самостоятельно. У меня есть приятельница-француженка — она страшная аристократка<sup>48</sup>. Муж ее парижский адвокат, у них двое детей, второй недавно родился, но она работает, преподает русский язык, и не в Париже, а в Туре. Она мне пишет, что в этом году у нее много уроков и для литературной работы будет оставаться мало времени — два дня в неделю. Вероятно, в эти дни она ездит в Париж, у них есть машина.

— И вероятно, не только материальные соображения заставляют ее работать?

— Не только, но и они тоже. Вообще они там не так уж сильно отличаются от нас.

Мы прощаемся, я ухожу в сторону станции, и вдруг до меня доносится:

— Спокойной ночи!

Оказывается, он стоит на месте и смотрит вслед, чтобы удостовериться, что я благополучно прошла кладбище.

*17 октября*

Не сеанс, а катавасия. Шел дождь. Дверь мне открыл Борис Леонидович.

— Надумали, куда ставить портрет? — спросила я.

— Вероятно, в моей комнате наверху. Пойдемте, я вам покажу. Но позировать сегодня я смогу только час-полтора.

— А почему так мало? Ведь это последние дни.

— Мне надо дописать срочное письмо. В те дни, когда вы приходите, я встаю раньше, чтоб успеть что-то сделать до вас, но сегодня я не успел.

Мы идем к нему. На верхней площадке две двери. Он открывает левую, и вот я в первый раз в его комнате.

Она очень большая, соответствует столовой и комнате жены внизу. Очень просторно и светло, стены окрашены желтой клеевой краской. Левая часть комнаты — спальня, правая — кабинет. В «спальне» — кровать, застланная пестрым покрывалом, перпендикулярно к ней — коричневая кушетка. Там же шкаф с задернутыми белыми шторками стеклами, низенький столик и старенькая скамеечка для ног. На границе с кабинетом большой современный гардероб, рядом с ним на полу два изящных чемодана. Справа от двери черная рама с полками, как бы книжный шкаф без задней стенки и дверец, книг немного. Перпендикулярно к окну с синими шторами, чуть от него поодаль, дубовый, ничем не покрытый письменный стол, почти пустой. За столом, рядом с книжными полками, секретер-конторка с наклонным верхом из зеленого сукна. На стенах в ряд застекленные фотографии с отцовских иллюстраций к «Воскресению», пастельный автопортрет отца. Вот и все.

Борис Леонидович говорит, что хочет поставить голову на книжный шкаф.

— Лучше всего сделать полку, — говорю я.

— Этого я вам не обещаю, я слишком тяжел на подъем.

— Ну что ж, будете любоваться собственным подборком.

Мы спускаемся. Когда проходим мимо открытой двери в комнату с роялем, я говорю:

— У вас, кажется, была еще мысль поставить портрет здесь?

Вдруг Зинаида Николаевна отрывается от глажения и заявляет:

— Нет, я против.

— Да, не стоит, комната слишком мала, — отвечаю я.

— Не потому. Портрет мне не нравится. Он очень далек от правды. Если Борис Леонидович хочет, пусть он ставит его у себя в комнате, а здесь внизу — я не хочу.

— Хорошо, — отвечаю я и иду на веранду. Борис Леонидович идет следом.

— Не понимаю, зачем ей понадобилось это говорить?

— Правду лучше говорить, какова бы она ни была, — возражаю я.

— Да? Тогда тем ценнее та правда, которую я вам говорю. Портрет прекрасный, лицо живет, и он очень похож.

Он еще что-то говорит о портрете, но я слышу как сквозь вату. Он помогает переставить станки и, уходя дописывать письмо, обещает через час прийти.

Я стою у окна, за которым льет дождь. Так, значит, все, что я вложила в работу, — все это зря, и они не знают, как от меня отделаться? Мне больше всего хочется сейчас же уйти и никогда не возвращаться.

Наконец, из сумбура крайних решений вырисовывается план действий. Я заставляю себя приняться за работу над постаментом.

Проходит время, и вниз спускается Борис Леонидович.

— Простите, что я встречаю в вашу работу, но я могу посидеть.

— Я тут без вас хорошее надумала. Вам больше не надо позировать. В воскресенье я заберу работу в Москву, отливать буду там. И у меня будет время не торопясь закончить портрет.

— Нет, я хочу вам позировать. Можно?

Мы ставим станки в освещении, аналогичное тому, в котором голова окажется в его комнате. Он садится.

— Вы были наверху слишком недолго, у вас нет времени и у меня, а я хотел открыть пару ящиков и показать вам, что значит переписка. Это громада. Многие отзывы просто невероятные, и вместе с тем многие, в том числе друзья, говорили, что роман плохой, что это падение. Не мне вас учить, но никогда не бывает, чтобы работа правилась всем.

— А, вы на эту тему? Не стоит.

— Да, я на эту тему. Я хочу, чтобы вы мне верили, что работа мне нравится. Это абсолютное попадание. С самого начала у меня ощущение, что это я, я сам. И, по-моему, это законченная вещь, и зря вы еще что-то делаете. Можно только сделать новую работу на эту же тему в новой концепции, а эта концепция выражена совершенно. А мысль отлить в Москве правильная, лучше не здесь. Но вы будете там доделывать без меня и Бо-ог знает куда заедете.

— Это мое дело.

И я круто меняю тему:

— Умер Иоганнес Бехер. Вы знаете?

— Нет, что вы говорите! А сколько ему лет было?

Я показываю ему некролог.

— Моих лет, а я думал — гораздо моложе. Меня не пугает мысль о смерти. Жизнь мне представляется большим заседанием. Оратору дают слово, чтобы он мог высказаться. Но поговорил, и хватит, дай другому. Какая была бы скука, если бы одни и те же ораторы выступали без конца!

Помолчали. Мне не хочется, чтобы он решил, что я дуюсь, и я заговариваю.

— На днях я купила книжечку Заболоцкого. И одно стихотворение мне показалось подозрительным. Оно называется «Поэт».



— Да, он мне его показывал<sup>49</sup>. А вы знаете, что Заболоцкий умер?

— Нет, что вы говорите? Когда?

— Два дня назад.

Мы молчим, как бы чтя его память.

— Он хороший поэт. У вас лиловая книжечка?

— Да. Он мне близок. И мне кажется, нет другого поэта, который работал бы настолько в вашей традиции.

— Вы так думаете? Мне кажется, нет. У него есть одно редкое свойство — тематичность, точное соответствие содержания названию — вот как в вашем «Творчестве», как будто картине придана этикетка строго по назначению. Это еще встречается у французов, у Бодлера, например, но мало свойственно русской поэзии, которая скорее непрерывно льющийся живой поток самовыражения. И что такое поэзия вообще? Это чудо совершающегося на ваших глазах превращения, когда такой поток вдруг выливается, переходит в форму и застывает на ваших глазах.

Он сам похож в этот миг на мага, руками совершает это чудо, и оно получается!

— Есть какие-то очень близкие мне люди, с которыми я встречаюсь регулярно, но не часто, а друзьями дома стали люди, которых я вовсе не люблю больше, чем других, скорее по привычке. Так было и с Заболоцким — мы виделись три-четыре раза с большими промежутками. Я очень ценю его отношение к моим стихам. Он не признавал всего, что мною написано до «На ранних поездах». Когда он тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках, и они не исчезли, остались висеть.

Что вы так смотрите на работу? Вам что-то не нравится?

— Да. Надо вообще бросать лепить портреты и начинать писать пейзажи.

— Я понимаю, что у вас могло испортиться настрое-

ние, но ведь вы говорили, что родственникам вообще трудно угодить, так что это не в первый раз?

— Не в том дело. Просто пейзаж можно писать до тех пор, пока не сочтешь законченным. Если уж лепить, то натурщиков, они безотказны.

Он опять хвалит работу, я молчу.

— А скажите, если пластилин оставить, он сохнет или портится как-нибудь?

— Можно на двадцать лет оставить, ничего не будет.

— А можно отлить в гипсе и сохранить модель?

— Она при формовке разрушится.

— Ах, вот как! А что, если мы оставим работу до следующего лета и потом продолжим? Навряд ли я сильно изменюсь за год. И мы ничем не рискуем. Ну случится что-нибудь со мной, умру я — законченная работа есть.

— О, это идея. Дайте подумать.

Я даже бросаю лепить и сажусь в кресло.

— Это очень хорошо. Я бы вам ни слова не сказала, кончила в воскресенье, но я даже не приступала к самому благодарному и увлекательному этапу уравниваний, пролепке деталей и уточнению психологического состояния. И я даже забирать не буду, пусть остается у вас.

— Но вам захочется показать, вам приятно будет.

— Борис Леонидович, совсем не так много людей интересуется моим творчеством. И я даже сейчас не знаю, кому мне хотелось бы показать.

— Вы всегда можете привезти кого захотите сюда. Назначайте лучше в воскресенье около часу, а если кто-нибудь понимающий попадется, я покажу. А это очень хорошо — прийти на готовенькое, это похоже на то, как сын наследует отцу, продолжает его дело. Такое наследование обычно сокращает дорогу. Хотя есть примеры и обратного, так что тут закона не выведешь.

— В смысле наследования у вас все складывалось благоприятно. У меня же родные косо смотрели и смот-

рят на мою тягу к искусству. И вокруг нет той среды, которая была вокруг вас.

— Среда... Какие-то остатки ее сохранились теперь. Это люди, которым сейчас 60—70 лет, образованные, знающие языки, со вкусом. Но что это за вкусы! Когда-то было принято считать Чехова — Чехова! не таким уж большим писателем. В начале века в моде был мистицизм, а Чехов был реалистом. Жизнь давно опровергла эти представления, а они все еще живут ими. Произошло потрясение всего, все перемешалось, перевернулось, а они и не заметили, их тридцать раз распинали, а они и не заметили, их тридцать раз за ноги подвешивали, а для них не это главное, а какие-то пустяки!

Мы помолчали. Потом я сказала:

— У меня за последнее время была еще удача в моих книжных приобретениях — я купила «Фауста».

— Да ну? В моем переводе?

— Конечно.

— Почитайте. Это хорошая книга.

— Меня «Фауст» потряс даже в переводе Холодковского<sup>50</sup> еще в школьные годы. А я кое-что успела прочесть. Знаете, что поражает? О чем бы Гете ни писал, о большом или малом, и даже там, где мысли не новы и просто ходульны, — все проникнуто, я боюсь этого слова, но гениальностью, что ли.

— Это вы очень важное, очень существенное подметили.

— А как это объяснить? Раз вы сумели передать, следовательно, знаете.

Он задумался.

— Вы изучали языки, значит, вы филолог. Что такое слово «оригинальный»? Корень его означает «источник». Вот это — сам бьющий родник, из которого рождается потом река, непосредственное начало всего — это и есть Гете «Фауста». Он позволил себе большую свободу, разрешил себе быть самим собой, писать не ог-

лядяваясь вокруг, и в этом мощь, буйство «Фауста».

И только в «Фаусте» Гете такой; этого нет ни в «Вильгельме Мейстере», ни в других его вещах. Там он скован следованием классическим традициям. Есть понятие геганство, но оно не относится к «Фаусту».

— Что касается перевода, то мне показалось, его не существует, «Фауст» вам настолько близок, что вы с ним как бы одно. И под многими его отрывками могла бы стоять ваша подпись.

Улыбаясь, он качает головой:

— Нет. Это все-таки добросовестный перевод, а не повод для самовыражения. Но мы даже плохо себе представляем, насколько «Фауст» проник в наше сознание, как он до сих пор вдвигает и как многие им питаются в своем творчестве. Недавно я прочел два небольших романа одного шведа.

— Лагерквиста?

— Как вы все помните! А я зато помню, как я сказал, что Пушкин первым построил дом русской поэзии, а вы сказали, что Лермонтов был первым в нем жильцом.

— Вы будете писать о Лагерквисте?

— Пока не вижу возможности,— лукаво улыбаясь, ответил Борис Леонидович.

— Он не оправдал ваших надежд?

— Да. Он оказался совсем не таким значительным явлением, как мне расписали. И мне так ясно стало, что перед тем, как писать, он перечитал «Фауста». Сначала я думал, что мне кажется, а потом — попался голубчик! — вот это место из сцены с «Гомункулом».

— Вы говорили, что писали роман и переводили «Фауста» одновременно?

— Да. И он помогал мне становиться смелее, свободней, рвать какие-то путы не только в смысле политических или нравственных предрассудков, но и в смысле формы. Я освобождался от стремления писать оригиналь-

но. Оригинальность «Живаго» как раз и состоит в отказе от оригинальности.

Да, я вам не говорил еще, я буду переводить третью «Марию Стюарт».

— Как третью?

— Первая была Суинберна, вторая — Шиллера, а теперь буду переводить с польского Словацкого<sup>51</sup>. Этой новости всего три-четыре дня. Дело в том, что как будто было решение Гослитиздату больше договоров со мной не заключать. А поляки стали настаивать, чтобы переводил именно я, будто бы для Польши это важно, и добились того, что договор заключен.

Он рассказывает об авторе — современнике Мицкевича, с ним враждовавшем.

— А пьеса хорошая?

— В том-то и дело. Романтическая, риторичная. Ее надо делать с кожей, рифмованными стихами — тогда что-нибудь получится.

— А ее кто-нибудь хочет ставить?

— Они мне наговорили невесть что, сулили золотые горы. Но я-то не дурак, я понимаю, что если уж ставить «Марию Стюарт», то Шиллера. Я кому-то сказал, что буду переводить не «Марию Стюарт», а польскую любовь.

Он снова заговорил об утренней сцене, просил меня не придавать этому значения и сказал, что отношение Зинаиды Николаевны к портрету во многом определяется ее суевериями. Ей кажется, что лепить человека — дурная примета.

— У меня в этом случае нет ни суеверий, ни дурных предчувствий, но в некоторых отношениях я бываю суеверен, — говорит он.

— Вы знаете, я тоже. Я пикому еще в этом не признавалась. У меня довольно твердые материалистические взгляды, но иногда я вдруг начинаю загадывать. Откуда это?

— Когда мы счастливы, мы ищем лишнего подтверждения своему счастью. Если же выходит «нет», мы себе можем сказать, что это только суеверие.

Но уже давно время кончать сеанс.

— А в воскресенье вы приходите. Жду вас в двенадцать. А сейчас очень хорошо. Портрет видели Ливановы и вас расхваливали.

— Ну, сами решайте.

— Нет, нет, раз вам это так улыбается, будем продолжать летом. Во второй его половине, хорошо?

Прощается он с особой теплотой и, уходя, просит:

— Вы пока о наших планах никому не говорите, хорошо?

— Зинаида Николаевна, где вы? — зову я.

Она выходит из своей комнаты.

— Я хотела вам сказать, вы молодец, что сказали правду.

— Я всегда говорю правду.

— И я понимаю, что говорить такие вещи так же неприятно, как и выслушивать их.

— Еще неприятнее.

— Тем больше для этого нужно мужества. Но я хотела сделать как можно лучше. Если не вышло, значит, мне не дано.

— Нет, почему не дано? Есть и другие мнения. Многие паходят, что похож и что это очень интересно. Но это не мой Борис Леонидович. Мне хотелось бы, чтобы он был мягче и добрее.

— Но это и не мог быть ваш Борис Леонидович. Взгляд вблизи и взгляд издали не одно и то же. Вы прожили тридцать лет с человеком и, конечно, видите его иначе, чем я, для которой он всегда был далекой горной вершиной.

— Вот видите, значит, я вижу его правильной.

— Не обязательно. В каких-то деталях — да, но не обязательно в целом. И даже если бы художник поставил

своей целью создать произведение, которое нравилось бы всем, из этого ничего бы не получилось.

— Да, это невозможно. Вы меня не слушайте.

— Мне самой не все нравится в портрете, но вряд ли я многое смогу исправить — в моем распоряжении один только сеанс.

— А почему бы вам не оставить портрет до следующего лета? А тогда продолжите. Поговорите с Борисом Леонидовичем.

Я молчу, связанная его просьбой.

Мы долгу еще разговариваем с ней. Наконец, я уйду со страшной головной болью от пережитых волнений.

*19 октября*

Я много думала о том, что меня не удовлетворяет в портрете. Как ни странно при моем отношении к Пастернаку, работе не хватает обаяния. Понять это помог отчасти и разговор с Зинаидой Николаевной.

Я мало спала ночью, но шла воодушевленная этим открытием.

С помощью домработницы поставила станки и начала разглядывать голову. Вскоре я заметила, что в столовой стоит и тоже смотрит на портрет Борис Леонидович.

— Идите скорей, у меня рабочее настроение.

— Рабочее? Погодите, погодите. Ну что вам даст последний сеанс наспех? Еще напортите. Летом продолжите.

Но я настаиваю. Долго работаю молча.

То, что я представила отвлеченно, я вижу в его лице, и работа идет на подъеме. Наконец, я говорю:

— Не злитесь, пожалуйста, что вам не удалось отделаться от этого сеанса. Но он принесет пользу.

— Ну чего уж. Я же сижу.

— Сидите в настроении, а то отразится на работе.

— Дело в том, что вчера я начал переводить «Марию Стюарт», а когда я работаю, вступает в силу строжайший режим, и никаких отступлений от него не делается. Да что вам говорить, вы ведь точно такой человек. Вы достойны всякого исключения, но у меня такое чувство — уступил сегодня, уступлю и завтра.

— Совсем необязательно. Вам и начинать надо было не вчера, а с понедельника. А как вы справляетесь с польским?

— Язык все же славянский. Есть большой хороший словарь и есть подстрочник. Чтобы имело смысл этим заниматься, нужно делать 50 строк в день. Вчера я эту норму выдержал...

У вас от последних двух сеансов должно сложиться неприятное впечатление, но я надеюсь, что оно сгладится, и у вас останутся хорошие воспоминания о наших непринужденных, дружеских, откровенных встречах и разговорах.

— Конечно, Борис Леонидович. И вся эта работа здесь была для меня той школой искусства, которую я не прошла раньше. Все, что я здесь почерпнула, мне такое нужное и близкое.

— Близкое? Правда? Я очень этому рад. Я рад, что с вами познакомился. У вас есть характер, а это редкий дар. И то, что я сейчас скажу, рикошетом будет похвалой вам, но оно имеет силу общего правила. Если человек обладает волей, страстью к своему делу при такой вот одаренности, он непременно достигает вершин. Верьте в себя.

— Вера в себя приходит с достижениями. Но здесь я обрела веру в свое право заниматься искусством. И необязательно скульптурой. Я вовсе не считаю скульптуру высшим видом искусства и отнюдь не убеждена, что всю жизнь буду ею заниматься.

— А что вас еще влечет? Живопись?

— Живопись для меня бесконечно притягательна, но



я себе представляю, что в конце концов все, что я делаю, это только подготовка к тому, чтобы писать.

— О, это замечательно. Это будет очень хорошо. А я тоже не считаю поэзию чем-то стоящим выше всего остального. И еще я вам скажу на прощанье: доверяйте жизни, любите ее, погружайтесь в нее с головой — ибо она источник всего, и она родник, питающий творчество.

И этот страстный гимн жизни был прерван приходом каких-то двух дам. Он вышел к ним и быстро с ними расправился. Вернувшись, он посмотрел на портрет.

— Знаете, у меня была на губах совершенно готовая фраза, что зря вы надумали что-то менять, что эти идеи, приходящие в последний момент, до добра не доводят, и зря вы заставляли меня прищуривать глаза, но нет, вы внесли какие-то очень удачные изменения, стало лучше.

Я рассказала, что додумалась о недостатках портрета ночью и что в этом свою роль сыграл разговор с Зинаидой Николаевной.

— Вообще этой ночью мне лезли в голову странные мысли. Сложите вот так руки.

— Сложил.

— Смотрите. Тут вся готика.

— А, это очень хорошо. Тут и жест и архитектура.

— Потом я стала дальше думать в этом направлении, и теперь все архитектурные стили для меня связаны с руками. Представьте себе прямоугольный стол, за которым сидят люди, и стол обходят рабыни, неся на вытянутых вверх руках блюда. Похоже на греческую архитектуру?

— Похоже. Но это не так хорошо, как с готикой. Не надо переносить такие находки. То есть этим можно пользоваться как методом, но не придавайте ему значения конечного вывода.

Тут появляется почтальон, и он к нему выходит. Возвращается Борис Леонидович таким радостным, каким я его ни разу не видала.

— Все чудесно! — восклицает он.

— Что — все?

— Все! И жизнь, и как с романом вышло, и голова хорошая!

— Ну вот, а вы с утра ворчали.

Он махнул рукой.

Потом я говорю:

— Это очень хорошо, что мы надумали продолжать работу. Иначе у меня было бы чувство не победы, а поражения.

— Как вам не стыдно! Взрослый, серьезный человек — и вдруг такое ляпнуть! — с гневом говорит он.

— Нет, я не хочу сказать, что это абсолютная неудача. Но все дело в степени соответствия между тем, что хочешь, и тем, что сделано.

Его еще раз отрывают от позирования. Вернувшись, он говорит:

— А я вам полтора часа хорошо сидел, это последние полчаса мешали. Вы со мной делаете, что хотите, но в этом позвольте мне проявить твердость: позже двух часов я вам сидеть не буду, в полтретьего ко мне придут, а мне еще пробежаться надо, и работать одной вам сегодня не нужно. Надвигаются важные для меня события, может быть, радостные, и все это должно разрешиться на этой неделе. Мы с вами расстанемся на том, что я запишу ваш телефон. Мне захочется вас видеть, я вам позвоню...

А будущим летом мы обязательно продолжим, если я жив-здоров буду. Я хочу, чтобы вы так же твердо в это верили, как я верю.

— Спасибо, но я не хочу вас связывать словом. Может быть, вы будущим летом писать будете и вам будет не до меня.

— Может быть. Но вы убедитесь, что я не жулик какой-нибудь.

И опять его кто-то отрывает. Но уже два часа, и на этом работа кончается.

— Давайте, я запишу ваш телефон и адрес,— говорит Борис Леонидович.— Я нарочно до сих пор не просил ваш телефон, чтобы не было соблазна переносить сеансы.

Я диктую.

— Вы меня избаловали, теперь мне будет недоставать вас,— говорю я.

— Ничего, потерпите,— очень мягко и ласково говорит он.

Затем происходит перестановка станков на зиму, вместе с Зинаидой Николаевной обсуждаем, как лучше сохранить портрет. Наконец, он подходит ко мне попрощаться.

— Огромное вам за все спасибо, Борис Леонидович!

— Огромное вам спасибо. Я скоро позвоню.

Я завязываю голову, снимаю со щитка фотографии, убираю пластилин и стеки. В окно вижу, как Борис Леонидович выходит в сад к пришедшему к нему человеку.

Я захожу проститься с Зинаидой Николаевной и с грустью уйду из ставшего мне таким дорогим дома.

*31 октября*

Последний сеанс состоялся 19 октября. Через два дня я позвонила фотокорреспонденту ТАСС, снимавшему Бориса Леонидовича, с тем, чтобы он отдал две вовремя не сделанные им фотографии, и от него узнала новость.

На каком-то приеме к нему подошел корреспондент «Пари-Матч» и спросил, не знает ли он, как добраться до Пастернака. Оказалось, что Борис Леонидович выставлен кандидатом на Нобелевскую премию. Второй кандидат — Шолохов, но премию, по-видимому, получит Борис Леонидович.

В пятницу 24 октября я позвонила в «Литературную газету» и узнала, что премия присуждена Пастернаку<sup>52</sup>.

В тот же день вечером я послала ему телеграмму:

«Страшно рада за вас. У ваших друзей большой праздник. Жму руки».

Утром 25-го открылся неслыханный поход против Пастернака. В «Литературке» на двух с лишним полосах и в других газетах обвиняли его в предательстве, называли Иудой, отщепенцем, сорняком, лягушкой в болоте и поносили Бог знает как.

Я же считаю, что все ошибки и заблуждения, содержащиеся в книге, перекрываются ее значением как акта честности и мужественности. Он единственный из писателей, кто посмел в наше время сказать все, что думает, и заставить оглядеться вокруг себя. Никакого предательства в этом нет, и нечего и говорить о том, что никаких умыслов повредить нашему государству у Бориса Леонидовича не было.

В воскресенье 26-го, в десятом часу вечера, когда меня не было дома, звонил телефон. Подошла мама.

— Говорит тот, кого Зоя Афанасьевна лепила в Переделкине. Благодарю за телеграмму.

Кампания против Пастернака бушевала<sup>53</sup>, и я решила пойти к нему.

В пятницу, 31 октября, я снова подходила к этому дому...

На кухне была работница.

— Дома? — спросила я ее.

— Дома, — ответила она и продолжала готовить обед.

— Меня не ждут сегодня. Передайте, пожалуйста, что я пришла.

Она ушла в глубь дома, а я вошла в столовую. Почти сейчас же в дверях появился Борис Леонидович. Он взглянул мне в глаза, быстро пошел навстречу, протягивая руки, и вдруг обнял и крепко поцеловал.

— Я знал, что увижу вас в эти дни. Я вам звонил.

— Мне передали. Я не могла не прийти.

— Пойдемте наверх, поговорим?

Подымаясь по лестнице, он говорил:

— У меня разболелись левая рука и плечо. На плече у меня жировик, и он как бы стягивает болевые ощущения

к себе. По поручению Литфонда при мне третий день безотлучно находится врач, тут в доме и живет.

И вот я во второй раз в его комнате. Мы сидим по обе стороны письменного стола. На столе в большом порядке лежит все, что нужно для перевода, — папка с дешевой бумагой (пишет он карандашом), отпечатанный на машинке подстрочник, словари.

В углу стола зеркало, лекарственные таблетки, часы. Круглая стеклянная чернильница.

Борис Леонидович в неизменной серой куртке и голубой рубашке без галстука, как всегда, хорошо выбрит.

Мы говорим о последних событиях. Я рассказываю о возмущении, которое у меня вызвали оскорбительно грубые газетные статьи.

— И что значит в их устах Иуда? — пожимает он плечами.

Борис Леонидович рассказывает, как к нему явились из Союза писателей (называет фамилии, в том числе Федина) и стали уговаривать его отказаться от Нобелевской премии.

— Они угрожали, что завтра же газеты откроют против меня неслыханный поход. «Ну что ж, открывайте, что я могу поделаться», — сказал я им. Говорят, Би-би-си передавала, будто я выгнал Федина. Вы представляете, сколько я выслушал за эти дни советов и уговоров. И вот позавчера утром я был по делам в городе. Тайком от всех, от брата, от жены, я пошел на телеграф и отправил в Шведскую Академию телеграмму о том, что в связи с тем, как было встречено присуждение мне Нобелевской премии в том обществе, к которому я принадлежу, я считаю необходимым отказаться от нее и прошу не принять это как обиду.

— Так, значит, вы все-таки отказались от премии...

— Да. Есть предположение, что меня хотят выслать из России.

— Что вы говорите! Только не это. Это было бы ужасно.

— Я сейчас же написал письмо, что я этого не хочу, что это вовсе не моя мечта.

— Сегодня общее собрание Московского отделения Союза писателей<sup>54</sup>. Вы знаете об этом?

— Нет.

— Вероятно, оно связано с этими событиями?

— Да, очень может быть.

Я ему рассказываю о разных слухах, ходящих по Москве, о реакции на эти события.

— Вы меня давно покорили умом, мужеством, талантом — да я вам об этом надпись сделал. У меня есть несколько близких мне людей — известный музыкант, актеры, те самые, что нас хвалили, Асмус<sup>55</sup>, вы по нему, наверно, логику изучали. Для них их советские, патриотические взгляды — это те костыли, без которых ни они сами, ни их мебель стоять не будут, рухнут. У вас могут быть какие угодно партийные, марксистские убеждения, но вы человек без костылей, а это большая редкость.

Нет, я не хочу сказать, что вы единственная. Тут в поселке живут двое литераторов — муж и жена\*, я не хочу их называть в этих обстоятельствах, но это не первое испытание, через которое они проходят с честью. И есть у меня еще друг<sup>56</sup>, я ее не называю, чтобы не огорчать жены, но это и все.

Глядя в глаза с какою-то особой добротой, он спросил:

— Ну, как вы? Как вы живете?

Я улыбнулась, кажется, грустно.

— Когда вы были здесь прошлый раз, я хотел дать вам денег.

— Зачем?

— Ну просто так. Вам нелегко.

— Ну что вы выдумываете! — воскликнула я.

— Да что об этом говорить, теперь это невозможно.

— Выбросьте это из головы, — твердо сказала я.

А между нами все по-старому, как мы договорились?

\* Наверное, В. В. Иванов и Т. В. Иванова.

Он кивнул головой.

— Да. Меня растрогала ваша телеграмма.

— Спасибо. Вы, наверно, множество их получили?

— Да. Телеграмм было много, особенно из-за границы. Потом все сразу перестало поступать, и два дня ничего не было. Теперь снова приходят письма и телеграммы.

Он вынул из кармана несколько телеграмм и протянул мне одну из них.

— Вы ведь «англичанка», прочитайте.

Я прочла: «You have always been a high inspiration in our lives»\*.

Он дал мне другую: «A lonely heart commiserates»\*\*.

— Еще была такая телеграмма. Вы помните стихотворение «Земля»? Обычные встречи друзей, пирушки — как бы тайные вечера:

Для этого весною ранней  
Со мною сходятся друзья.  
Зачем же плачет даль в тумане  
И горько пахнет перегной?  
На то ведь и мое призывье,  
Чтоб не скучали расстоянья,  
Чтобы за городской гранью  
Земле не тосковать одной.

Так вот, эта строчка «Чтоб не скучали расстоянья» — была в этой телеграмме латинскими буквами, по-русски.

Когда он это говорит и читает стихи, по щекам его скатываются слезы. Он совсем не строит из себя героя, он откровенно страдает, кладет временами голову на стол, смахивает, не отворачиваясь, пальцами слезы. Но как он мужественно, человечески прекрасен, как одухотворено страданием его лицо!

— Я уже решил, что, если придется уехать, я ничего с собой брать не буду, поеду налегке...

— Нет, до этого не должно дойти!

---

\* «You have always been a high inspiration in our lives» (англ.) — «Вы всегда были высоким вдохновением в нашей жизни».

\*\* «A lonely heart commiserates» (англ.) — «Одинокое сердце сострадает».

Он открывает секретер. В одном из отделений большая пачка телеграмм. Он достает внушительный сверток, обернутый в газету и перевязанный, и показывает его мне.

— Это я приготовил на случай обыска, чтобы не искали. Здесь вся моя переписка, связанная с романом.

— Какая заботливость, — улыбаюсь я, а на душе скребут кошки.

— Здесь в поселке все моментально становится известным, каждый шаг. Когда я сказал, что хочу посоветоваться с друзьями, мне ответили, что знают, кто мои друзья. Мне настойчиво рекомендовали написать письмо Хрущеву. Это очень распространено, навряд ли в поселке есть писатель, который не состоял бы в переписке с Хрущевым или с Фурцевой. Но что я мог бы написать? И это мне как-то не подходит, не того я склада человек.

— Было бы нелепо, если бы я стала вам что-то советовать. Одно мне хочется вам сказать — не падайте духом. «Дурные дни» (так называется одно его стихотворение) минут.

По всему было видно, что он понял, какой смысл я вложила в эти слова.

— Нет, я не падаю духом.

— У вас много друзей и тут и во всем мире... А как договор — не аннулировали?

— Пока нет. Время от времени я сажусь работать, просто чтобы не оставаться без дела. Доктор недоволен.

В окно он видит, что кто-то к нему идет, но продолжает разговор.

Он записывает мне телефон Рихтера и Дорлиак, просит объяснить им, что хотел с ними поговорить, но я его удержала, а потом было не до того, и передает им привет.

— Я вам дам еще один телефон, — говорит он и пишет мне номер Ивинской.



— Я хочу, чтобы вы знали, Борис Леонидович, если вам в чем-нибудь понадобится моя помощь, хотя я сейчас не могу представить в чем, то нет ничего, что бы меня остановило.

— Будут идти годы. Романтизм будет от вас отходить, как шелуха. Будет оставаться ваше обыденное, будничное «я» — и оно-то и есть прекрасное, потому что ваша сущность прекрасна. И еще запомните, что я вам сейчас скажу. Это совсем не ново, об этом каждый день в газетах пишут, но важно, через какую призму это преломляется. Надо погружаться в жизнь, жить страстно и полнокровно, окунаться в нее с головой. И верьте в работу, она — главное в жизни. И верьте в себя.

Это звучит как завещание, и я потрясена тем, что в такое время он способен думать о других.

Мы спускаемся по лестнице.

— Мне не нравится, как вы выглядите.

— Больным?

— Усталым. Может быть, доктор прав, и вам не надо работать.

— Не знаю, прав ли. У вас хорошая шуба. А вы без галош?

Он долго целует руку.

— Спасибо вам, Борис Леонидович. И если вам что-нибудь понадобится, подумайте обо мне.

В этот же день я узнала, что Борис Леонидович сказал: если его выплют, он сделает, как Марина Цветаева.

А на следующий день было опубликовано решение состоявшегося 31 октября собрания МОССП обратиться к правительству с просьбой лишить Пастернака советского гражданства и выслать его из страны<sup>57</sup>. Вечером в субботу по радио передали письмо Бориса Леонидовича Хрущеву тоже от 31 октября и сообщение ТАСС по этому поводу<sup>58</sup>.

6 ноября было напечатано письмо Пастернака в редакцию «Правды».

Самое страшное миновало.

# 1959 год

---

1 января

За последние два месяца я дважды заходила туда. Первый раз я шла только для того, чтобы дать понять Борису Леонидовичу, что мое к нему отношение после всех событий не изменилось. Поэтому я ограничилась тем, что осведомилась о его здоровье у домработницы и попросила передать привет.

Потом мне стало казаться, что он может воспринять это как нежелание с ним видеться из трусости при соблюдении внешних приличий. Через две недели я зашла снова и на этот раз спросила, дома ли он. Домработница ответила, что его нет. Уходя, я попросила передать о моем желании повидаться с Борисом Леонидовичем.

Прошел еще месяц.

И вот после встречи Нового года около часу дня я подходила к его дому. В руках у меня был маленький пакет с парижским изданием «Colas Breugnon»\*; вместе с книгой было завернуто письмецо с несколькими словами новогоднего привета.

Мне вдруг захотелось положить книгу на перила крыльца и уйти — я боялась, что мой приход покажется назойливым. Но тут в окне кухни промелькнула какая-то

---

\* «Colas Breugnon» (фр.) — «Кола Брюньон».

фигура, и я даже не успела постучать, как дверь распахнулась и я услышала громкий глухой голос:

— Здравствуйте, Зоя Афанасьевна! Входите!

В дверях стоял, протягивая руки, Борис Леонидович.

— О, Борис Леонидович! Я не хотела врываться к вам незванно. Я на минуту.

— Входите скорей, а то холодно. Можно мне вас поцеловать?

Идя с ним в столовую, я спросила:

— Ну как вы живете?

— Как я живу? Хотите чаю?

— Нет, спасибо. Я зашла к вам только поздравить вас с Новым годом. Ну как вы? Вы пишете?

— Сейчас нет.

— А перевод кончили?

— Да, уже сдал.

— Он будет напечатан?

— Пока неизвестно.

— Как вы теперь писать будете, я все думаю.

— А так же, как писал, изнутри, от сердца.

Он рассказывал о себе, говорил, что его гнетет неопределенность положения.

— Лучше бы самое страшное, но поскорей. А то после моих писем ничего не известно. Известно только, что меня исключили из Союза.

— А как ваши материальные дела?

— Мне ничего не платят.

Спросила, не было ли неприятностей у Лени.

— Не было. Может быть, он от меня скрывает, но нет, ничего такого, что выплыло бы наружу, не было. А вот Иванова из-за меня сняли с работы. Он доктор наук, преподает в университете. Но он хлопочет, чтобы его восстановили<sup>59</sup>.

— Как ваше здоровье, Борис Леонидович?

— Спасибо, я хорошо себя чувствую. Рука прошла.

— Выглядите вы не очень хорошо.

— Это потому, что лег спать в четыре часа после встречи Нового года. Мы были у соседей. Только что позавтракали, поэтому я в пижаме, извините меня. Но чувствую я себя хорошо.

Я ему рассказала о том, как встречала Новый год, и о версии истории с Мандельштамом, услышанной от Стальского (Стальский — критик, редактор, член ССП). Сказала, что ответила Стальскому рассказом об истинном ходе событий.

Бориса Леонидовича, видимо, огорчило, что против него пускают в ход перевернутую эту старую историю.

Он стал расспрашивать, как я живу.

— Когда вы шли вдоль забора, я не то чтобы вас узнал, но подумал, что это можете быть вы... Да, а что это за книга?

— «Colas Breugnot» по-французски.

— Ну да? Что вы говорите! Спасибо! Я ведь вам рассказывал о своих отношениях с Ролланом?

— Да. И я запомнила, что вы этой книги не читали.

— Спасибо. Я почитаю. Вчера мне принесли в подарок несколько французских книг, в том числе Клоделя, но я вернул. А это я оставляю. Вообще-то я мало читаю, Пруста так и не кончил.

Вскоре я прощаюсь.

На какую-то фразу он отвечает:

— И вообще вы можете заходить. Вы молодец. Я хотел бы быть таким, как вы.

Я с ужасом восклицаю:

— Что вы, Борис Леонидович! Я мечтаю о том, чтобы хоть чуточку быть похожей на вас!

— Нет, вы борец. Большое вам спасибо. И за подарок, и за приход спасибо!

2 января

Вечером в десятом часу зазвонил телефон.

— Можно Зою Афанасьевну?

— Я слушаю.

— Говорит ... (не разобрала)

— Кто говорит?

— Пастернак.

— О, Борис Леонидович! Здравствуйте!

— Я прочел ваше письмо и уже звонил вам днем.

Вы — прелесть. Я очень ценю ваше отношение, оно мне дорого и нужно. Спасибо и целую вас еще раз.

— Я так рада! Борис Леонидович, можно мне к вам заглядывать?

Мне хотелось услышать подтверждение вчерашнего приглашения.

— Да, конечно. Но вы ведь знаете, какой я человек. Вот вы вчера пришли, мы обменялись несколькими фразами, и у меня было ощущение начала праздника. Но после вас приехал мой старший сын с женой, а я им сказал — идите, гуляйте и через два часа приходите к обеду. Дело сейчас решает не отношение людей, а организации и учреждения.

— Но они, вероятно, ждут от вас каких-то шагов?

— Да, но это должно быть чем-то глубоко внутренним. Я этого делать не буду.

— Тогда, по-видимому, какое-то время все останется как есть, и к этому надо приспособить жизнь.

— Да. Но это трудно.

Мы еще немного поговорили, и я повесила трубку с решением выждать до дня его рождения, 11 февраля\*.

---

\* На деле день рождения Пастернака 10 февраля. Я ошиблась при пересчете со старого стиля (29 января).

11 февраля

Это день рождения Пастернака. Странно думать, что ему 69 лет.

Дверь мне открыл незнакомый седой человек. Это был его брат.

— Дома Борис Леонидович?

— Сейчас узнаю, он, кажется, куда-то выходил. Как сказать?

Оставив меня на крыльце, он ушел в дом. Мне ужасно хотелось удрать. Но тут дверь отворилась, и с громкими возгласами Борис Леонидович ввел меня в дом.

— Это вы принесли? Что это?

— Пластинки. Ведь у вас сегодня день рождения.

— Да. Спасибо, Зо-оя Афанасьевна! А какие пластинки?

— Клайберн, Рахманинов в исполнении Рахманинова, Скрябин — 3-я симфония...

— Да? Правда?

— «Поэма Экстаза». Этих, что я назвала, у вас нет?

— Нет.

Он благодарит.

— Это второй за сегодняшний день подарок. Первый был почти такой же приятный, как ваш.

Он помогает мне раздеться и ведет в свою комнату. Он усаживает меня, а сам рассказывает по комнате, продолжая рассказ о том, как сегодня ездил в город на почту в Останкино за давным-давно отправленной из Германии по неправильному адресу посылкой.

— Представьте, пишет какая-то женщина из Марбурга. Она владелица бензоколонки, и она прочитала в газетах, что я в этом городе учился и что никто его так хорошо не описывал, как я. Она сама, когда я там жил, была маленькой девочкой. В посылке оказались страшные пустяки.

Он достает с полки три связанных вместе крохотных керамических кувшинчика и протягивает мне две большие

превосходные фотографии с видами Марбурга. Я смотрю на маленький аккуратный средневековый городок, утопающий в садах и лесах, и спрашиваю:

— Такие бывают? И там живут современные люди?

— Да. И там ничего не изменилось с тех пор. Эта посылка и письмо так меня растрогали, что я тут же, обливаясь слезами, сел писать ответ.

На столе лежит большой линованный блокнот, часть страницы исписана лиловыми чернилами, в правом углу стола немецкий толковый и русско-немецкий словари. В левом углу зеркало, карманные часы, знакомая уже круглая чернильница и блестящая металлическая коробка, полная остро очиненных карандашей.

Я в третий раз здесь, но только сейчас отчетливо воспринимаю второе огромное окно, выходящее в сосновый лес, кажущийся непроходимым бором, а на самом деле представляющий собой небольшую, но очень густую и старую рощу. Лес, сад и поле с речкой вдаль и кладбище за ней благодаря низко начинающимся окнам, второму этажу и положению дома на пригорке как бы составляют неотъемлемую часть комнаты и постоянно в ней присутствуют.

На боковой стене книжного шкафа, у входа висит темная полосатая пижама и белая панاما, в которой я раз мельком видела его летом.

— Расскажите мне о себе, — прошу я.

Он перестает ходить и садится против меня.

— Ничего не изменилось, ничего не стало яснее. Деньги мне по-прежнему не платят. Я переводил Словацкого, вы знаете.

— Заплатили за перевод?

— Нет.

— Но ведь у вас договор.

— Они не отказывают, но и не платят. У Зинаиды Николаевны есть сбережения, мы их уже тронули. До меня дошли слухи, что за издания за границей накопи-

лось много денег, около миллиона. Я распорядился на 100 000 долларов сделать подарки тем, кто переводил, кто как-то принимал во мне участие, но потом выяснилось, что слухи сильно преувеличены и что я раздал уже около половины. Ну, Бог с ним!

Получаю по-прежнему много писем, пишут самые разные люди. Только из Франции ничего нет... Из Бельгии мне без конца, чуть ли не по два письма в день пишет один старик, ужасный болтун, пишет обо всем на свете. К тому же он пишет, правда, лиловыми, но ужасно бледными чернилами. Я в вежливой форме попросил его перестать писать — у вас, мол, такой «молодой» почерк, что мне трудно читать, но пока мое письмо дойдет, письма будут идти и идти.

— Значит, переписка по-прежнему составляет ваше основное занятие?

— Да.

— Вы с ней никогда не разделяетесь.

— А может быть, и разделяюсь, — сердито говорит он.

— А писать вы будете?

— Да. Стихи во всяком случае.

— А прозу? Борис Леонидович?

— Умница. Я как раз об этом думаю. Все — ах, ах, стихи, — а вы о главном. Стихи все-таки отписка.

— Значит, будете? Что-нибудь уже решено?

— Нет, нет, пока это далеко. Но буду. Как вы живете?

— Это потом, подождите.

— Почему потом? Мне интересно.

— Подождите. Правда ли, что Голливуд ставит фильм по роману?

— Да. Он скоро выйдет или уже вышел.

— Это ужасно. Я не говорю о политической стороне этого дела, но они ведь просто изуродуют роман. Я понимаю, что не мне вам советовать, но я бы на вашем месте воспользовалась авторским правом и запретила бы это.

— Я узнал об этом слишком поздно, да и то неофици-



ально. Я ведь ничего толком не знаю. Доходят какие-то слухи, вот вы мне прошлый раз сказали о комитете, но разве можно на этом основании действовать?

— Нет, конечно. Кстати, я стала выяснять, но ничего не удалось: такой-то слышал от таких-то, а те от того-то, и дальше следы затерялись. Но вам надо было бы вступить в неофициальные сношения через третье лицо с ЦК или Союзом писателей, чтобы быть в курсе дел и предпринимать нужные шаги вовремя.

— Да. Какая-то темная личность, испанец, основал даже фонд моего имени для помощи нуждающимся студентам, и я, оказывается, должен был добыть средства для фонда чтением лекций по всей Европе, и он будто бы получил согласие на это нашего правительства, и все это попало в газеты. Я написал очень резкое письмо и решительно отказался иметь с ним что-либо общее. Но я поручу защищать мои интересы моей приятельнице во Франции мадам Пруайар.

— Вы думаете, она может быть в курсе всего?

— Да, конечно. Ну а теперь расскажите о себе.

— Да это неинтересно. Правда ли, что создана экспертиза по Нобелевской премии?

— Экспертиза? О чем? Я ничего не знаю.

— Я тоже. Очевидно, о том, что делать с премией.

— Ну, премия просто вернется в фонд. Нет, я ничего не слышал.

И он в третий раз потребовал повелительно и капризно:

— Рассказывайте, как вы живете. Я хочу знать.

Я коротко объясняю, он настойчиво спрашивает.

— Да, знаете, что я леплю? Маленькую голову

Лары.

— Лары? Что вы говорите? Это очень интересно...

У вас июльские дополнения к «Когда разгуляется» есть?

— Нет, вы все только обещали.

— Ничего, ничего, они будут у вас.

Он выдвигает верхний ящик стола слева, там несколько тоненьких пачек листов, сложенных тетрадками. Он берет верхнюю, открывает, пробегает глазами и кладет обратно.

— Нет, я вам этого сейчас не дам.

— Вон сколько их у вас, а вам жалко.

— Это еще попадет к вам, не минует.

В это время в окно он видит почталыоншу и выходит к ней. Вернувшись с пачкой писем, опять садится напротив.

Я ему говорю, что хозяйка нашей переделкинской дачи рассказала мне о сумасшедшей девушке Лялечке, жившей у нее до нас. Она делала куколки для заработка и писала стихи. Она показывала их Борису Леонидовичу, и он ее жалел, помогал ей, ободрял, а она считала его Иисусом Христом и ангелом. Однажды он даже навестил ее в той самой комнате, где мы живем полгода. Когда случилась история с премией, ей стало плохо, и она снова попала в психиатрическую лечебницу.

Борис Леонидович не без труда сообразил, о ком идет речь.

— Да вы ее видели. Помните, как-то летом ко мне при вас приходили две девушки. А как ко мне относятся в поселке?

— Да, раз уж хозяйка заговорила о вас, я воспользовалась случаем и стала об этом расспрашивать. С большой симпатией и сочувствием.

— Правда? Спасибо! Спасибо!

Помолчав, он тихо и медленно, опустив голову, говорит:

— На днях я ходил гулять и вернулся в страшно тяжелом настроении. Нет, ничего не произошло, ничего не случилось, но мне показалось, что вокруг меня непроходимый дремучий лес и выхода мне из него нет.

— Борис Леонидович, вы ждете освобождения, избавления извне, а оно может прийти только от вас.

— Но что я могу сделать? Написать еще что-нибудь в том роде, что написал в письме?

— Нет, нет. Но надо найти что-то, что было бы одинаково близко и вам и всем людям.

— Я пытался. Я написал о мире<sup>60</sup> — это у вас есть?

— Нет, но мне читали.

— Не печатают, что я могу поделаться?

Он опять достает тетрадку из ящика.

— Я не хотел вам давать вот почему.

Он рассказывает о глубоко личном событии.

— Это нашло отражение в стихах. Но с таким концом нельзя было читать, я написал другой, хуже. А вам я сейчас напишу настоящий конец.

Он зачеркивает последнее четверостишие в одном из стихотворений и вписывает два других.

#### Нобелевская премия

Я пропал, как зверь в загоне.  
Где-то люди, воля, свет,  
А за мною шум погони,  
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,  
Ели сваленной бревно.  
Путь отрезан отовсюду.  
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,  
Я убийца и злодей?  
Я весь мир заставил плакать  
Над красой земли моей.

~~Но и так, почти у гроба  
Верю я, придет пора —  
Силу подлости и злобы  
Одолееет дух добра.~~

Все тесней кольцо облавы,  
И другому я виной:  
Нет руки со мною правой,  
Друга сердца нет со мной.

А с такой петлей у горла  
Я б хотел еще пока,  
Чтобы слезы мне утерла  
Правая моя рука\*.

Потом что-то надписывает на листе, в который вложены стихи, и кладет тетрадку перед моими глазами, чтобы я прочитала. Он написал:

«Дорогой моей, чудной и неисправимой Зое Афанасьевне, которой я доставлял одни неприятности, будучи восхищен близостью ее души, добротой и талантом».

— Между прочим, — сказала я ему, — я как-то читала свои стихи, и мне предложили их напечатать. Я отказалась.

— Что вы говорите? Это замечательно! Обязательно напечатайте.

— А зачем?

— То есть как зачем? Это нужно.

— Вы так считаете? А мне показалось это нелепостью.

По-моему, это чепуха.

— Нет, нет, почему же чепуха. Ведь печатают же стихи Вознесенского, а у него тоже есть какая-то тошность, которая может быть у вас.

— Мне трижды предлагал Стальский, он критик и что-то значит в каких-то журналах, но я ничего не дала.

— Дайте, но не возлагайте больших надежд, могут и не напечатать — это и со мной не раз бывало. А то будет неприятное переживание.

Мы говорим о моей новой скульптурной работе, и он спрашивает:

— А вы мне Лару покажете?

— Если что-нибудь выйдет.

— Непременно покажите.

— Вы знаете «Мысль» Родена? — спрашивает он. —

Мне недавно прислали фотографию. Это типичная фран-

---

\* Четвертую строфу он зачеркнул, пятую и шестую вписал.

цуженка, они бывают двух типов: северного и южного, она северянка. Вам нравится эта работа?

— Да. Но это скорее раздумье, чем мысль.

— Нет.

Он достает с полки отличную фотографию.

— Нет, у нее этот рассредоточенный взгляд, это мысль.

Что вы о ней думаете?

Во время разговора он увидел в окно, что к нему кто-то идет.

— Я вас с Асмусом не знакомил?

— Нет.

— Я его сейчас сюда приведу. Посидите тут.

Он возвращается с Асмусом.

Это корректный профессор лет шестидесяти с умным, несколько безжизненным лицом. Он в черном костюме и даже в черном галстуке.

Борис Леонидович нас знакомит. Он рассказывает Асмусу о посылке из Германии, показывает фотографию и горшочки. Асмус говорит тихо, не зная, что я глуховата; я улавливаю лишь, что речь идет о перипетиях издания его книги. Борис Леонидович говорит о переписке, о том, что получает много откликов, даже из Южной Африки, где, кажется, вышел роман, о продолжающихся его изданиях, о притоке писем и телеграмм в связи с днем рождения, который ему совсем не нужен, но который начали отмечать уже давно.

Разговаривая, он обращается то к Асмусу, то ко мне, и в зависимости от этого его лицо заметно меняется — с Асмусом оно любезно-серьезное, со мной освещается теплой улыбкой. Я даже там, сидя у него, понимаю, что это вовсе не потому, чтобы он ценил меня больше, а из-за не раз проскальзывавшего в стихах различного отношения к мужчинам и женщинам вообще («Он среди женщин находчив, среди мужчин — нелюдим», «досточтимые письма мужские» и «драгоценные женские письма»).

Борис Леонидович достает с полки свою биографию

в яркой суперобложке. Мне он дает ее с некоторой неохотой.

— Там много ерунды написано.

— Я не буду читать, только фотографии посмотрю.

Книга богато иллюстрирована. Она только что, уже после истории с премией, вышла в Западной Германии.

— По-моему, в биографии должно попадать одно хорошее, — говорит Борис Леонидович.

... — Ну, так, значит, ваши планы в скульптурной работе... — вовлекает меня в разговор Борис Леонидович.

Я объясняю снова то, что он уже знает.

— Я перед вами виноват, а может быть, и не очень. Вы знаете, Зинаида Николаевна по воскресеньям готовит на целую роту и не изменила этой привычке. Не еда готовится для гостей, а гости приглашаются на еду. Так было и в прошлое воскресенье. Правда, виноват Ливанов. Он куда-то уезжал, но сказал, что восьмого придет и мы отпразднуем мой день рождения. И вдруг сообщил, что не может. Я разозлился: это не в первый раз он себе такое свинство позволяет. Пришлось, чтоб вся эта еда не пропала, пригласить хоть кого-нибудь. Послали за Рихтером. Он тут играл. Я имел в виду поговорить с ним о вас, но в разгаре обеда ко мне пришел представитель из... (он называет какую-то организацию по буквам, я не уловила). Я отказывался принять, говорил, что у меня гости, но он так настаивал, что пришлось уступить, и он остался. Представляете, какая была обстановка?.. Но я могу это исправить.

— Ну, специально не стоит.

— Почему же, я поговорю с ним.

— Спасибо.

Асмус спрашивает что-то Пастернака о его делах. Он отвечает, и, как несколько раз бывало прежде: я слышу все слова и все их понимаю, но не улавливаю смысла. Потом из тумана начинают проявляться очертания мысли, скорее, состояния Бориса Леонидовича. И вдруг стано-

вится понятным, как тяжело подействовала на него эта история с премией и что он чувствует себя в тупике и не видит выхода, но мучительно его ищет.

Мне страстно хочется ему помочь, и, когда он замолкает, я говорю:

— Я слушала вас и думала вот о чем. То, что я вам скажу, может быть, будет вам тяжело услышать (Асмус резко поворачивается на стуле ко мне). Но вы ведь знаете, как я к вам отношусь. Из темного леса, который вокруг вас, можете выйти только вы сами. К жизни нужно относиться критически...

— А как еще можно к ней относиться? — улыбаясь моей наивности, вставляет Борис Леонидович.

— Но все зависит от цели этой критики. Ведь идет непрерывная борьба, какие-то люди, какие-то силы действуют, борются со злом, чтобы жизнь была лучше, и мало-помалу она становится все же лучше, несмотря на все отступления, ошибки и провалы. Нужна была революция или нет, но она произошла. Нельзя идти против истории, жизнь пошла этим путем. Ваша ошибка в том, что вы направляете на жизнь вашу критику с позиций прошлого, а чтобы ей помочь, надо это делать с позиций будущего. И вы же ведь русский писатель. Ну что вам до откликов за рубежом? Помогите нашим, русским силам в их борьбе за более справедливую и свободную жизнь.

Он слушал меня, подавшись на стуле и низко опустив белую голову. Лишь когда я говорила о взгляде на настоящее с точки зрения безвозвратного прошлого, он вставил: «Это каждый может сказать».

Когда я кончила, он встал и, расхаживая по комнате, заговорил:

— Как бы мне хотелось быть моложе, быть таким же талантливым, как Шолохов, быть лучше, прямее в быту. Но я все же не могу, не должен идти против того, в чем убежден, что человек становится скуднее и беднее и духовная жизнь мельчает.

— Вы меня не поняли! Вы ни в чем не должны кривить душой. И ни о чем вам не надо жалеть. Надо только понять, что прошлое ушло и жизнь продолжается.

— Я отвечу Зое Афанасьевне,— вдруг вмешивается Асмус.— Говорить о прошлом было единственным способом писать о настоящем. Роман написан о современности.

По лицу Бориса Леонидовича видно, что он с этим согласен.

Но тут появляется Зинаида Николаевна и спрашивает:

— Когда мы будем обедать?

Она выходит. Асмус собирается продолжать, но к дому подъезжает машина. Приехали какие-то гости, и я начинаю прощаться.

По всем мелочам поведения Бориса Леонидовича видно, что он не сердится.

Асмус спускается вслед за нами и скрывается в комнате Зинаиды Николаевны.

В передней Борис Леонидович на минуту оставляет меня и возвращается с новыми посетителями. Обменявшись с ними несколькими фразами и попрощавшись, я выхожу через столовую.

Только я спускаюсь с крыльца, как из дому вылетает Борис Леонидович и кричит:

— Зоя Афанасьевна, до свиданья!

— До свиданья, Борис Леонидович!

— Вы на меня не обиделись?

— Нет. За что?

— Мне показалось, что вы как-то странно на меня посмотрели, когда я сказал, что могу им уделить 10—15 минут.

— Нет,нисколько. Идите к гостям, вы простудитесь. Позвоните мне как-нибудь.

— Огромное вам спасибо за все. Вы чудная. И будьте здоровы и счастливы!



*16 февраля*

Встреча в день рождения растревожила меня. Я не могла отогнать беспокоящие меня мысли и написала письмо. Вот оно:

*14 февраля*

Дорогой Борис Леонидович!

Я жалею о двух вещах: о том, что так долго не могла от Вас уйти и утомила Вас, и о том, что завела под конец и при третьем, может быть, огорчивший Вас разговор и осталась непонятой. Довести мысль до конца я и решилась в письме.

В Вас я особенно люблю дерзновенность и неприкосновенность убеждений. В наше время стойкость нужнее правоты. Для меня было бы личной большой бедой, если бы Вам пришлось сделать что-то по принуждению, хотя это и не изменило бы моего отношения к Вам. Но как возросла бы ценность искренности, если бы она сочеталась с большей правотой. А больше правоты, по-моему, во взгляде на жизнь с точки зрения тех, пока слабых, ростков, которым предстоит разрастаться и плодоносить. Она в уходе за семенами будущего (я отдаю себе отчет в том, что это несколько женский подход). Когда я пыталась объяснить, что считаю Вас неправым в оценке настоящего с позиций прошлого, Вы мне ответили: «Это каждый может сказать». Но Вы ведь сами говорите, что мир полон известных, часто повторяемых, но, увы, неприменяемых истин.

Мне хочется только одного, чтобы Вы были верны себе и своим словам: «Каковы бы ни были прошлые ошибки, надо думать о том, как жить дальше», и чтобы эти слова Вы относили не только к себе, но и к общей судьбе.

Мне представляется самым важным решить вопрос: как, ни в чем не отступаясь от своего лица, Вы можете помочь жить людям, и современникам и соотечест-

венникам в первую очередь (не знаю, заинтересовали ли бы Вас мои мысли по этому поводу).

О, Вы уже так много сделали, что могли бы сказать — оставьте меня в покое. Но в Вас столько сил и свежести, что Вы сами не дадите себе покоя.

И еще мне кажется: хотя для пытливого ума в полете пчелы больше пищи, чем в кругосветном путешествии для дурака, но и для самого умного человека соприкосновение с новыми сторонами жизни обычно ускоряет осмысливание ее коренных явлений.

Наверно мне, серенькой и незаметной, меньше всего в Вашем представлении принадлежит право, не соглашаясь в чем-то с Вами, высказывать свое непрошеное мнение, тем более что оно не блещет оригинальностью и я нечто подобное говорила уже раньше.

Но почему-то мне кажется, что среди людей, находящихся под властью Вашего обаяния, нет таких, кто мог бы, дорожа Вашим мировосприятием, все же оказать Вам противодействие, если в чем-то не согласен с Вами.

Для меня не может быть большего огорчения, чем навлечь Ваше недовольство, и это не красное словцо. Вы не задумывались, вероятно, над своим местом и значением в моей жизни. И все же я должна была высказаться, потому что Вы — бóльшая и лучшая часть моей души, потому что Ваша боль отзывается во мне, и пусть это наивно, но мне страшно хочется как-нибудь облегчить Ваш трудный путь.

Верю, что Вы меня поймете и простите и в том случае, если я ошибаюсь и все это бестактно.

Вам вовсе не надо отвечать. Просто позвоните и скажите, что Вы не сердитесь.

З. М.

Р. S. 16 февраля. Три дня не могла решиться отправить это письмо, так мне страшно огорчить Вас и испортить Ваше отношение ко мне, если Вы найдете, что я просто глупа и дерзка.

Неужели Вы не почувствуете, как мне трудно все это говорить Вам в такое тяжелое для Вас время и как кажется нужным именно теперь? То, о чем я написала, как разногласие с самой собой, и очень хочется увериться в том, что я неправа, и обрести равновесие.

Вы не откажетесь от меня?

К письму я приложила посвященное Борису Леонидовичу стихотворение.

### ДАР

Как трудно разглядеть себя,  
вести с желанием уподобиться  
смертельную междуусобицу,  
жить, идолов не серебря,  
и не бояться обособиться,

месть за отмеченность прощать  
из жалости, из человечности  
не раз, не сто — до бесконечности,  
а боль в изделия превращать,  
сдавая на хранение вечности.

Взглянуть младенчески окрест,  
о замысле всего творения  
составить собственное мнение  
и пронести его как крест —  
и есть, наверно, сущность гения.

*19 февраля*

Вечером раздался телефонный звонок.

— Зоя Афанасьевна?

— Да.

— Говорит Пастернак. Я получил ваше письмо. Очень хорошие стихи.

— Правда? Спасибо! А письмо? Очень глупое письмо, Борис Леонидович?

— И письмо хорошее. Но письмо легко написать,

а стихи трудно. Вчера я получил еще одно письмо, взволновавшее меня. Наше, внутреннее письмо, судя по адресу — какой-то номер — от юноши, отбывающего воинскую повинность. Весь день меня душили невыплаканные слезы. Когда я открывал это письмо, то подумал: наверно, какие-нибудь проклятия, было и такое. Но нет. Письмо человека думающего, хотя и наивное, и каждая строчка дышит такой любовью, что все, что копилось за день, прорвалось слезами. Я тут же сел отвечать и даже объяснил, чем явилось для меня это письмо и почему. Я с Вами заодно и прощаюсь, завтра я уезжаю или, вернее, улетаю.

— Куда? Почему? Борис Леонидович!

— В Тбилиси. Тут предстоит приезд правительственной делегации<sup>61</sup>, может быть, приедут ко мне, и все, особенно жена, настаивают, чтобы я уехал, а мне очень не хочется.

— Но это не так плохо, вы отвлекетесь.

— Нет, тут переписка, каждый день садишься за стол, это располагает к работе.

— Но если не хочется ехать, то есть сто способов. Можно просто закрыть дверь.

— Ну да, конечно! Но говорят, что я слабохарактерный и опять выйду. Так что завтра я уезжаю.

— Надолго?

— Нет, на две недели. Когда приеду, я вам позвоню. Погодите минутку, я положу трубку.

После паузы он спросил:

— А почему у вас голос грустный?

— Я волновалась, не знала, как вы отнесетесь к моему письму, и очень ждала вашего звонка.

— Зоя Афанасьевна! Вы чудный человек. И не только чудный человек, но и все то, что я вам написал на книжке...

А с собой я беру книги, буду там читать, но не вашего Роллана пока, а Пруста и Фолкнера.

— Ну, Тбилиси вам близкий город, навряд ли вы будете там сидеть за чтением.

— Нет, мне там грустно будет. Когда-то мы были там молодыми, нас чудесно принимали, были эти пиры, горячие речи. Теперь все изменилось, старых друзей нет.

Для меня сейчас переписка и моя жизнь в Переделкине — это прощание со всеми и всем, что было дорого. Помните, Пушкин перед концом прощался со всем, что любил?

И вдруг целомудренно и быстро, не дожидаясь ответа, переменял тему.

— А в Переделкине сегодня нет света, все погружено в темноту. Между прочим, ваше письмо я только сегодня получил.

— Спасибо, что сразу позвонили.

— До свиданья, Зоя Афанасьевна, будьте счастливы, не болейте.

(Никогда он этого «не болейте» не говорил, а в этот день, хотя я ему не сказала, я была больна довольно тяжелой формой вирусного гриппа.)

— До свиданья, Борис Леонидович. Желаю вам удачной поездки.

— Спасибо. А стихи очень хорошие.

*2 мая*

Второго мая ко мне в Переделкино приехали гости. Был теплый чудный день. Мы погуляли в лесу и возвращались по шоссе обедать. И вдруг, проходя мимо ворот Дома творчества, я увидела в глубине знакомую фигуру, направляющуюся к выходу. Борис Леонидович был в неизменной серой куртке с голубой рубашкой.

Я впервые видела его издали, и облик его поразил меня своей слитностью и законченностью.

Я попросила гостей идти вперед, сказала, что догоню. Они не обратили никакого внимания на эту встречу.

Я остановилась в воротах, поджидая Бориса Леонидовича. Он издали узнал меня, удивленно расставил руки и с обрадованным лицом, выставив вперед подбородок, устремился навстречу. Но я стояла как вкопанная, серьезно глядя на него. Он не выполнил обещания позвонить по приезду. Не переставая улыбаться, он сам взял мои руки, поцеловал их и не отпускал, пока мы разговаривали.

— Вы у меня были?

— Нет, и не собираюсь.

— А, вы к дочке приехали.

— Да. У меня гости. Мы гуляли, сейчас возвращаемся.

— Я думал вам позвонить. Вы, наверно, хотите продолжать работу?

— Ну а как вы думаете?

— Ну вот будет потеплее.

Больше сердиться я не могла — это было самым важным.

— Значит, вы не раздумали, Борис Леонидович?

— Нет, не раздумал.

— Как ваше здоровье?

— Я чувствую себя очень хорошо.

— Выглядите вы прекрасно.

Он действительно очень свеж, лицо подтянутое, без морщин, а главное — чувствуется, что это не внешняя молоджавость.

— А настроение?

— И настроение хорошее. Когда мы последний раз виделись, положение было особенно трудным. Перед тем был просвет, но дело в том, что я что-то дал одному молодому англичанину.

— Ходили слухи, что вы передали за границу стихи «Нобелевская премия».

— Да, это были они... И тогда такое началось!<sup>62</sup> А теперь как будто несколько улаживается.

— Правда? Есть надежда?

— Есть какая-то. Но очень хочется работать. Да все что-нибудь мешает. Продолжаются новые издания, переводы, отклики, надо отвечать на письма.

— Я не верю в это «надо». Просто хочется.

— Нет, действительно надо. Вот вдруг отыскалась дочь Бунина, написала мне, нельзя не ответить.

— Просто в один прекрасный день объявите переписку закрытой и садитесь работать. Раз назрело, нельзя откладывать.

— Я, наверно, так и сделаю.

Мы уславливаемся, что я приду в воскресенье семнадцатого, и расстаемся.

*17 мая*

От этой встречи у меня нехорошо на душе. Впечатление, что я для Бориса Леонидовича чужой и лишний человек, а та сердечность и дружба, что были в отношениях, кончились.

Встретила меня на этот раз Зинаида Николаевна. Оказалось, что она хочет поговорить со мной о переносе «всей этой музыки» на верхнюю веранду. Я согласилась.

День был на редкость жаркий, и я пила воду, когда в столовую вошел Борис Леонидович. Он не устремился с протянутыми руками, как прежде, а как-то вяло поцеловал руку.

— Вам Зинаида Николаевна говорила о желании перенести портрет наверх? Как вы на это смотрите? Там такая же веранда, как внизу, я вам не показывал? Выход из моей комнаты.

— Там ведь такое же освещение, как и на нижней? Ну и чудесно. Я хочу условиться с вами о работе. Мне нужно знать сроки, чтобы распорядиться своим летом.

— Пойдемте на террасу, поговорим.

Мы уселись на террасе. Борис Леонидович выглядел постаревшим, и казалось, что он чем-то расстроен.

— В прошлом году осенью, когда назревали все эти события, я не то чтобы их предвидел, но это была цепь, многие звенья которой проходили через меня. Я торопил вас с окончанием вовсе не потому, что между нами что-то произошло, а потому, что надвигалось множество дел и не хватало времени.

— Не надо мне этого объяснять. Сейчас у вас тоже сложное время?

— Да. Готовятся новые издания, идет поток писем, и надо отвечать. Сейчас мне из Германии прислала либретто оперы одна писательница\*. Опера по Гофману, не знаю, читали ли вы, я тоже читал так давно и не помню, что можно сказать — не читал. Есть у него роман «Эликсир дьявола». Просят об этом написать.

— Почему?

— Они хотят посвятить оперу мне и просят мое мнение. Я пишу по-немецки. И написать об этом трудно: романтизм с его построениями, ничем не проверенными, я скорее отвергаю. Но либретто удачное. Это большой роман, а сделать из него надо было маленькое либретто. Оно написано хорошими стихами, и гофманские ужасы преувеличены, это оздоравливает атмосферу.

— Вы написали за это время что-нибудь?

— Нет, ничего, но ужасно хочется. Буду писать пьесу.

— О русском актере?

— Да. Но вы не представляете, насколько не хватает времени. Я как-то давал окантовать рисунки отца. У мастера остались запасные, но он сказал, что их отдал, а потом нашел. И вот лежит целая груда рисунков, и нет времени просмотреть их и разобрать. Поэтому давайте отложим работу. В июне ни в коем случае, хорошо? Но в июле вы скажете — жарко?

— Нет, не скажу.

---

\* Рената Швейцер.



— Я вам тогда дам знать.

— А вы не очень хорошо себя чувствуете. И тонус пониженный.

— Да, я сам не знаю почему, я это еще утром заметил. Наверно, потому, что задернул в комнате шторы. А что вы сейчас делаете?

Я объясняю.

— Ну вот, видите, вы сами заняты.

— О, это не помешало бы. Сеансы в восемь часов утра, к двенадцати — часу я снова работоспособна. Борис Леонидович, ничего у вас не изменилось?

— Нет, я ровно ничего не знаю. Есть какие-то обещания книгоиздательского порядка.

— А за перевод вам заплатили?

— За Словацкого? Да.

— А за пьесы идут деньги?

— Да, за пьесы и не переставали идти.

— А мне казалось, что есть какие-то мелкие признаки улучшения дел.

— Нет, по-моему. А какие признаки?

— Ну вот, по всему городу в великом множестве расклеены афиши «Короля Лира» с вашим именем — всю зиму этого не было.

— А на какие числа афиши?

— На 16 и 29 мая.

— Он очень давно не шел, болел Мордвинов, а главное — из-за дурной славы переводчика.

— Но ведь другие спектакли идут.

— А вы «Лира» видели?

— Да.

— Еще давно?

— Нет, вчера.

— Вот как! Ну как он вам понравился?

— Очень хороший спектакль. Я не люблю современного театра — все это так скучно и неинтересно, а тут было хорошо. Мордвинов умно играет, и подкупает именно

его ум в показе прозрения и очеловечения Лира, а не страсти. И хороший шут. В сцене предсказания прямо мороз по коже подирает. Но спектакль несколько распадается на сцены, не собран в единое целое.

— Мне показалось, что на сцене как-то пусто, она слишком большая. Когда Кенту выдавливают глаза, это происходит где-то в глубине, далеко. Ну а как в зале, была публика?

— Да, зал был полон и реагировал на спектакль очень хорошо, жил с пьесой.

— Вы и «Марию Стюарт» видели?

— Да.

— Она мне больше понравилась. А «Макбет» идет?

— Да. Борис Леонидович, я не хочу грабить ваше время.

— Да. Вы на меня не обижайтесь. Вы меня застали за писанием статьи о Гофмане, надо продолжать. У вас тот же телефон? Я вам позвоню.

Я открываю свой чемоданчик и достаю укутанную в черную тряпку Лару. Борис Леонидович почему-то ведет меня на веранду и закрывает дверь.

Я держу головку в руке, он с любопытством осматривает, заходя и справа и слева, просит повернуть в оба профиля, показать сзади.

— Интересно. Очень интересно.

— Но это не та Лара, которую вы себе представляли?

— Да.

— А чем?

— Она у вас более одухотворенная и измученная. Но это интересно. И прическа, и вся она того времени, она исторически достоверна... Вы пошли дальше меня, но направление, в котором вы шли, взято верно. Это — Лара.

— Я не смею так ее называть.

— Ну что за глупости, почему?

— Потому что я ее не угадала.

— А разве такая догадка возможна?

— Возможна большая или меньшая точность догадки.

Вы же сами говорили, что вам прислали из Дании рисунок станции и паровоза из романа именно таким, как вы их себе представляли.

— Так то паровоз. Кстати, сейчас во Франции готовят иллюстрированное издание романа<sup>63</sup>. Вы о художнике Алексееве не знаете?

— Нет.

— А в Ларе я ведь никого конкретно не имел в виду. Это не портрет. Почему же Алексеев и другие могут называть и делать как хотят, а вы нет?

Я собираюсь уходить.

— И вы не обижайтесь. Если бы вы были другой человек, я бы пожертвовал этой статьей и письмами.

— Нет, нет, это отравило бы отношения.

Он еще задает вопросы, связанные с переноской, и я ухожу в отвратительном настроении.

*18 мая*

В 10 часов утра телефонный звонок, оказалось — Зинаида Николаевна. Она сказала, что на обеих верандах жарко, пластилин может расплавиться, ей кажется, что уже что-то произошло, а холодные места, вроде погреба, маленькие, тесные, там может повредить вещь работница. Так как Борис Леонидович мне сказал, что будет продолжать через полтора месяца, то лучше, чтоб на это время я забрала работу, машину она даст. Но вообще Борис Леонидович считает, что портрет закончен и лучше, чтоб я отлила для себя один экземпляр, а второй тогда, когда у него будут деньги, чтобы приобрести портрет, он это хочет сделать.

На это я ответила, что считаю портрет незаконченным, но, конечно, заберу его. Ждать я готова сколько

угодно. Что касается «приобретения», то об этом не может быть и речи. Портрет я делала не для денег и подарю его, если только он нравится, навязывать не буду.

Договорились, что я приеду в среду к двенадцати, она даст машину, и я заберу голову.

Вешаться хочется. Но я понимаю его состояние: сидеть перед скульптором после всего, что произошло, и с дамковым мечом над головой, когда надо действовать и искать выход из положения!

*20 мая*

Ну, и денек! Меня до сих пор трясет.

Во дворе бродил шофер и стояла машина, чтобы везти голову ко мне.

Навстречу мне вышел Борис Леонидович, и первый из многих разговоров этого дня состоялся на крыльце. Я молча взглянула на него.

— Так будет лучше. Надо с этим кончать.

Он принялся объяснять положение. Упомянул, между прочим, о том, что Шолохов за границей «слишком мягко» отзывался о нем, высказался, что поступили с Борисом Леонидовичем чересчур круто, что, по-видимому, Шолохов не по своей инициативе это сделал, и предполагалось, что на съезде писателей о нем не будет ни слова, а вот опять было в старом духе<sup>64</sup>.

— Нужно работать. Нельзя же все «Живаго», «Живаго»... Ну, а дальше что?

Сказал, что с его точки зрения работа завершена, очень хорошая, и ее надо отливать, что если что-нибудь и делать, то новую работу.

— Вот если со мной все будет благополучно и вы получите государственный заказ, это будет интересно.

На все это я ответила одним словом «хорошо» — и пошла на веранду, а он за мной.

— Я хочу посмотреть портрет, — сказала я.

— Я тоже хочу.

— Борис Леонидович, когда я с вами, мне кажется, что вы все понимаете и глупо что-либо объяснять. Но потом оказывается, что это не так. Поэтому, чтоб не забыть сказать вам, что нужно, по этому поводу, я написала это. Прочтите...

— Сейчас?

— Да.

Я отдала ему письмецо, в котором писала, что я вовсе не смотрю на вещи только со своей колокольни и понимаю, что Борису Леонидовичу не до портрета. Но портрет сейчас дальше от завершения, чем был осенью, потому что это время я вживалась в образ, располагая новыми возможностями, и многое понимаю сейчас иначе. Ждать возможности окончить работу я готова сколько угодно, пусть только это его не связывает, он всегда может отказаться. Я благодарила за щедрость, с которой он внес новый смысл в мое существование, и просила помнить, что со всеми его муками он богат и счастлив.

— Можно мне побыть наедине с портретом?

— Вы хотите в первый момент, когда откроете, быть одна?

— Да.

— А можно и мне тут быть?

— Лучше не надо.

— Я хотел бы.

— Ну хорошо.

Он пока отложил письмо, и мы переставили странно изменившуюся, закутанную фигуру на середину веранды, и я с его помощью стала снимать веревки.

— Что-то случилось! — воскликнула я, обнаружив деформацию под тряпками, на которых выступил растаявший на прямом солнце пластилин.

О, что открылось нашим глазам! Голова развалилась от жары на части. Кусок затылка висел вверху штыря,

все остальное сползло вниз, чудом держась на расплющенной шее. По-видимому, еще час или два, и все было бы на полу.

К нам бросился на помощь брат Бориса Леонидовича, кликнули шофера, прибежала Зинаида Николаевна. Остатки работы отделили от каркаса и уложили на большой станок. Сделав, что нужно, я повернулась к окну, к ним спиной. В наступившем тягостном молчании я боялась разреветься и выбежала из комнаты, бросив на ходу:

— Я сейчас вернусь.

Я быстро шла в лесную часть участка. Вслед мне что-то крикнула Зинаида Николаевна, и за мной пошел Александр Леонидович.

— Я хочу сказать, чтобы вы не огорчились. Мне как архитектору это знакомо. Иногда обрушивается целое здание.

— О, пожалуйста, не успокаивайте меня, я все это вынесу. Посижу здесь, приду в себя и вернусь.

Вслед ему я крикнула:

— Спасибо на добром слове.

Я редела и редела, и не только от жалости к погибшей, такой дорогой мне работе, но и из-за отказа Бориса Леонидовича позировать. Проходило время, и я никак не могла успокоиться. В моем убежище в лесной части участка меня отыскала Зинаида Николаевна.

— Вы потому убежали, что вы тоже суеверная и вам показалось, что голова Бориса Леонидовича так же развалится на части? В первую минуту мне чуть не стало дурно. Но потом я поняла, что это не предзнаменование, а просто следствие солнца, от него растаял пластилин, и все логично. Не огорчайтесь, лицо и левая сторона целые, они чудные.

— Неужели портрета не будет! — воскликнула я.

— Все будет. Будем живы, все будет, а умирать мы, пока не собираемся.

Видя мое горе, она обняла меня и стала целовать,

а я прижалась к ней. Меня тронула ее доброта. Зинаида Николаевна пригласила меня провести у них день и пообедать с ними.

— Вы не должны обижаться на Бориса Леонидовича, — сказала она, — ему сейчас ни до кого: ни до детей, ни до семьи.

Потом она стала говорить об их жизни, и тут уже я утешала ее.

Медленно и как бы колеблясь, к нам подошел Борис Леонидович. Понимая, как снять напряжение, он заговорил на деловые темы. О том, что оставшееся надо немедленно фотографировать и отформовать, что это хорошая работа, это видно и теперь.

— Подумаешь, остаток античного торса, — попыталась улыбнуться я.

Они стояли передо мной, Борис Леонидович положил руку на плечо жены, я сидела на земле.

— Ну, надо что-то делать, хватит сидеть, — воскликнула я, вскакивая на ноги.

Возвращаясь, мы обсуждали детали. Я объяснила, что если портрет сейчас перевозить, то он совсем развалится.

Зинаида Николаевна вошла в дом, а меня задержал Борис Леонидович.

— Я хочу, чтобы вы мне верили, что отсутствие времени не отговорка, что я с вами искренен и говорю правду.

— Борис Леонидович, я верю каждому вашему слову, не надо этих предисловий.

— У меня осталось трое-четверо друзей, вы в их числе. Но то, что случилось и продолжает происходить в этом году, превышает по сумме события всей остальной жизни, если их собрать вместе. И это требует напряжения сил. У меня есть приятельница-француженка, она переводила «Живаго», о-очень близкий мне человек. Она написала, что хочет получить визу и приехать ко мне пожить тут

осенью, и я ей ответил, чтобы она отложила это на год. Вы не должны на меня обижаться.

Я ему ответила, что понимаю его положение.

Потом он показал мне фотографию, приложенную к письму одного испанца. На фотографии была изображена постель под открытым небом, где-то в саду, в ней сидел человек с забравшимся к нему малышом. У человека было умное, хорошее лицо.

— Я думал, что это просьба о помощи, но нет. Этому человеку тридцать пять лет, из них двадцать он прикован к постели. Он читал роман, написал теплый отзыв и просит откликнуться.

Вышла Зинаида Николаевна и сказала, что, может быть, можно поместить портрет в котельную под домом, там холодно. Мы вдвоем пошли посмотреть помещение.

— Ну и прекрасно, — сказала я.

Но тут Зинаиду Николаевну осенила еще одна идея: перенести злосчастную голову в Лёнину комнату при гараже. Это полутемная каморка, с низким потолком и площадью верно в 4—5 кв. метров. Там стоит большой стол, заваленный автомобильными деталями и инструментами, и кушетка. Я согласилась.

Они говорили о том, что тут и как переставить, а я думала о своем и нечаянно улыбнулась своим грустными мыслям. Борис Леонидович взглядом спросил, чему это я.

— Горе-скульптор, — ответила я.

С внезапной лаской он коснулся моей щеки.

Я сказала ему, что хочу посмотреть остатки портрета, и, наконец, осталась одна. Я сидела над ним, и мне снова хотелось плакать. Вырвана была примерно одна пятая поверхности от правого уха (его не существовало) к затылку, шея совсем деформирована и разодрана, но все остальное — не тронуто. Катастрофа заключалась не в этих повреждениях, а в том, что тяжелая голова размером в натуру с четвертью была сорвана со штыря



и восстановить прочные связи между пластилином и каркасом было невозможно.

Я напряженно размышляла, глотая слезы, и вдруг внезапно ясно увидела, что надо делать. Нужно вынуть часть пластилина изнутри, вложить в голову в лежащем положении штырь с прочными крестами и залить все это расплавленным пластилином. Вскоре работа закипела. Плотник делал в саду новый каркас, а мы с Александром Леонидовичем, взявшимся мне помогать, топили пластилин на водяной бане и подготавливали голову к операции.

На веранду пришел Борис Леонидович. Я ему сообщила, что смогу восстановить портрет. Он выразил недоверие, я объяснила идею.

— Ну и слава Богу, — отвечал он.

— Не очень я верю вашему «славу Богу», — весело сказала я. — Вы, кажется, были рады, когда портрет развалился. И все сделаем без вас, уходите, пожалуйста.

— Да, я должен сейчас уйти: тут приехали студенты ГИКа, хотят меня снять. Я надолго уйду. Я вас в щеку поцелую.

Справившись, все ли у меня есть для работы, он ушел.

Работы было много, я отказалась от обеда, и Александр Леонидович предложил мне пообедать попозже с Борисом Леонидовичем, который запаздывал.

Я искала новое направление штыря с тем, чтобы устранить по просьбе Бориса Леонидовича первоначальный наклон головы, когда в столовой загудел его голос. Он капризно и недовольно тянул слова. Меня позвали, и пришлось оторваться от работы.

— Ты умная девочка, — сказал он шестилетней Мариночке, — и понимаешь, что тут не театр, чтобы расхваливать перед всеми детей, но ты помогла бабушке, и это так же приятно, как хорошая погода, красивый цветок или вкусное кушанье.

Но он был голодный и злой, все это чувствова-

ли. Я молчала. Они изредка перебрасывались пустяковыми фразами. Это были первые дни III съезда писателей, и он, видимо, вернулся с плохими вестями. И досталось мне. Он заговорил о необходимости отлить работу, потому что этого требует и ее состояние, и наши отношения, и мера моего таланта.

— Лимит исчерпан,— сказал он.

— На это мне возразить нечего,— ответила я.

Было очень больно и обидно, я молчала, но почему-то не чувствовала бесповоротности его слов.

Его стали спрашивать о съезде, он что-то говорил, упоминал Алигер, я плохо слушала. Потом стало ясно, что он возлагал какие-то надежды на съезд и, по-видимому, переживает разочарование.

Тогда очень тихо я заговорила. Он резко повернулся на стуле и бросил есть.

— Мне кажется, что личное ваше благополучие больше всего зависит от того, что вы напишете следующее.

Все переглянулись: видимо, я затронула больное место.

— Но так ли надо, чтоб все было благополучно? Вам самому это нужно?

— Нет, мне этого не нужно. Вот же живу, как видите.

Тут Зинаида Николаевна, видимо, встревоженная оборотом разговора и состоянием мужа, позвала меня на кухню посмотреть пластилин.

В разгаре работы, когда я, то и дело дуя на облепленные расплавленным пластилином пальцы, вливала в отверстие в волосах жидкую массу, пришел Борис Леонидович поинтересоваться, как идут дела.

— Сделаем все без вас, идите, пожалуйста, отдыхать.

— Да, вы извините, что я вам эгоистически не помогаю. А вы раньше заливали когда-нибудь?

— Нет, впервые, таких катастроф не случилось.

— Как же вы решились? Какая смелая!

Он ушел, работа продолжалась еще часа полтора. Я уже наводила порядок, когда он опять спустился.

— Вот, все получилось.

— Никак не думал. Я прилег отдохнуть и после того, как вы мне сказали, что никогда этого не делали раньше, решил — все развалится окончательно и никакого портрета больше не будет, и уж никак не ожидал, что он когда-нибудь опять стоять будет. Поздравляю!

Я ему сказала, что через два дня приеду и перенесу голову в Лёнину комнату. Если будет жарко, ее нужно поливать. Повреждения исправить нетрудно, и, если он не хочет мне помочь в этом, я заберу работу в Москву и сделаю как сумею, но спеху никакого нет, и если только он не решил твердо никогда мне больше не позировать, то я могу подождать сколько угодно.

Он предложил позировать осенью.

— Хотите чаю? — спросил он.

— Хочу.

Зинаида Николаевна еще спала, и братья накрыли на стол. За чаем, который мы пили вдвоем, Борис Леонидович сказал брату, что в каких-то ракурсах я напоминаю мать.

— У Зинаиды Николаевны и брата о вас свое мнение, а я вам скажу — вы фанатичка. Вы страшно упорная.

— А разве без этого можно чего-нибудь добиться?

— Ну, не знаю, чем добиваются. Но вы упрямица, причем какая-то тихая упрямица, — говорил он с доброй улыбкой. — Хотите прилечь? Я вас устрою.

— Нет, спасибо, мне надо ехать.

— Полежите, отдохните, может, поспите. Мы забудем о вашем существовании.

— Нет, я поеду. И так ваше грозное послание привело лишь к тому, что в ваш дом на весь день вторглись.

(На дверях в кухню висит записка по-русски и по-

английски: «Я никого не принимаю. Отступлений от этого решения сделано быть не может. Прошу не обижаться и извинить. 22 апр. 1959 г.»)

Он вышел проводить меня на крыльцо:

— Вы сегодня такую лошадь за рубль выиграли!

Я не поняла.

— Ну как же, я был уверен, что ничего не выйдет, все развалилось, а вы восстановили.

Прощался он с такой сердечностью, что у меня осталось чувство выигранного сражения за свое достоинство и его уважение.

*22 мая*

На дверях веранды висела записка, написанная рукой Бориса Леонидовича: «На террасу ходить осторожно. Не подходить к лежащей вылепленной голове — она чуть держится на подпорках».

— Борис Леонидович хочет поставить портрет в свой кабинет, — сказала Зинаида Николаевна.

— В этой мысли нет ничего хорошего. Я должна сначала исправить повреждения, а там я не смогу. Лучше перенести, как собирались, в комнату при гараже. Там я никому мешать не буду?

— Нет, приходите в любое время, когда хотите. Такой холод, а он без конца поливал голову, — сказала Зинаида Николаевна.

Ко мне подошел Александр Леонидович, и мы, дополнительно укрепив голову подпорками, перенесли ее в гараж. Я вернулась на веранду за остальным своим имуществом, и за собиранием его меня застал Борис Леонидович. Вошел он с пачкой пакетов и писем из-за границы, видимо, только что принял их от почтальонши. Это был другой человек. И здоровался, и смотрел в лицо, и улыбался совсем иначе, будто обдавал теплом.

— **Что**, уже перенесли? И все благополучно? Вам помогли? Смотрите, не таскайте тяжести. О, хотя вы говорите, что понимаете, в каком я сейчас положении, как мне необходимо сейчас работать...

— Но тем не менее вы считаете нужным еще раз мне об этом напомнить? — улыбаясь, перебила я его.

— Нет, но даже в семье этого как следует не понимают. Вот это — сегодняшние письма. Ну конечно, можно не ответить, ну что же...

— Мой план такой. Вы уже испугались при слове «мой план»?

— Нет, нет, так что же?

— Я постараюсь произвести реставрацию без вас, по памяти и фотографиям. Мы договорились с Зинаидой Николаевной, что я буду приходить для этого когда смогу. Вы мне на глаза не попадайтесь. Александр Леонидович настоятельно советовал мне произвести отливку в убеждении, что я испорчу. От этого всеобщего доверия я просто расцветаю. Но портрет мне не нравится, и самое в этом лучшее то, что я знаю — почему. Если вы сможете осенью попозировать для этого, очень хорошо, нет — отложим, сколько понадобится.

— Я вам попозирую, только не по два часа, просто буду вам показываться.

— Я даже этим обещанием не хочу вас связывать, можете потом отказаться.

— Это очень правильно — сделать отливку. Я давно не видел портрета, и он оказался лучше, чем сохранился у меня в памяти.

— Значит, я напрасно принимала за чистую монету то, что вы мне говорили осенью?

— Я отлично помню, что портрет мне очень нравился и я его хвалил, но память несовершенна, и он оказался еще лучше. Я думаю, что современная скульптура не может передать сходство лучше. У каждой эпохи есть свое понимание сходства.

— Но это зависит и от индивидуальности художника.

— Да, но главным образом от времени, в которое он живет. Портрет куда-то уведен, но в правильном направлении, это я. Поэтому я и считаю, что нужно отлить, чтобы зафиксировать что есть.

— Но отливка не должна означать, что работа готова, хорошо?

— Хорошо. Если ничего не случится, осенью я вам позирую.

Разговор зашел о съезде, и я рассказала о критике в адрес Суркова в выступлении Твардовского<sup>65</sup>.

— Мне все это представляется театром, — ответил он. — Кто-то сказал Твардовскому поругать Суркова, чтоб говорили, что Суркову попало...

— Вы напрасно не замечаете, что идет общее смягчение обстановки в сторону большей терпимости и свободы мысли. Хотя бы выступление Хрущева о том, что у нас нет преследования за политические преступления, кроме шпионажа и диверсий<sup>66</sup>.

— Вы думаете, что, если со мной захотят поговорить, мне не пришлют уголовного дела?

— Ну, это абсолютно исключено.

Разговор шел в мягком улыбчивом тоне.

— Я рада, что вы в хорошем настроении.

— Я всегда в хорошем... — начал он и осекся: передо мной уже поздно было играть в бодрость.

Я отказалась от приглашения обедать и, прощаясь, попросила у него записку с двери.

*10 июня*

В доме и в саду стояла звонкая заметная тишина: семейство укатило в Москву. Работалось хорошо. Приходится после посадки в новом положении совершенно по-новому решать шею.

Часа через два в комнату зашел Борис Леонидович.

— Зоя Афанасьевна? Здравствуйте! Вы первый раз здесь?

— Второй.

— Вот как? Мне не сказали. Когда же вы были? Когда жара началась?

— В пятницу.

— Мне никогда об этом не говорили.

— Правильно сделали.

— Ах, так? Вы просили, чтобы мне не говорили?

— Нет, не просила. Но хорошо, что не сказали, а то вы опять станете объяснять мне, что у вас нет времени. Я в обморок могу упасть.

Он улыбнулся и стал расспрашивать, как идет работа.

— Меня стали делать. Но фантазируют Бог знает как. Я вам не показывал, из Швеции прислали фотографию?

— Ничего вы мне не показывали.

— Я покажу. Одна скульпторша меня делала и в Париже тоже. Ни в какое сравнение с вашим портретом.

— Мне очень хочется посмотреть.

— Я вам покажу. Чтобы вы возликовали. Но это делали люди, никогда меня не видевшие, Бог знает по каким материалам; и они страшно фантазировали. А сейчас я пойду быстренько пройдуся. Я поздно сегодня вышел.

*24 июня*

Я кончила работу и уже уходила, но у калитки столкнулась с Борисом Леонидовичем.

— Я не знал, что вы сегодня работаете, жаль.

— А на что вам знать? Да, вы видели вчерашнюю «Литературную газету»? — спросила я.

— Нет, а что там?

— Статья об Ахматовой по поводу ее сборника. Сдержанная, но вполне положительная<sup>67</sup>.

- Что вы говорите! Большая статья?
- Довольно большая. И исподволь ей дается высокая оценка.
- Вот как! Сегодня ее день рождения. Я только что звонил, просил, чтоб от меня ее поздравили. А кто написал статью?
- Озеров.
- Л. Озеров?
- Да, Лев. Борис Леонидович, правда, что должен выйти ваш сборник?
- А, нет! Какие-то переговоры велись, да это меня только по губам мажут.
- Я это слышала из нескольких источников.
- Милый мой друг! Нет. Это опять желаемое выдают за факт. Хотели включить в собрание Шекспира две пьесы в моем переводе, я сейчас звонил, и, как всегда это бывает — тот на пленуме, тот болен, а редактор в отпуске. А должны были быть деньги... Но это только отсрочка, и положение не безнадежное.

*16 июля*

Требовалась коренная перестройка нижней челюсти, и Борис Леонидович был нужен позарез. Я уж даже решила передать через Зинаиду Николаевну просьбу показаться мне в следующий мой приезд, но, по счастью, записку писать не пришлось.

В третьем часу я услышала шаги — Борис Леонидович издали внимательно, с разных позиций разглядывал портрет.

— Бедная! Ну что вы так много работаете, мучаете себя! Ведь хорошо!

— Борис Леонидович, мне неприятно это слышать. Разве я кому-нибудь мешаю?

— Нет, нет, вы не поняли! Но я хочу сказать, что вот делали же меня за границей люди, в глаза не видавшие,



и не мучили себя. А вы все загромоздили себе этой работой.

— Вовсе нет. Я хочу, чтобы портрет меня удовлетворял. Сейчас хуже или лучше, чем было осенью?

— Лучше.

— Что и требовалось доказать. А работаю я тут редко, дома уже кончаю совсем другую работу. Скоро кончу, поеду в путешествие.

— А куда?

— На пароходе, за Пермь.

— О, это будет хорошая поездка.

— Вы ведь там были? «Был утренник, сводило челюсти...»

— Да, это было под Пермью, ниже ее.

Он спрашивает о поездке и немного рассказывает о Каме.

— Борис Леонидович, вы мне не можете постоять десять минут?

— Сейчас? Ну хорошо, я собрался гулять, но я вам постою. Где стоять?

— Засеките время. Вот часы.

Но он машет рукой.

— Я вам попозирую.

— Я помню все свои благородные обещания работать одной, но, ей-богу, я не знала, что залезу в такие глубокие изменения. Работаю я осторожно, на ощупь, и мне трудно.

— Вы когда в следующий раз приедете?

— В четверг.

— Через неделю? Я запомню. Я вам попозирую.

— О, спасибо! Я добросовестно стараюсь сделать одна как можно больше, чтобы осенью вам пришлось поменьше сидеть. Если вы вообще не раздумаете.

— Знаете, я собирался вас надуть. Но вы меня опять обезоружили.

— Ну, Бог с ним, с портретом, если вы осенью собираетесь писать. Вы уже пишете?

— Да, начал пьесу. Но не удастся целиком ей отдаться. Надо зарабатывать, а кое-что подвернулось. И потом мне по-прежнему много пишут, в том числе незнакомые люди, присылают книги или стихи. Надо отвечать, чтоб хотя бы поблагодарить, если не делать этого неделю, то накапливается гора. Перевожу я Кальдерона. Нет, испанского я не знаю, но есть хороший немецкий и французский переводы. Кальдерон современник Шекспира и Лопе де Вега, но, Боже, как далек от них! У него невозможно напасть на живое, сырое, пережитое, как у Шекспира. Все написано по правилам, чрезвычайно искусно, но все заранее определено, как в разученной шахматной партии. Может быть, это и гениальная шахматная партия, но каждый ход заранее известен.

— Как это чуждо вам! Расскажите о пьесе. Или вы не можете говорить о том, что пишете?

Почему-то эти простые слова вызвали у него взрыв благодарности.

— Вы чудная! Не то чтоб между нами роман, но я вас люблю. Очень люблю. Как бы мне хотелось быть вам полезным, принести вам настоящую пользу...

С крыльца Зинаида Николаевна кричит ему, что он должен погулять.

— Я знаю,— отвечает он,— но я попозирую немного Зое Афанасьевне.

— Я хотела с вами посоветоваться. Вы знаете о художнике Коле Дмитриеве? Он погиб в 15 лет<sup>68</sup>.

— О да, я был на его выставке.

— Колин отец хочет, чтобы я его лепила.

— Что вы говорите! А как вы с ним познакомились? Я рассказываю.

— О, это было бы замечательно! Когда вы хотели лепить Рихтера, я не был так уверен.

— В чем? Что из этого выйдет что-нибудь путное?

— Нет, в том, что вам нужно его лепить. А это другое дело. Это просто необходимо вам сделать. Вам говорили, что между родителями Коли и мной протягивались какие-то ниточки?

— Федор Николаевич<sup>69</sup> говорил, что у него есть ваше письмо о Коле. Прежде чем его читать, я хотела спросить у вас разрешение.

— Ну что вы, читайте, пожалуйста. Меня, кажется, представили его матери. А у него хорошее лицо, да? У меня остался в памяти такой пастушок, Лель.

— Борис Леонидович, а что вам нравится в его работах?

— Наличие, проявление бесспорной талантливости. Он определяет это в каких-то и очень общих и непривычных выражениях.

— Я вас не поняла.

— Ну что мне в нем нравится? Моментальность схватывания, острота глаза...

— Нет, нет не переводите для меня на популярный язык. Вернитесь к этой мысли о том, в чем сущность таланта. Это ведь очень неустойчивое свойство, и я толком не знаю, в чем оно.

— Да, да. Ну, это беспокойство, жадность, страстность, потребность остановить, удержать состояние, это и глазомер, и чувство красок — и попадание!

Тут на крыльце появляется с недавних пор живущая в доме немолодая грузинка<sup>70</sup>.

— Ну что они беспокоятся! — тихо говорит она. — Ниночка, идите в дом, зачем вы мокнете под дождем... Да, да, я знаю, я еще немножко попозирую и приду.

— Идите, Борис Леонидович, я сама поработаю.

— Нет, я вам еще постою...

— В «Литературе и жизни» были недавно новые стихи Андрея Вознесенского<sup>71</sup>. Вы их видели?

— Нет. Хорошие?

— Они очень зрелые, в них уже почти не осталось былого мальчишества. Это не опасно?

— Нет, он на верной дороге и много сделает, да и уже сделал. Вы с ним пезнакомы?

— Нет.

— Поищите случая познакомиться, вам приятно будет.

Мы помолчали, потом я задала наводящий вопрос.

— А сколько актов будет в пьесе?

— Я еще не знаю. Она растет, развивается, усложняется, как живой организм. Только в минерале все просто, а органическое тело, даже самое примитивное, это уже сложно. Нет, я не хочу ничего нагромождать и усложнять, но существует какая-то естественная, органическая сложность. А пьесу я пишу для себя, как роман.

— Ничего себе роман вышел для себя! А действие, как вы мне рассказывали, относится к концу крепостного права?

— Да. Это ведь понятно, почему меня привлекло это время: судьба художника, неволя — и вместе с тем где-то очень близко освобождение, свобода.

— Хорошо, что свет не без добрых людей и я кое-что о вас узнаю. Что за замысел грузинского романа?

Его интересуется, где я это слышала.

— Да, это было, но отпало. Это вот что. Грузия, третий век, проникновение христианства, святая Нина. Завязываются в сложный клубок судьбы людей, и потом все это обрывается внезапной катастрофой, ну, скажем, землетрясением. А потом наше время. Археологи ведут раскопки и вдруг натываются на эти следы, и оказывается, жизнь их, их личные судьбы как-то переплетены с тем, что было, возникают связи с прошлым.

— Это очень интересно и необычно. Это ваша естественная реакция на призыв писать о современности? — подтруниваю я.

— Не знаю, не знаю... Вот говорят, что я не современ-

пен, что не современно мое стремление к простоте и ясности. На Западе пишут сейчас нерифмованные стихи со свободным ритмом, очень короткис. Ну, например, — солнечный воск судьбы, в нем отпечатки человеческих рук и кольца цепи человеческой судьбы, сквозь них прорезы пальцы. Это образно, и понятно, и не лишено смысла, но разве это современно? Я со многим не соглашаюсь в современной жизни, спорю с ней...

— Но и тогда это разговор о современности, — подхватываю я.

— Ну да, ну да...

Но тут его в третий раз зовут с крыльца обедать.

— Идите! — говорю я.

— Да, надо идти.

Он приглашает меня, я отказываюсь.

— Так я запомню — в четверг.

Идя мыть руки, опять с ним сталкиваюсь и отдаю забытую им серую ширпотребовскую кепку. Как он ухитряется, чтобы такая посуда выглядела на нем и элегантно и индивидуально?

*23 июля*

Вступив на крыльцо, я услышала голос Бориса Леонидовича, звавший меня.

Я оглянулась, но не нашла его.

— Я тут, в окне.

Он стоял на верхней веранде и во все лицо улыбался.

— Я не забыл. Я к вам приду часа через два, поработаю и приду, хорошо?

Пришел он в замечательном расположении духа, до самого конца сеанса был заразительно радостен, вдруг начинал улыбаться, усилием стягивал губы в серьезное выражение, но улыбка ему не подчинялась и снова заливала лицо. Обаяние его, когда он в таком настроении, огромно, и передать его никак нельзя.

Он тут же принялся рассказывать о том, что пишет, но спохватился:

— Я вам не мешаю тем, что разговариваю?

Получив старый ответ, что он мне мешает, когда молчит, опять вернулся к пьесе.

Говорил он на редкость трудно для восприятия — потому что каждый раз подходил к теме не с той стороны, откуда ожидалось, и расплывчатая туманность мыслей пронзалась неуместными, на первый взгляд, не связанными с ними конкретностями. Когда он так говорит, я не запоминаю слов, приходится общее впечатление от его высказываний переводить на свой язык.

Он говорил о наполнении характеров в конкретном времени, о той степени их достоверности, которая нужна для того, чтобы было правдоподобно и убедительно при всей невероятности событий, и вместе с тем не мешала его свободе. Он не преследует цели показать полную эволюцию характеров, а как бы ставит вехи. Один из героев — крепостной, несправедливо в чем-то обвиненный. Его чуть не засекли насмерть, сослали в Сибирь, но потом выясняется его невиновность, его оправдывают, дают вольную, денег, он становится купцом, переезжает в Петербург, открывает магазин...

— А где же актер? — спрашиваю я.

— И тут же рядом актер и домашний учитель — потом он становится народовольцем, тут и любовь, судьбы их переплетаются в одно органическое целое. Потом проходит двадцать лет, покушение на Александра III, и все снова сплетается и перепутывается.

— А я по тому, что вы раньше рассказывали, думала, что это будет пьеса о взаимоотношении свободы и художника.

— Да, и это туда входит, но она вбирает много разного, все срастается в живой организм.

— Но то, что вы мне рассказали, можно рассказать и о романе. Что тут специфически драматургического?

— Да, да, вы правы, я вас понимаю, но это будет хроника, ну вот в том смысле, как Шекспир хроники писал.

— А почему вас на этот раз привлекла форма драмы? Он опять мальчишески улыбается.

— Диалог — очень трудная форма. И пьес я никогда не писал. Интересно, как получится. Пишу я без какой-либо цели, ни для кого, ни для чего не предназначая. Но жаль, что нельзя с головой окунуться в пьесу: и переписка, и Кальдерон этот.

— Но, может быть, это и хорошо, если все еще бродит?

— Нет, накопилось много материала, надо бы взяться вплотную.

— А кто вам заказал перевод?

— А, ведь в каждой редакции есть какие-то преданные люди. Это издательство «Искусство».

— Что есть преданные люди — неудивительно. Хорошо, что им дали возможность заключить договор.

— Да. Дело в том, что считается, что я стал вести себя благоразумней... Но ведь все зависит не от моего поведения, а от политической обстановки, от международных сил, для которых я песчинка. Пьеса — это работа, а все остальное — пустяки. Но приходится все же на них отвлекаться. Только что читал английскую статью некоего Ричи<sup>72</sup>. Он и раньше мной занимался, переводил «Детство Люверс». То, что он говорит в этой статье о «Живаго», — правильно. Ричи пытается разбирать и мое прошлое творчество, он знает кое-какие факты моей биографии, делает умные и верные сопоставления, приводит мои старые стихи, но как все это мелко! Это так заслоняет главное! Ведь в романе я приблизился, не разрешил их, нет, но подошел к важным, нужным вопросам, которые обычно заслонены, приподнял какую-то завесу, и это — удача!

Какими-то ассоциациями у меня возникает мысль, внешне не связанная с тем, что он говорил.

— А на днях у меня было любопытное скрещение с вашей мыслью.

— С чем-нибудь из того, о чем мы с вами говорили?

— Нет, с мыслью из ваших стихов. В воскресенье я слушала Второй концерт Рахманинова.

— Погодите минуту, а как у вас с Дмитриевым?

— Я сказала Федору Николаевичу, что буду лепить Колю. Он очень обрадовался.

— А вы ему сказали, что я настаивал и заставляю вас лепить Колю?

— А вы разве настаивали?

— Ну конечно, я убеждал, что это необходимо. Ну, итак, воскресенье, Второй концерт Рахманинова?

— Да. В воскресенье ко мне пришел посмотреть новую работу Дмитриев и остался. Мы с ним слушали музыку. Он очень любит Рахманинова, особенно Второй концерт. Я эту вещь довольно хорошо знаю. Но бывало ли с вами, что присутствие человека, очень любящего какое-то произведение искусства, обостряет его восприятие?

— Бывало, конечно.

— Так вот, это произошло, когда мы слушали третью часть.

Мне вдруг показалось, что Рахманинов рассказывает о себе, о своем отношении к жизни и делает это с ясной, определенной целью — чтобы я его полюбила. Не произведение, нет, а его самого, его внутренний мир. Иллюзия была так велика, что мне казалось: может быть, он при жизни не испытал такой полноты общения. И вот в музыку вплелись строки:

И надо жить без самозванства,  
Так жить, чтобы в конце концов  
Привлечь к себе любовь пространства,  
Услышать будущего зов.

И тогда я поняла, что то, что показалось открытием, то есть что творить надо, чтобы любили самого художника,



вы знаете. Нет, я не умею рассказывать, говорю какие-то общие слова, а главного передать не могу.

— Какие там общие слова! Это очень верная и глубокая мысль, и она ваша, у меня там другое. Да, да, вот это и есть искусство, где есть чудотворство. Существует какое-то академическое восприятие произведений искусства, ну вот, Шекспира, например. Все знают, все убеждены, что это гениально, но убеждены не пониманием его, а исследованиями, рассуждениями о Шекспире. Никто ведь не скажет: зачем вы его переводите, он бездарен?

Видя, что я что-то хочу сказать, он добавляет:

— Да, это не связано с тем, что вы говорили. Должно быть какое-то волевое усилие, чтобы заставить себя любить. Ну это то же, зачем весной бывают цветы, у птиц — красивое оперение.

— Но в этом есть целесообразность, назначение, а ведь то после смерти художника рождается.

— Это одно и то же.

— Вы сегодня в хорошем настроении.

— Да? Да!

— Это ответ?

— Дело в том, что сегодня я встал в половине пятого. Наши уезжали на машине в длинное путешествие — Ригу, Таллинн, вообще Прибалтику, ну, и я с ними встал. Повез Леня, поехали Зинаида Николаевна, Нина Александровна Табидзе.

— А, это Табидзе подходила ко мне критиковать портрет!

— Она критиковала? Что вы говорите!

— А она имеет отношение к поэту Табидзе?

— Да, она его жена. В восьмом часу я пошел гулять и думал, что пропадет день: лечь спать — не засну все равно, а для работы был сонный, но потом разошелся и недурно поработал. А потом увидел в окно, как вы идете...

— И огорчились: хорошо работается, а придется оторваться.

— Нет, не огорчился. Я с утра помнил, что вы должны прийти, и не хотелось оказаться жуликом. Нет, я бы стал позировать, но думал, что буду вялый, сонный, а я рад, что перед вами живой.

Он смотрит портрет и хвалит.

— Вашим комплиментам по поводу головы я не придаю значения.

Он скидывает брови.

— Они вызваны желанием, чтобы я поскорее окончила.

— А, а то я испугался. Я хотел вам сказать комплимент по поводу другой головы, вот этой, — кивает он в мою сторону и принимается говорить всякие приятные глупости. Я меняю тему и рассказываю, как меня совсем неожиданно стал спрашивать о романе 18-летний мальчик, приехавший из Воркуты. Борис Леонидович перебивает меня восклицаниями вроде: «Да нет, не может быть!» Он явно заинтересован и обрадован, с жадностью спрашивает.

— Это так приятно! И вам приятно было это слышать?

Проходит время, я говорю:

— Терпеть не могу напоминать о таких вещах, но вы мне хотели показать фотографии с ваших портретов, сделанных в Швеции и Франции.

— К этому прибавился еще портрет — делал один американский скульптор. Ну, он только по фотографиям, никогда меня не видел. Он делал Линкольна; видно, там в ходу, как у нас, портреты вождей (называет еще его работы, но я не запомнила). Непохож, конечно. Все-таки я ему написал, что сходства трудно достичь, не видя живого человека, однако, на одной из фотографий есть ракурс, на которой я бываю похож, только очень редко. Но это от меня уже уплыло.

— Ну вот! Неужели вы не понимаете простого человеческого любопытства?

— Я попрошу для вас. А как вы отнесетесь, если вашу работу снимут?

— То есть как?

— Ну, сфотографируют, если подвернется случай.

— Сейчас еще рановато.

— Но можно?

— Конечно, если вам хочется.

— А если это будет опубликовано? И с вашей фамилией?

— Это лишнее.

— Вы у меня до того были, как Ливанов тут наскандалил? Я вам не рассказывал?

— Нет.

И он подробно рассказывает, как нетрезвый Ливанов обидел у него дома жену Погодина.

— Когда Ливанов уходил, я с ним не простился, — закончил он рассказ.

В ответ я поделилась впечатлением о Ливанове, возникшим у меня на основе его карикатур, и спросила заодно, не рисовал ли он Бориса Леонидовича.

— Рисовал, но неудачно. А вот Нейгауза-отца сделал замечательно. Я просил у него этот рисунок.

Да, вот что пропустила: когда речь шла о портрете Коли, я сказала, что без помощи и советов Федора Николаевича мне не обойтись и это еще одна трудность. Эстетические взгляды у нас с ним разные — он символист, мистик, а одно представление о том, кто будет воспринимать мою работу, уже заставляет меня что-то менять в ней.

— Это признак слабости, и я этого очень боюсь.

— У меня сколько раз так было. Когда я заканчивал «Поверх барьеров», девушка, в которую я был влюблен, попросила меня подарить ей эту книгу. Я чувствовал, что это нельзя — я увлекался в то время кубизмом, а она была сырая, неиспорченная, — и я тогда поверх этой книги стал писать для нее другую — так родилась «Сестра

моя жизнь». Она так и не узнала об этой подмене.

— Правда? Неужели это не страшно? А я к этому как-то трагически отношусь.

— Нет, нет, вам кажется, что вы в чем-то отступаете от себя, а это и есть ваше развитие.

*30 июля*

Этот сеанс оставил сильное чувство досады на себя. Всю неделю уставала до исцвменяемости. Стоит жара, дома уйма работы, и мучает бессонница. В этом состоянии до прихода Бориса Леонидовича проработала три часа, и мне очень хотелось лечь хоть на землю и отдохнуть. Все мне не нравилось, и я, понимая, что делаю глупость, лезла в серьезные переделки.

Во втором часу из дому вышел Борис Леонидович. Он шел к калитке, а я смотрела ему в спину и удивлялась его стройности, выразительности чуть косноязычной, заплетающейся, как речь, походки.

Наконец, он вернулся и стал позировать.

— На днях я получила хороший подарок, — сообщила я ему, — «Охранную грамоту».

— Что вы говорите! От кого же?

— От одной моей знакомой, я вам про нее не говорила. Она большая ваша поклонница, и этот подарок — жертва с ее стороны и знак особого расположения.

— Да, но там много манерного. Тогда не я один, все этим увлекались. Когда теперь мне приходится перечитывать свои старые вещи в переводе, меня поражает, как там все случайно и не отобрано главное от пустяков. Правда, иногда бывают точные попадания. Вот мне прислали перевод на немецкий, там есть несколько старых вещей из «Сестры моей жизни» и «Поверх барьеров». Вы их, наверное, не знаете, я их потом выбрасывал, когда

составлялись сборники. Перевод очень хороший. Там есть строчка: «Орешник меня отрешает от дня», и переводчица уловила и смысл, и почему тут аллитерация — грубое шуршание листа. Но в общем поражаешься бессодержательности, бессмысленности того, что писал тогда, а главное — греху многословия. Даже «Марбург» этим многословием страдает.

— То, что вы теперь пишете иначе, не означает, что вам нужно презирать себя прежнего.

Слово «презирать» ему понравилось, он улыбнулся и со вкусом повторил:

— Нет, надо презирать.

— Вы, наверно, забыли, что в «Охранной грамоте» сами писали, что берете для характеристики времени случайные признаки, его можно было бы охарактеризовать совсем другими признаками, но результат получится один. Так что неотобранность примет была сознательным приемом. И потом все это сделано под напором страсти и покоряющей серьезности.

— Но там есть модернистские выверты. Они, правда, были и у Леонардо да Винчи, и у Толстого, и у всех, но они их выбрасывали и становились классиками.

— Классиками становятся не поэтому, а тогда, когда непривычное делается привычным.

— Нет, надо без пощады выбрасывать отходы. Надо так работать, чтобы получалось чудо, чтобы вообще не верилось, что это результат работы человека, а казалось чем-то нерукотворным. (Интересно, помнил ли он, что повторил мои слова, сказанные по прочтении «В перерыве»?) — Вот мне пишут о «Живаго». Пишут молодые люди, ну, скажем, девушка, прочитавшая роман, что после него она как в тумане, а все вокруг кажется иным, чем было. Значит, в нем сказано что-то существенное. Но сколько это стоит труда и мук! Все дело в количестве работы, в том, что считать законченным. То, что раньше для меня было концом работы, теперь ее на-

чало... И надо добиваться достоверности, чтобы жили герои, их время, а автор уходил, отходил в сторону, чтобы его не было.

— Такая маскировка нужна. Но только затем, чтобы полнее раскрылся автор. После первых непосредственных размышлений о судьбах героев наступают размышления о настоящем герое, об авторе.

— Да, это правильно. Это связано с тем, что вы говорили прошлый раз.

Я не ответила, поглощенная работой.

— Какие дни стоят! Это редко бывает на Севере, чтобы так долго стояла ровная жаркая погода.

— Да, здесь чудесно, а в городе тяжело. Я устала, плохо сплю, и жара угнетает.

— Бедная! Это вы от жары не спите?

— Нет, от усталости. Я давно не отдыхала.

— Но вы скоро поедете в путешествие. Вы уже взяли билет?

И он начинает заботливо вникать в подробности моей поездки, советует не брать этюдник и быть сдержанной в отношении впечатлений.

— И ничего читать не берите. Если это будет неинтересная книга, то это просто скучно и утомительно, а интересная захватывает и изнуряет. Постарайтесь поглупеть на это время. Нет, вы это хорошо придумали, это будет прекрасный отдых для вас. Правда, после такой долгой жары должно наступить похолодание, как бы оно не пришлось на вашу поездку, но, может быть, за это время успеет похолодать и опять потеплеть.

Он рассматривает профиль и говорит:

— Помните, когда случилась эта катастрофа, говорили о том, чтобы сделать барельеф.

— Из круглой скульптуры это невозможно.

— Надо обязательно начинать с уплощения? И барельеф и горельеф?

— Да.

— Вы, кажется, хотели отлить в бронзе?

— Да, это было бы хорошо.

— Более прочно?

— Это вечная вещь. Но об этом рано говорить, надо, чтобы сначала получилось, что я хочу; пока не получается.

— Ну что вы! Мне очень нравится, как вы работаете, и метод ваш, и отношение к работе. Это все мне очень близко, да я вам это документально подтвердил. Я знаю, что мне под этим придется подписаться, и это меня не огорчает, особенно этот профиль.

От этих слов мне хочется реветь, слишком велика разница между ними и тем, что он говорил раньше, а главное — вижу, что сбилась, напутала. Чтобы сменить пластинку, спрашиваю:

— А как движется пьеса?

— Последний раз я хорошо над ней поработал в воскресенье, а сейчас пришлось отложить. Есть срочные неотложные письма и кое-какие дела, в субботу даже придется съездить в город.

— А уже вышло иллюстрированное издание во Франции?

— Не знаю. Я ведь все узнаю случайно. Знаю, что обо мне пишут книги. Один американский издатель спрашивал, как я посмотрю на то, чтоб собрать лучшие статьи о романе в сборник «Памятник Живаго». Писали крупные авторы, Пристли писал. Я ему ответил, что нельзя все время доить одну корову, вы ей вымя оторвете. Я ему отказал, а потом такие сборники вышли, в том числе в Германии.

— Вот что меня интересует, Борис Леонидович: может ли автор в суждении о своей работе встретить что-то новое для него и правильное?

— О, истолковывают по-разному, углубляются, находят символы. Вот есть такой критик Уильсон, он во всем видит символы, даже в именах собственных. Например, какие-то эпизоды происходят на углу Молчановки и Се-

ребряного переулка. Я выбрал это место потому, что в семнадцатом году там бывал, там жила одна моя знакомая, дочь В. А. Серова, она уже умерла — все Серовы рано умирали от врожденного порока сердца. Я там и того ограбленного, избитого человека встретил. А Уильсон решил, что этими названиями я хотел сказать, что действие происходит между серебряным временем и периодом молчания русской литературы. Или вывеска «Моро и Ветчинкин». Моро я взял просто потому, что тогда в России было много французов-предпринимателей. Так он произвел Моро от русского «мор» и французского la mort, а Ветчинкина — призовите на помощь свой английский — расшифровал так: ветчина — ham, ветчинка — hamlet (Hamlet).

Я смеюсь и говорю:

— Ему бы следователем быть, но какое это имеет отношение к литературе? Но вы не ответили на мой вопрос.

И опять он уходит куда-то в сторону и прямо не отвечает.

Чтобы заставить его говорить, а самой иметь возможность молча работать, предлагаю тему:

— А как вы тогда в Тбилиси съездили? Вы мне не рассказывали.

— А-а. Мы туда полетели с Зинаидой Николаевной на ТУ. Я зря упрявился, когда раздавали карамельки. Говорят, в момент взлета надо делать жевательные движения, видимо, для этого карамельки и предлагают.

— И вас укачало?

— Нет, нет, не было ни рвоты, ни тошноты. Но было неприятное ощущение — давление сказывается на барабанных перепонках, было просто очень больно, и на сердце отозвалось. Но это только в момент взлета и посадки. Удивительно, что Зинаида Николаевна, которая подвержена головокружениям и всякому такому, хорошо все перенесла.



Она дала телеграмму, чтобы никто не встречал. Когда я вернулся, мне рассказали, что студенты несли меня на руках до дома и т. п. Ничего такого, конечно, не было.

Остановились мы у Нины Александровны Табидзе. Она не раз у нас гащивала и знает мой распорядок досконально, так что мне там был создан такой же режим, те же часы трапезования и прочее. Все это время дочь Нины Александровны не отпускала меня от себя. Она говорила, что для нее это такое счастье — общаться, разговаривать, гулять со мной. Но дело было не только в этом, а в том, что опасались эксцессов. И, видимо, не без оснований: грузины — народ экспансивный. Но все обошлось.

Я вам говорил, что беру туда Марселя Пруста, я его там дочитал.

Принимали меня хорошо. Многие грузинские писатели — лица официальные и занимают посты: тот — председатель Союза, другой — редактор журнала, но они приглашали. Правда, я никогда раньше не видал, чтобы грузины собирались меньше двадцати человек, а тут бывало двое-трое.

Вы о художнике Гудиашвили<sup>73</sup> слышали? В Москве была его выставка.

— Да, я знаю, но я на пей не была.

— Это модернист-эклектик. Как все крупные грузинские художники, он учился в Париже. У него натюрморты, очень много обнаженной натуры. Он еще и историк-археолог.

В Грузии ведут раскопки и находят много интересного. Вещи бронзового века, какой-нибудь кинжал, а какое изящество! Находят следы чуть ли не пребывания богов во времена Золотого Руна и как-то умеют вносить эту древность в жизнь: ну, например, какой-нибудь античный кувшин пускают в массовое производство, и это можно купить. Этих находок, видимо, так много, что ими полны не только музеи, но и квартиры любителей.

— Это и навело вас на мысль о грузинском романе?

— Да. У музеев, выходящих на проспект Руставели, есть зады, там среди сваленных фронтонов и порталов, в густых садах стоят каменные дома. В одном из них живет Гудиашвили. Он пользуется известностью: когда в Тбилиси приезжают иностранные делегации, то многие посещают его. У него интересная квартира: ему разрешили расширяться, и он делал это так: пробивал стену соседнего дома и распространял свою квартиру. Она наполнена его коллекциями, он их собирал всю жизнь по всем странам, и такое впечатление, что этой квартире нет конца, и даже когда выходишь на улицу, то кажется — вот опять тот сад, в котором был.

Гудиашвили уговорил меня читать у него, я читал «Когда разгуляется». И среди всех этих картин, ковров и древностей мне казалось, что я сам читаю как бы из картины. Стихи имели успех. У Гудиашвили есть дочка, балерина, полусумасшедшая. Она выражала мне свои восторги с восточным жаром. Мы пробыли там две с половиной недели. Это я уезжал из-за Макмиллана.

— Говорят, что Макмиллан хотел посетить вас и Эренбурга.

— Я не понимаю, почему нас иногда связывают. Сейчас я вам скажу вещь, которая вас поразит. Я в связи с пьесой читал кое-какие материалы по сороковым-пятидесятым годам, о времени, предшествующем освобождению. Просмотрел Герцена. Я понимаю и ценю огромную роль «Колокола». «Былое и думы» — бессмертная вещь. И я подумал, что Герцен, посыпанный кайенским перцем, и есть Эренбург. Это не то, чтобы публицистика, а россыпь знаний, сведений, мыслей, и часто богатых мыслей, но как все это отступает, становится ненужным, когда речь идет о создании чего-то достоверного и подлинного.

Но давно пора кончать. Он рассматривает портрет, и, видимо, сегодняшние результаты повергают его в сомнения. Он спрашивает, можно ли пригласить посмотреть

Алену, жёну старшего сына Евгения\*. Он приводит очень юную, миловидную женщину и знакомит нас. Они говорят раздражающие меня слова: хорошо, лучше, — а я вдруг смотрю на работу чужими глазами, и мне становится стыдно. Тогда я говорю:

— Вы мне помогли. Я сейчас взглянула на портрет со стороны и увидела, что это плохо, хуже, чем было осенью. И знаете что, идите обедать.

— На сегодня хватит? И вам хватит.

— Нет, я останусь поработать, я, кажется, сообразила, в чем дело.

И хотя я падаю с ног от усталости, я работаю еще около часу и вношу новые изменения.

На следующее утро, в полдесятого, я уже была в гараже. Мне было тревожно за портрет, а я выпалась и чувствовала, что могу поработать. Работала собранно, трезво. Когда устала, сходила выкупаться на пруд и опять работала. Бориса Леонидовича видела мельком, мы лишь перекинулись несколькими словами.

*6 августа*

Работалось быстро, жадно, настроение было легкое и подвижное. Наверно, поэтому меня ничуть не огорчило вероломство Бориса Леонидовича, который, как оказалось, уехал в Москву.

В начале пятого он вернулся.

— Зоя Афанасьевна! Я в Москву уезжал. Вам наши сказали? Я забыл, что сегодня четверг, вспомнил только на платформе. А с фасом что-то произошло, что-то изменилось к лучшему. Теперь хорошо.

— Правда? Мне так стыдно было прошлый раз.

— Зо-оя Афанасьевна!

Мы сговариваемся на понедельник. Он опять хвалит

---

\* Елена Владимировна Пастернак.

меня: «Молодцом!» — и почему-то благодарит. Поскольку благодарить не за что, я пропускаю это мимо ушей, но он опять повторяет:

— Спасибо!

— Ну за что?

— Нет, нет, спасибо!

Уходя, он посылает воздушный поцелуй. Смешно, старомодно и ужасно мило.

*10 августа*

Семейство вернулось из поездки, и Леня возился в гараже с машиной и мотоциклом.

Борис Леонидович появился в третьем часу. Он перебросился несколькими фразами с Ленией, потом посмотрел портрет и пришел в восторг. Он наговорил мне кучу хороших слов и, пока позировал, снова и снова принимался говорить о работе.

— Осенью, когда я хвалил портрет, в нем была законченность на определенном этапе и одно качество, которого вы снова достигли, но на каком-то более высоком уровне — зрелость.

— Значит, не зря я стала продолжать работу?

— Нет, не зря, портрет очень выиграл. Но так хорошо, как сейчас, уже не будет. Я этим вовсе не хочу сказать, чтобы вы бросали работу, — отвечает он на мою вредную улыбку. — Да это и не страшно, есть крепкая основа.

С моего согласия он зовет посмотреть Леню. Леня тоже находит, что портрет изменился к лучшему, в частности лицо не такое длинное.

— А что, если мы покажем портрет сейчас Зинаиде Николаевне?

Я задержалась с ответом, и он добавил:

— Или не надо?

— Лучше я уж сделаю, тогда.

— Тут в Доме творчества живет одна художественная

дама. Но очень милая. Она просила стихи, я ей долго не мог дать, у меня их не было, наконец, дал. Она совершенно невероятно их восприняла и написала мне ответные стихи. Ей, наверно, интересно узнать, что я о них думаю, я к ней зайду и скажу. Я обещал в три, но я немного опоздаю, до трех вам попозирую. Вы, наверно, думаете, что я торгуюсь, мелочен и вообще мерзавец.

Я смеюсь и говорю:

— Каждый сеанс я считаю незаслуженным подарком. Он громко перебивает меня какими-то возражениями. Замечает трещину в затылке.

— Это не опасно?

— Нет. Прошлый раз при перестановке голова свалилась на стол, и в затылок впиалась какая-то шестеренка.

— Бедная! Ну что вы не говорите, когда вам нужно переставить! Есть же в доме люди, вам помогут. Всегда так бывает: когда человек делает что-нибудь хорошее, на него еще сыплются неприятности. Вы кончайте, когда я уйду, я вам помогу...

Леня, Ленечка! — вдруг кричит он. — Можно твоим аппаратом снять портрет?

— Еще рано, Борис Леонидович. Когда кончу, возьму в город отливать, там сниму, у меня есть специалист по фотографированию скульптуры.

— Ну, в город возьмете! Когда это будет. Работа сейчас в хорошем состоянии.

— А на что вам снимки? У вас будет сам портрет.

— Ну, если у меня есть фотографии с портретов совсем непохожих, так должны быть снимки с такой удачной работы. Я их пошлю людям, которые мной интересуются...

Я сегодня хорошо поработал, иначе у меня было бы плохое настроение. Но, вообще, над пьесой удастся работать только два часа в день, остальное занимает переписка, да и читаю кое-что — мне присылают книги. Не авторы, нет. Вот прислали мне книгу неизвестного современного

американского автора, исторический роман о конце Римской империи. Я думал, читать не буду — исторический роман, разделаюсь с ним в пятнадцать минут, полистаю — и все. Но нет, это меня захватило.

— А как фамилия автора?

— Уилдер или Уайлдер.

— Вы не читали «Спартак» Фаста?

— Нет, но он у меня есть. Хорошая книга? Это тоже о Римской империи? Ну да, ну да.

— Фаст удивительно умеет передавать аромат эпохи. А это, по-моему, лучшая из читанных мною его книг. К сожалению, я читала не в оригинале, так вот у нас с книгами, а в переводе на немецкий.

— У меня он тоже по-немецки. Мне его подарила сестра Третьякова — был такой поэт во времена Блока, вы слышали о нем?

— Нет. Меня удивляет, как вы пишете пьесу. Мне представлялось, что, когда вы работаете, вы отрешаетесь от всего.

— Так было раньше. А сейчас много соблазнов. Вот наши вернулись, что-то рассказывают — тут пятнадцать минут уйдет, там. И переписка. Вот, говорят, не пишите, но ведь накопилась целая гора, когда-то надо с ней разделываться.

Он опять принимается говорить о портрете.

— Боюсь, что если вы будете еще что-то уточнять, то уже мне придется меняться, чтобы быть похожим на портрет.

— Не выдумывайте. Но, кажется, менять я больше не буду.

Между прочим, мне стало легче работать с тех пор, как я выяснила свои отношения с абстрактным искусством. Для меня теперь это кажется просто. Нереалистического искусства не существует. Все остальное самостоятельного, конечного значения не имеет и служит лишь лабораторией для него.

— Ну да, ну да, я именно это и говорю. Нет, нет, я вам этого не говорил, но совсем недавно я писал об этом. Модернизм существовал всегда, но это отходы, а искусство может быть только реалистическим.

— Мне важно было разобраться потому, что абстрактное искусство имеет для меня свою притягательную силу.

— Оно для вас притягательно, правда? Это сказывалось в том, что вы какую-то идею хотели внести?

— Скорее в чисто формальном смысле, в слишком вольном обращении с формой. А как относятся на Западе к таким вашим высказываниям?

— Они встречают сочувствие, там ведь немало людей, ценящих реализм. Есть в Америке такой журнал «Encounter», его редактор Спендер. Один из самых крупных поэтов сейчас Оуден, а это второй за ним. В его журнале было уже четыре статьи о «Живаго», в том числе статья Уильсона, о которой я вам говорил, — он во всем усматривает аллегории.

Я в каком-то письме к частному лицу написал, что такое толкование меня удивляет. Редактору стало об этом известно, и он предложил мне написать статью с изложением моих взглядов на это. Ну, статью я не имею права писать, а письмо ему напишу.

— А вы хоть сохраняете черновики?

Он в ужасе.

— Терпеть не могу эту бумажную канцелярию! Я так не люблю себя прежнего, что избегаю тех мест, где есть какие-то следы моего прошлого.

Помолчав, он спрашивает, в какой день я еду.

— В пятницу. Но в четверг я приду.

— Может быть, я смогу вам попозировать, может быть.

— Тогда приходите с такой прической, как сейчас. И вообще вам надо так носить волосы, без пробора, вот зеркальце, посмотрите.

— А, спасибо. Наверно, не в проборе дело. Просто

я себя очень хорошо чувствую. Нет недостатка в сне, и совесть не очень отягощена. Нет, не то, чтобы я был доволен собой, но день кончается с ощущением, что сделано все, что можно было, а это очень молодит. Татьяна Матвеевна, идите посмотрите! — зовет он домработницу. — Правда, теперь хорошо?

Но уже четвертый час, он уходит, а через полчаса ухожу и я, и на дорожке, ведущей вдоль дачи к шоссе, мы с ним опять встречаемся. Он решительно загораживает мне дорогу, снимает кепку и снова церемонно целует руку.

— Я еще раз хочу вам сказать, что работа очень хорошая и я рад, что с вами познакомился.

*13 августа*

В кухне, куда я, как всегда, зашла за ключом, была Алена. Видимо, по просьбе Бориса Леонидовича, она позвала мужа и Александра Леонидовича, чтобы они помогли мне переставить станок. Они принялись рассматривать портрет и высказываться, и Евгений пригласил меня посмотреть в «рояльной» рисунок Леонида Осиповича, сделанный сепией в 1916 году, когда Борису Леонидовичу было 26 лет.

Я взялась за работу, а через час пришел Борис Леонидович.

— Вы сейчас хотите позировать?

— Да. И только полчаса. Накопилось множество дел, получил телеграмму из Союза. Что они вам там говорили? Не слушайте их. И зачем-то потащили отцовский набросок показывать. И что он выдумывает — подбородок. Вон как у меня торчит подбородок, — показывает он на фотографию.

— Это не страшно. А что за телеграмма из Союза? Он объясняет и спрашивает:

— Ну вы чувствуете, что едете?

— Нет.



— Как вам не стыдно! То, что вы едете, гораздо важнее вашей работы здесь. Нет, не портрета, а того факта, что вы сегодня здесь работаете. Когда пароход отчаливает?

— В десять вечера.

— Ах, в десять вечера! Ну, вы сразу ляжете спать, а утром проснетесь, и будет, наверно, солнечно, будут успокоительно так работать машины. Шум машин похож на — вы этого не застали, а в моем детстве молоко кипятили по утрам на спиртовках — и они ровно гудели, молоко вскипало очень долго, и вкусно пахло чистым пламенем. Вы встанете, и мимо вас спокойно будут проплывать освещенные солнцем берега...

Он вовлекает меня в неначатое путешествие, задает тональность будущим впечатлениям, вникает в подробности, дает советы.

Потом я спросила:

— Борис Леонидович, а что это за «Письма из Тулы»?

— Вы их прочли?

— Нет, только держала в руках. Это было на американской выставке — для чтения там неподходящая обстановка.

Он очень заинтересовывается, и я ему рассказываю, что нашла на выставке среди книг русских авторов сборник, в котором были «Письма из Тулы»<sup>74</sup>.

— Вся моя проза до романа очень слабая. Это я написал в 1917 году.

— Вы, конечно, не знаете, когда кончите пьесу?

— Нет, не знаю. Но надо сделать в этом году, иначе она станет вообще нереальной. Сейчас в доме много народу, и это несколько отвлекает. Дом сейчас на восемь-девять человек...

— Может быть, осенью вам легче будет писать.

— Нет, я очень люблю лето, хорошо переношу жару. Я почти идеально устроен, у меня большая комната, вы ведь там были, легко устроить проскваживание. Я за-

крываю шторы, в комнате темно, и пишу при косом свете, падающем в щели.

— Я сегодня впервые разговаривала с вашим старшим сыном. У него костяк и пропорции лица ваши.

— Ну, разве что костяк. Выражение и цвет лица совсем другие. Вот кто на меня действительно похож, так это внук Петя. Вы его видели?

Полчаса давно прошли.

— Когда я говорю, что буду позировать только до такого-то часа, а потом задерживаюсь, то это не потому, что я тряпка или что я с вами заговариваюсь, а потому, что работа удачная, вы делаете хорошее дело, — почему же не помочь?

— Спасибо. Борис Леонидович, что вы думаете сейчас о Прусте после того, как его прочли?

— О, это долгий разговор. Отложим до вашего возвращения.

— Но вы нашли тот философский смысл, который искали? В чем секрет найденного, возвращенного времени?

Медленно, тщательно подбирая точные слова и останавливаясь для размышлений, он говорит:

— У Пруста есть такая мысль. Иногда какая-нибудь мелочь вызывает в памяти пережитое. И мы испытываем блаженство не потому, что вспомнили что-то дорогое, вспоминать мы можем и произвольно, а оттого, что ощущаем одновременно две точки во времени — прошлую и настоящую. У него есть такое место: он поскользнулся на плитах, покачнулся, но не упал — и вспомнил, что так же поскользнулся и не упал на плитах площади Сан-Марко в Венеции, и ощутил блаженство. Это потому, что такое ощущение двух точек сразу вырывает нас из неволи времени и приобщает к тому, что условно можно было бы назвать вечностью. Это очень верное наблюдение.

Я говорю, что не могла достать «В поисках утраченного времени» по-французски, начала по-русски, бросила — перевод был ужасный. Сложные периоды Пруста

в оригинале не вызывают у меня никаких затруднений, а в переводе было невозможно читать.

Он отвечает, что сейчас переводят, стараясь передать все особенности стиля и затемняя смысл.

— Вот был перевод «Дон Кихота». Появился новый, говорят, очень хороший. Там переведены все испанские завитушки Сервантеса. А на что они мне, когда я сквозь них не могу пробиться к смыслу? Я прежде всего хочу смысла, содержания. Нет, это не значит, что я проповедую сейчас примитивную пошлость. Мысль может быть какой угодно глубокой, но изложена должна быть ясно.

Короче, простоял он больше часу. Наконец, я сама отпустила его.

Прощаясь, он говорил:

— Желаю вам хорошо отдохнуть, выбросьте все из головы и ни о чем не думайте. Хорошо?

И, уходя, все осыпал меня пожеланиями и папутствиями.

*4 сентября*

Я вернулась из путешествия, хорошо отдохнув и полная жажды работать. Только приготовилась к лепке, как вошел Борис Леонидович.

— Как вы съездили? — спросил он, здороваясь.

— Чудесно.

— Я рад за вас. Я вам принес две фотографии, это летние, этого года. Снимал один чешский моряк с «Паллады» (так мне слышалось), а потом сам со мной снялся. По-моему, очень удачные снимки. Вы возьмите с собой в Москву, переснимите, может быть, увеличите, а то я у вас заберу, у меня только один экземпляр.

— А какие у вас намерения насчет позирования?

— Сегодня я не буду, хорошо? Вы когда следующий раз приедете?

— Назначайте, когда удобно, я пока свободна.

— Ну, я не знаю наперед. Только не 9-го, 10-го, 11-го. Меня пригласил на концерт американский дирижер<sup>75</sup> и прислал телеграмму с просьбой принять его. Это будет в один из этих дней.

Мы сговариваемся, что позировать он будет в понедельник 14-го, а я приеду в понедельник 7-го поработать без него.

— Ну как вы? Писали? — спрашиваю я его.

— Да, я каждый день пишу два часа утром. Пьеса подвигается. Она вполне реальна, осуществима, я ее вижу, но если б можно было проснуться и увидеть ее написанной! А потом меня начинает лихорадить ожидание писем. Приходит много приятного, и это щекочет. Это нехорошо. «Живаго» я не так писал.

— Борис Леонидович, выходит двухтомник Словацкого. Ваш перевод там будет?

— Не знаю, вероятно. Вы уехали до Венского конгресса молодежи<sup>76</sup>?

— Во время него. А что?

— Там меня уже называли «нашим». Задавали обо мне вопросы, и, кажется, даже дискуссия была. Меня выдают за талантливого переводчика. Когда я это слышу, меня взрывает. Сейчас переводится очень много; переводят все, Ахматова переводит. Перевод стал очень распространенным видом литературной работы. Но ведь это существование за счет чужих мыслей. Лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком!

— Поэтому вам и не хочется переводить Кальдерона?

— Ну да! Были еще другие мелкие просьбы. Был такой первый настоящий чешский поэт Незвал, он современный поэт, сюрреалист. Незвал почитал меня. Об этом известно. Его вдова просила меня перевести из него. Ну я пойду, еще часок поработаю. Известие о том, что вы здесь, застало меня за пьесой.

Портрет стоит слишком низко, в невыгодном ос-

вещении, я прошу его не смотреть, но он не слушает.

— Теперь уже портрету ничего не страшно. Это лучшее из всего, что меня изображали.

*14 сентября*

Шел дождь. Я провозилась с портретом около трех часов, когда пришел Борис Леонидович. Он был в синем плаще, кепке, которую снял, войдя ко мне, в сапогах и с зонтом. У него было опечаленное, взволнованное лицо. Он потянулся ко мне, поцеловал и сказал:

— Зоя Афанасьевна, я вас надуваю. Вы завтра можете приехать?

— Завтра — нет, послезавтра — смогу.

— Хорошо, тогда в среду. Я вам рассказывал, что я поссорился с Ливановым?

Я кивнула.

Он рассказывает об огорчившей его ссоре с одним из друзей дома.

— Зинаида Николаевна позвонила ему и сказала, что он может приехать. Но он поссорился с женой и приехал без нее и уже пьяный. Мало этого, он привез целую ораву: наверно, похвастался соседнему столику в «Национале», что может им меня показать. Прямо как у Достоевского, вы помните: у него все знакомства начинаются с того, что кто-то приезжает не один, а буйной компанией. И начались такие преувеличенные восхваления и словесловия, что мне не по себе стало. Я не нуждаюсь в преувеличениях, у меня есть своя реальная судьба. Все это лето я чувствовал себя хорошо, здоровым, нормально спал. А тут у меня такой неприятный осадок остался, что я принял снотворное и оно не помогло, потом принял еще раз.

Я решил написать ему письмо с тем, чтобы прекратить отношения. Ну и я не так сегодня встал и неважно себя чувствую.

— Бедный Борис Леонидович!

Что-то в этих словах его удивило, и он переспросил:

— Как вы сказали?

— Бедный! Еще и это на вас свалилось.

Он взял мою руку, погладил ее, поцеловал. У него было удивительное лицо: расстроенное и детски недоумевающее перед человеческой пошлостью\*.

В этот день ко мне заходили рабочие, чинившие крышу, домработница, шофер — всем им было любопытно посмотреть портрет, и все в один голос говорили, что по-хож.

*16 сентября*

Целуя руку, Борис Леонидович сказал:

— Вы меня скоро возненавидите за то, что вам столько возни со мной.

— Это намек на то, что вы готовы возненавидеть меня за все беспокойства?

— О, нет, нет! — улыбаясь, отвечал он.

— А вы опять совсем другой сегодня.

— Усталый?

— Что-то другое. Исчезла мягкость, лицо обтянуло кожей.

— Я мало спал.

---

\* Разбирая архив Пастернака, я нашла неопубликованное стихотворение без даты:

Б. Ливанову

Друзья, родные, милый хлам,  
Вы времени пришли по вкусу.  
О, как я вас еще предам  
Когда-нибудь, лжецы и трусы.

Ведь в этом видеи Божий перст,  
И нету вам другой дорога,  
Как по приемным министерств  
Усердно обивать пороги.

— Опять?

— Нет, нет, просто рано проснулся. Но я сегодня поработал.

— А что подделывают ваши герои?

— А, я наращиваю начало. То начало, что было написано, отодвигается в середину. Действие начнется в сороковых годах, я вам говорил?

— А потом перенесется на двадцать лет?

— Да, а потом еще раз на двадцать лет.

— А герои будут те же?

— Часть из них. Но с моей стороны недобросовестно говорить об этом, может, все изменится, может быть, вообще ничего не будет.

Он спрашивает о моей поездке на пароходе, из которой я недавно вернулась, задает много вопросов. Меня снова поражает его память. Во многих из этих мест он был 44 года назад — хорошо, если через год я буду помнить так живо.

— На Каме я вспоминала «Был утренник».

— А, — улыбается он, — вы знаете, что я не люблю своих старых стихов.

— Слышала, — грубовато отвечаю я, — если бы вы были правы, они бы так не действовали.

— А по этому стихотворению меня как-то принял отец. Есть такое отношение к литературе, что все крупные писатели были в прошлом, а в современности ничего хорошего быть не может. Оно мне нравится.

— Ну как это может вам нравиться!

— Нет, очень нравится. — Он опять чему-то улыбается. — Так вот, у отца было такое отношение. Он поклонялся Толстому, а все последующее — символизм, футуризм и прочее — не признавал. И моим писаниям в семье не очень сочувствовали. Отца порадовало бы только то, что я в последнее время написал. Жаль, что он не прочел романа.

А вот когда я ему показал это стихотворение «Был

утренник» — он меня полупринял, сказал: тут что-то есть. Потом в семье привыкли, что у меня есть какое-то имя, это их, конечно, радовало, но было не совсем понятно.

— И мать так отпосилась? Вы мне никогда не рассказывали о ней.

— Мать была хорошей музыкантшей. Когда отец ездил в Ясную Поляну, он брал ее с собой, и она там играла. Она училась в Вене у известного профессора Лешетицкого. Не непосредственно, а через одно-два звена он был учителем Рахманинова, Скрябина и других. В восемь лет она уже играла в концерте Шопена с оркестром.

— Она была профессиональной пианисткой?

— Нет. Играла в концертах, но очень редко. Она давала уроки музыки. Она вся отдалась семье, детям. Но она создавала определенную атмосферу дома. Без нее, вероятно, и отношения со Скрябиным были бы не такие.

— Значит, Скрябин — это ее дружба, не отца?

— Нет, общая.

— По-видимому, судьба вашей матери — это история еще одного женского таланта, загубленного ради семьи?

— Да. Так, как вы сказали, к этому относились сестры. Они чтут ее память, боготворят ее и преувеличивают. А преувеличивать не надо. Если говорить или писать спокойно, то о том же самом можно сказать гораздо больше, чем с истерическими ахами и восторгами.

— Да, сдержанность — признак силы чувства.

— Потому мне так неприятны были преувеличенные восхваления Ливанова, вовсе не из скромности, а потому, что в этом была фальшь.

— Вы ему написали?

— Да. Я взял всю вину на себя, написал, что это я к нему несправедлив, но попросил прекратить отношения. И еще я в этот же день написал своему переводчику в Америке.

— Воспользовались тем, что были злы?

— Да. Он переводит старые стихи, чего вовсе не



нужно делать, в связи с этим задавал мне всякие вопросы, в том числе о Лермонтове, я ему ответил, а он опубликовал, что состоит со мной в переписке и что-то напечатал из писем, не указав, какой удельный вес все это положительное в них занимало. Теперь я ему написал очень резкое письмо.

— Это профессор Калифорнийского университета?\*

— Да. Я вам это рассказывал? — удивился он.

— Вы о нем говорили мне в прошлом году.

— Такая же история вышла с Бурлюком<sup>77</sup>. Я вам ее расскажу.

Он задумался.

— Есть люди, одержимые страстью писать, графоманы. Это — простите мне такое сравнение — то же, что гомосексуализм: это их личное дело, но не к чему его выставлять напоказ.

Бурлюк — сведущий, образованный человек. Он был знаком с современным западным искусством и познакомил с ним Маяковского. Маяковский был ему за это благодарен. Бурлюк был организатором — устраивал встречи, вечера, но сам, с моей точки зрения, был пустым местом.

Однажды, я об этом писал, был вечер, на котором произошла встреча Андрея Белого и Маяковского<sup>78</sup>. Маяковский в то время обладал огромным обаянием, действовал ошеломляюще. Андрей Белый — талантливый человек, но в нем было много рассудочного, он все строил по схемам. Если у него появлялось естественное, нечаянное сумасшествие, он спешил тут же возвести целый поселок канатчиковых дач.

Так вот, на этом вечере Маяковский читал. Там были Ходасевич, Цветаева, Балтрушайтис. Белый слушал Маяковского вот так...

Борис Леонидович юношеским мгновенным движением вытягивает шею, приоткрывает рот и блестящим жадным

---

\* Речь идет, видимо, о Юджипе Кейдене.

взглядом впивается в меня. Мне даже как-то не по себе, но он тут же меняется.

— Белый говорил о своем впечатлении, сказал, что Маяковский — единственный, я с этим был согласен. А в коридоре подошел ко мне Бурлюк и стал говорить: «Ну зачем он так — «единственный», есть ведь и другие, вы, например».

Через несколько дней Маяковский должен был читать стихи публично. Андрея Белого пригласили, он с радостью принял приглашение. Маяковский имел огромный успех. После его выступления Бурлюк вдруг заявил: «Здесь в зале присутствует Андрей Белый, попросим его сказать свое мнение».

Ну к чему это? У него все построено на рекламе. Он уехал в Америку и стал там создавать всякие документы. Ну, например, он писал письма Горькому. Горький, как воспитанный, вежливый человек, ему отвечал. Если письмо было ругательное, то теперь фотографируется и печатается один конверт, а о содержании письма умалчивается. Или на пляже в купальном костюме сфотографирована Лиля Брик, а где-то сзади, в отдалении стоит Бурлюк. Ну что это должно доказать? Что существует какая-то связь между Бурлюком и Лилей Брик?

Бурлюк еще и живописует.

Его жена издает журнал «Colour and Rhyme»\* — он посвящен главным образом Бурлюку. Невозможно читать. Он гений саморекламы. Ну чего стоит известность, если знаешь, что сам искусственно соорудил ее своими руками?

Она мне присылает журнал через Союз писателей, это Союз мне передает. Я всегда избегал Бурлюка, и он мог это понять — столько ведь было случаев завязать отношения. Он действует назойливо.

— Но ведь старые литературные связи — это, вероят-

---

\* «Colour and Rhyme» (англ.). «Цвет и рифма».

но, единственный капитал, который он вывез в Америку. Надо ж ему на что-то жить. Это мне напоминает источник доходов несостоявшегося английского короля — я как-то видела в американских журналах нескончаемую серию его воспоминаний о жизни при разных дворах. А Бурлюк и сейчас пишет стихи?

— А, да.

И вдруг Борис Леонидович начинает барабанить какую-то несусветную чушь, что-то о голодном брюхе, вместившем нечто неудобоваримое\*. Лицо его глупо застыло, а в глазах бегают чертики, получается ужасно смешно.

Когда он говорил о деятельности Бурлюка в России и вспоминал связанных с ним людей, я подсказала — Каменский.

— Да, Каменский, — подхватил он. — Каменский — русский человек, который знает русский язык, грамотный. Но этого еще недостаточно.

---

\* Вот это стихотворение Д. Бурлюка:

#### Утверждение бодрости

Каждый молод, молод, молод,  
В животе чертовский голод,  
Так идите же за мной...  
За моей спиной.

Я бросаю гордый клич,  
Этот краткий спич!  
Будем кушать камни, травы,  
Сладость, горечь и отравы,

Будем лопать пустоту,  
Глубину и высоту,  
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,  
Востер, глины, соль и зыбь!

Каждый молод, молод, молод,  
В животе чертовский голод.  
Все, что встретим на пути,  
Может в пищу нам идти!

*10-е годы*

— «Ядреный лапоть пошел гулять по берегам», — напоминаю я.

— Это еще ничего, у него почище было. А кому все это нужно? Я этот профиль всегда вижу. Это хороший профиль. И в три четверти хорошо.

— Знаете, Борис Леонидович, каждый раз, как я прихожу, и это не только с этой работой, но и с другими, мне кажется, что ничего не сделано и надо начинать с самого начала. Я по приезде взялась со свежими силами заново.

Он ласково говорит:

— Вы такая умница и так все чувствуете, и искусство тоже. Но я хочу вам сказать, что должна быть в работе дисциплина и сроки.

— Они у меня назначены.

— Я вам это вовсе не потому говорю...

— Нет, нет, на этот раз вы бескорыстны, я понимаю.

Идет дождь. Я сетую, что легкомысленно оделась.

— Как, вы без пальто приехали? — ужасается Борис Леонидович.

— Нет, пальто вот висит. На голову ничего не взяла...

— Я вам что-нибудь дам.

— О, не беспокойтесь, я так добегу.

Я прошу его постоять молча, чтобы поработать над ртом.

Он терпеливо позирует, наконец, я его отпускаю.

— Я с вами еще не прощаюсь, я вам что-то скажу, — говорит он.

Борис Леонидович уходит в дом и вдруг появляется, неся в руках свою жесткую фетровую шляпу и старую серую кепку. Я, вероятно, вытаращиваю глаза, потому что, показывая на шляпу, он спрашивает:

— Этого, кажется, женщины не носят?

Я смеюсь.

— Безусловно не носят.

— А вот это вам, наверно, подойдет, — протягивает он кепку. — Наденьте.

Он водружает ее мне на голову.

— Даже идет.

— Наверно, я похожа на беспризорицу двадцатых годов. Вы зря беспокоитесь, ничего мне не сделается. Спасибо.

— Нет, нет, непременно возьмите. Больше ничего нет, а зонтик унесли.

Он относит шляпу в дом и под дождем без зонта уходит в калитку. Дождь льет как из ведра, и мне приходится, во избежание верной простуды, нацепить его кепку. Правда, я избираю путь на станцию не по шоссе, а по размокшей тропинке через поле, и всю дорогу меня разбирает смех.

*24 сентября*

Я все-таки простудилась и в субботу не поехала работать. В воскресенье 20-го я увиделась с Борисом Леонидовичем на концерте Станислава Нейгауза в Доме ученых, и мы условились на четверг.

Работу в этот день я начала с глаз. Это требовало неподвижности и молчания. Когда, наконец, можно было говорить, мы обменялись впечатлениями от концерта, и я обрадовалась их совпадению.

— Да, знаете, Борис Леонидович, я получила письмо от Асеева.

— От Асеева? — Он очень заинтересован, засыпает меня вопросами.

Я ему рассказываю, при каких обстоятельствах послала Асееву к его семидесятилетию письмо. Ответ пришел в день моего отъезда, домработница положила его в мою шкатулку и забыла сказать. Дня три назад я стала что-то искать в шкатулке и увидела нераспечатанное письмо. Оно оказалось милым, откровенным. Асеев написал кое-что лестное о моих стихах, приглашает повидаться.

— Обязательно повидайтесь с ним. Он хороший, ум-

ный, значительный человек. То, что я с ним не встречаюсь, — одно из пятен на моей совести. Но так сложна и заполнена жизнь, столько в ней всяких дел и забот, что не хватает времени. А если уж встречаться, то надо часто. А вы непременно поезжайте, вам с ним будет интересно.

— А ему? — тихо спросила я.

Он нахмурился.

— Мне неприятно это слышать.

Потом, поговорив о другом, сказал:

— Это не ответ на ваш вопрос, но вы так тонко и верно все понимаете и чувствуете, что он будет рад познакомиться с вами. И потом у вас есть самостоятельный опыт, это очень существенно.

— А знаете что, между прочим, он написал? «В Ваших стихах есть культура, но культура не самостоятельная, а скорее пастернаковского оттенка». Унюхал-таки!

— Что вы говорите! — он удивлен и обрадован. — А что вы ему послали? Наверно, «Дар» и «Творчество»?

— «Творчество» послала, а другие стихи вы не знаете.

— Прочтите, если это вам не мешает работать.

От волнения я читаю очень тихо, не своим глухим голосом стихотворение «Притяженье».

#### Притяженье

Ищут клены всю осень случая  
при поэте сгореть огнем.  
Тучи формы находят лучшие,  
проплывая перед окном.

Дождь танцует у самой оконницы,  
чтоб выносливостью привлечь,  
и даже у Сетупи-скромницы  
при нем особая речь.

Творятся преобразования  
при звуке знакомых шагов:  
все рвется обречь продолжение  
в судьбе его новых стихов.

Он слушает, подавшись вперед, внимательно, чуть улыбаясь. Одну строчку просит повторить. Не сразу говорит:

— Хорошие стихи. Особенно хорошо, что дождь танцует для того, чтобы привлечь выносливостью. В них нет ничего лишнего, они собраны. Вы когда к Асееву поедете?

— Ну, прошло столько времени, я написала снова, объяснила, как вышло, и спросила, можно ли теперь приехать. А вы за грибами ездили?

— Ездил в прошлый четверг. Лес был какой-то странный, я никогда такого не видел. Не было никаких поганок, валуев, изредка попадались лишь мухоморы, а если встречались грибы, то только белые, по немного. Набрали штук сорок. Сейчас очень хорошо в лесу...

— Вам хорошо писалось это время?

— Вчера я очень хорошо поработал. А сегодня встали что-то позже обычного, и я читал.

Не помню, как мы перескочили на философию. Он сказал, что много интересного есть у Ницше — не в части проповеди зла и силы, а в акценте на субъективное, даже на привередливое и несправедливое. Это объединяет его с Достоевским.

— Мне кажется, он привлекает вас потому, что такое отношение к личности восстанавливает попорченную индивидуальность.

Он чуть озадаченно отвечает:

— Может быть, так. А сейчас я вам пазову имя, которое вы, вероятно, не знаете. Вы, верно, заметили, что скандинавскую литературу отличает какая-то особая свежесть, оригинальность. В середине прошлого века был такой датский мыслитель Кьеркегор. Он считался писателем и поэтом, но это у него не так интересно, а вот очень примечательны его статьи. После них я прочитал сборник статей о Ницше, и он мне показался плоским.

Пастернак трудно для меня говорит о содержании

философии датчанина, подчеркивает, что это не эгоцентризм, нет, но из его слов становится ясно, что речь идет о какой-то гуманной разновидности субъективного идеализма.

— Мне кажется, что истина лежит не в субъективизме,— бодро вещаю я, и он улыбается такой самоуверенности.— И, вероятно, я прирожденный эклектик, но, по-моему, истина рождается в столкновении субъективного начала с объективным.

И он вдруг горячо соглашается с этим.

— И на мой взгляд, идеализм и материализм не так уж исключают друг друга. Скажите, Борис Леонидович, вы читали какие-нибудь оригинальные произведения марксистской литературы, первоисточники?

— Читал, но давно «Диалектику природы».

— Мне нравится всегда выслушивать обоих противников, прежде чем принять чью-то сторону...

— Вы правы, но я не могу читать, не думая о том, к чему это привело.

— Скажите, Борис Леонидович, какое влияние, по-вашему, оказали ваши занятия философией на ваше творчество?

Он трижды открывал рот, чтобы ответить, но он не так стоит, как мне нужно, и я ему не даю начать, требуя, чтоб он повернулся. Он разозлился и сказал:

— Я лучше постою молча.

Но это меня не устраивает, и немного погодя я спрашиваю:

— Есть сейчас на Западе по-настоящему значительные поэты?

Он в затруднении:

— Я как-то не готов к этому вопросу. Э-э... Погодите. Ну, конечно, в Англии есть. Эллиот и Оуден. Во Франции хорошие поэты Кокто и Рене Шар.

Я их не знаю, и он предлагает мне антологию современной английской поэзии.



Он ушел, а через час что-то заставило меня оглянуться, и я увидела, как он под дождем вытаскивает из-под лестницы клеенки, чтобы покрыть вынесенный на террасу мой большой станок. Я побежала к нему.

— Пустите. Больше никому это сделать!

— Ничего, ничего. Я сам. Вы промокнете.

— А вы?

Мы подергали друг у друга клеенки и вместе отнесли их на террасу и застелили станок.

Я ушла в гараж, и он снова показался, на этот раз без плаща — в синем пиджаке, заправленных в сапоги брюках и в кепке.

— Опять вы под дождем ходите! — проворчала я.

— Я вам книжку принес.

Перешагивая через лужи, он пошел в дом.

*28 сентября*

Я работала одна. Около часу ко мне подошел Борис Леонидович, чтобы перенести сеанс со вторника на среду. Мы перекинулись несколькими фразами.

— Я вот что хотела вам сказать. Мне говорили, что «Голос Америки» передавал выступление Шолохова. — Все лицо Бориса Леонидовича выражает напряженное ожидание удара, и я спешу его успокоить: — Нет, нет, ни слова не было плохого о вас, он только сказал, что вы живете как отшельник, поэтому он с вами не знаком, но это потеря для вас, а не для него. Я подумала, что вам, может быть, надо это знать.

— Ничего ругательного не было?

— Нет. И вообще, мне кажется, будут какие-то изменения к лучшему.

— Нет. Никаких уступок не будет. Изменения к лучшему будут, но не так скоро и не с той стороны, откуда мы их ждем. Я думал о том, что вы мне сказали: надо выслушивать обе стороны. Вы совершенно правы. Но если бы вы на протяжении многих лет чисто эмпирически

сталкивались с подлостью как с системой, вы не стали бы читать философские книги об этом.

30 сентября

Снимая белые, грубой шерсти перчатки, Борис Леонидович извинился, что так поздно пришел. Он стал рассматривать работу с какой-то угрюмой сосредоточенностью.

— Ну, теперь можете говорить про портрет все, что угодно, меня это уже не волнует. Я получила оценку от самого авторитетного судьи, — сказала я.

Он явно заинтригован.

— От кого же?

— Тут ко мне в прошлый раз приходили две девицы.

— Ваши знакомые? Вы пригласили?

— Нет, ваши. Одной из них два года, другой пять.

Младшая спрашивает: «Что это?» А старшая говорит: «Разве не видишь, Борис Леонидович».

— А, это Таня, наверное.

— Да, мы познакомились. Я ее спросила: «Тебе кто-нибудь сказал, что это Борис Леонидович?» Она ответила: «Сама догадалась».

Ему, видимо, понравился этот случай.

Я заговорила об антологии.

— Неужели вам нравится Эллиот?

— Нет, не очень. Оуден лучше, правда?

— Да, но тоже не слишком. Чтение этой антологии навело меня на размышления о русской литературе. Ей свойственно в ее лучших представителях бить по главным целям, решать важные проблемы, а тут пусть умное и талантливое, но копанье в чем-то второстепенном, мало-значительном. Эллиот открывает какие-то новые миры, но они мне не нужны. Вот ваши стихи мне необходимы как хлеб, как составная часть духовной жизни.

— Ах, оставьте! — перебивает он.

— Да погодите, я говорю не о вас. А без того, что они

делаю, я могу прекрасно обойтись, это для меня роскошь. И это любованье собственным старческим маразмом у Эллиота!

— Да ведь это все позировање, ломанье!

— Тем хуже!

— Вы правы. Все, что вы говорите, очень верно, я могу обеими руками подписаться под этим. Вот и надо писать о важном. Мне хотелось бы, когда я развяжусь с пьесой... Но я не могу сказать с такой определенностью, как прошлой осенью, но, по-видимому, будут какие-то ухудшения в отношении меня. Нет, не корешные, не такие уж страшные, и они тоже пройдут, но пока было много предложений на переводы, и я от них отказывался, а после пьесы я наберу их побольше.

— Чтоб накопить денег, пока не придут новые неприятности? Как досадно! Неужели нельзя без этого обойтись?

— А как?

— Может быть, этого можно избежать? Так ли это необходимо?

— Нет, ничего нельзя поделывать, придется.

— Это ожидаемое ухудшение связано с пьесой?

— Нет, нет, совсем с другой стороны. Ну, вы были у Асеева?

— Завтра поеду. Можно ему сказать, что я леплю ваш портрет?

Он удивлен вопросом:

— Да, конечно!

— Я потому спросила, что когда-то у нас был уговор не говорить об этом никому лишнему. Я до сих пор его соблюдаю.

— Можете говорить, кому хотите. Это потому было, что я не хотел, чтоб другие, кому я отказывал, обиделись. А пусть обижаются!

Разговор снова зашел о связях между философией, искусством и жизнью, и я сказала, что у меня есть

формула: искусство — одна из форм жизни. Не отражение, не познание ее извне, а такая же форма жизни, как другие. И он очень одобрил эту мысль. Я еще заметила, что яркие, сильные произведения могут рождаться только у яркой, сильной личности, — и он, выражая свое согласие, сказал вдруг:

— Да. Нельзя быть в искусстве жар-птицей, а в быту мокрой курицей.

Внезапность и точность этих слов меня насмешила, он был рад эффекту и смеялся вместе со мной.

— Еще тогда, когда я вам прошлый раз говорил о Ницше, я получил из Франции книги о нем — воспоминания и статьи. Я их мог бы так же прекрасно прочитать по-немецки, но вот пришлось по-французски. Он меня очень разочаровал. Он вызывает жалость, это неудачник. У него были способности к музыке, он прекрасно импровизировал. Он был почти мальчиком, и его игру слушали Лист и Вагнер. Потом он рисовал. Но как-то из этого ничего не вышло, и он занялся философией.

Борис Леонидович подробно и с увлечением говорит о легкости, с какой можно создавать эти произвольные, не связанные с жизнью и опытом построения, и о том, что философия обоснованная, отражающая нечто реальное, может создаваться только людьми, занятыми созидательным трудом. В пример приводит Пушкина:

— Как он хорошо думал...

Он смотрит на часы и говорит:

— Через десять минут я буду принимать душ на свежем воздухе.

В этот день было градусов семь выше нуля с ветром.

— Вы что, в дервиши записались или в йоги? Что за самоистязание?

Он улыбается.

— У меня вообще холодный режим. Его несколько нарушила болезнь, а теперь я опять это делаю.

— А как в вашей работе, конец еще не провидится?

— Она движется, но медленно. Пьеса большая. Я работаю один час в день.

— А почему так мало? Причины этому внутренние или внешние?

— Просто запаса свежести хватает на один час. А потом начинается ожидание писем.

— Борис Леонидович, а что это за явление — интернациональные конгрессы поэтов в Бельгии?

— Это я вам что-то говорил?

— Нет, в «Литературной газете» статья о конгрессе.

И вместо того чтобы рассказать мне, он спрашивает про статью, а потом говорит, что тот старик из Бельгии, с которым он переписывается, прислал ему статью о конгрессе, в которой что-то было про Бориса Леонидовича.

Сеанс кончился.

Я мыла в ванной руки, когда туда зашел Борис Леонидович. Он был в пижаме, со спутанными волосами, с полотенцем через плечо. Когда он такой домашний, в нем есть трогательная привлекательность — исчезает волевое самосознающее начало.

*7 октября*

Я отвернулась от работы и смотрела, как он шел от дома к гаражу. Когда мы встретились взглядом, по лицу его стала разливаться та улыбка, когда он возвращает губы на место не сразу дающимся волевым усилием. Весь сеанс он беспричинно улыбался и был заразительно радостен. Он посмотрел портрет.

— Опять произошло значительное улучшение.

Он позировал как вкопанный, а я напряженно и сосредоточенно работала.

— Я хорошо стою?

— Как первоклассный натурщик. Вы сегодня поработали?

— Да, писал.

— А вы были правы, разговор с Асеевым состоялся, —

сказала я. — Когда я отправлялась туда, я думала: ну чего я еду, о чем я буду разговаривать? Но проговорили мы с ним шесть часов.

— Ого!

— И не потому, чтоб я так забылась.

— Он вас не отпускал?

— Даже не совсем так. Когда я поднималась уходить, он заводил длинный разговор или начинал читать стихи.

— Я вас намеренно не спрашиваю, говорили ли вы с ним обо мне. Мне важно одно знать: сказали ли вы ему, что я о нем хорошо отзывалась? Раньше этого не было, и это было бы ему интересно.

— Нет, не говорила. Он к вам несправедлив. Он резок на язык, я этого не желала терпеть, и мы разругались. Был момент, когда я думала — переведу разговор на другую тему, посижу минут пять и уйду. Но он сказал: вам делает честь, что вы его так любите и защищаете. Я его ругаю только тем, кто его любит, а перед противниками защищаю. Но сквозь все, что он говорил, чувствуется огромная к вам любовь. Он читал множество ваших стихов.

— Старых?

— Да, старых. В поэтическом его хозяйстве хаос, а ваши письма лежат в ящике стола сверху, подколотые к картонкам с перепечатанным на машинке текстом.

— Это, наверное, очень старые письма.

— Вероятно. Одно того времени, когда вы переводили «Антония и Клеопатру».

— Нет, нет, я вспомнил, одно письмо я написал не так давно. Он вас чаем поил?

— Да.

— И с женой вы познакомились?

— Да. Принимали гостеприимно. В отличие от некоторых моих знакомых поэтов он охотно читал свои стихи. Два мне понравились. Он тут же вытащил машинку и перепечатал их для меня.

— Это, наверно, старые стихи? — ревниво спросил Борис Леопидович.

— Да. Одно времён войны, а второе написано в 47-м году. Вы это знаете?

Зачем вы не любите, люди,  
Своих неподкупных поэтов...

— Да, знаю. Это о Гоголе из поэмы «Гоголь». А как его здоровье?

— Видимо, неважно. Выглядит он старым.

— Эх, Коля, Коля Асеев, — вздохнул он.

— Одну вещь из разговора с ним вам, по-видимому, нужно знать. Он рассказывал мне о Марине Цветаевой и о её дочери. Сказал, что получал от Ариадны злые письма<sup>79</sup>, а потом ему как-то надо было переговорить с ней, и она сказала, что не хочет с ним разговаривать. Он недоумевает, почему. Тогда, не называя источника, я сказала ему, что есть такая версия, будто Цветаева из Елабуги обратилась в Чистополь с просьбой принять её в судомойки, что это решение зависело от него и от Тренева, они отказали ей в этой просьбе, и тогда Цветаева повесилась. Он был ошеломлен. По лицу было видно, что он впервые сталкивается с таким обвинением и оно кажется ему чудовищным.

— Но у него не создалось впечатления, что это я говорил?

— Нет, нет. Он вместе с женой стал вспоминать обстоятельства, и оказалось, что именно он и Тренев поставили вопрос о принятии Цветаевой в Союз. Некий Ляшко, стоявший во главе чистопольского «правительства», кричал на них, что они пытаются протащить эмигрантку в советскую организацию и т. п. На заседании, где это решалось, Асеев отсутствовал, был болен, но прислал записку, что считает необходимым принять Цветаеву в Союз, — сейчас эта записка в Чистопольском музее. И потом после смерти Цветаевой в семье Асеева жил Мур.

— Да. В «Биографическом очерке» Асеев и Цветаева упоминаются рядом. Я там был очень экономен в словах, всему уделял лишь несколько слов. Я говорю о том, что в то время только они умели писать стихи — никто не умел, и Маяковский не умел. Аля на меня нападала<sup>80</sup>: как ты мог поставить их имена вместе, ведь из-за него мама погибла. Я б тебе простила, если б ты забыл маму, изменил ей — ты не знаешь, как она к тебе относилась, как она о тебе писала, у нее сундуки полны были писем о тебе, — но этого я тебе не прощу.

Это испытанный, надежный человек, я в ней уверен, как в каменной горе, и все же я преспокойно оставил в очерке все как было.

Меня ведь тоже обвиняли в том, что я виновен в аресте Мандельштама, причем знать о разговоре Сталина со мной могли только от меня. Это я ведь сам рассказывал, что Сталин меня упрекнул: что же вы отрекаетесь от товарища, я бы на вашем месте защищал его. Я ему тогда ответил: помилуйте, по весь этот разговор и происходит потому, что я за него просил и я за него ручаюсь.

Да, а Асеев, видно, ни очерка, ни романа не читал, судит с чужих слов. Я ведь в очерке хорошо о нем отзывался.

— Про роман он что-то говорил, во всяком случае первую часть он знает.

— Ах да, я ему читал (послал?) первую часть. А остального он, наверно, не знает<sup>81</sup>. Но при таких давних, проверенных отношениях с людьми временные недоразумения не имеют значения... Я вам, кажется, говорил, что решил взяться за переводы. Кальдерона мне устроили для легализации моего положения, и понималось, что можно его не переводить. Я по этому договору ничего не получил и ничего никому не должен. По сравнению с Шекспиром Кальдерон — оперетка. Я вам это говорил?

— Так вы его раньше не ругали.

— А тут оказалось, что это вправду нужно. Я по-



смотрел договор — срок через две недели. Это, конечно, чепуха. Я позвоню, если мне дадут два месяца, я сегодня же примусь. Есть еще Незвал, я вам говорил, и еще кое-что. Это даже не оформлено.

— Но вы будете оставлять час в день для пьесы?

— О, да. Утро — да.

— Смотрите!

— Незвала я начал. У него есть стихотворение на тему, уже сто раз обыгрывавшуюся в поэзии, — о собственной незаменимости. Ну о том, что, когда он уйдет, ничто его не заменит. Но он по-своему и хорошо решил ее. Это я помню. — Что-то побормотав, он начал читать:

Судьба, о судьбина,  
Как всех я покину,  
Мне в целой вселенной  
Не будет замены.  
Появятся вещи  
Того-то, того-то,  
Слова будут хлеще  
И тоньше остроты.  
Но суть не во вкусе,  
Не в блеске работы.  
Стихи мои — гуси  
Порой перелета.  
Часть стихотворений  
Погибнет в дороге,  
А те, что смиренней,  
Снадутся в итоге.

Как он читает! Тихо, раздумчиво, вслушиваясь в мысль, и удивляясь ей, и восхищаясь. Вокруг стало темно, все исчезло, и только от лица исходило теплое свечение. И все это с абсолютной простотой и сдержанностью. Мне, как художнику, это не вполне понятно — как достигается такая сила впечатления при полном отсутствии видимых средств выразительности?

Ничего этого я ему не сказала и, переборов волнение, спросила:

— И на остальном у Незвала лежит печать такого своеобразия?

- Да. Я его недооценивал. Стихи его индивидуальны. Он называет двух поэтов, от которых шел Незвал.  
— Ну, и меня он высоко ставил.

Оказывается, Незвал давно хотел установить между ними контакт, приезжал к нему, несколько раз они встречались, но Борис Леонидович оценил его лишь как милого, приятного человека, а как поэта только теперь, после смерти. Незвал умер год назад, и вдова его очень просила Бориса Леонидовича сделать перевод.

— Незвал — первый поэт Чехословакии, он был признан. По убеждениям он социалист в широком понятии. Ну, он хотел, чтобы не было угнетения, чтобы рабочий не работал на хозяина, был свободным — у него хорошие взгляды.

— Ну хорошо, что вы его теперь оценили, хотя лучше цветы при жизни.

И, вероятно, в связи с этим Борис Леонидович высказал мысль, что отклик художник должен получать при жизни.

— А зачем? — спросила я.

— Нет, что-то, не знаю, слава или признание, или еще какой-то ответ в жизни должен быть, это нужно.

— Ну зачем, зачем? — настаивала я.

— Потому что искусство живет в других.

— Вы правы, но плохо, что вы это знаете. Это ослабляет. Я буду очень рада, если в пьесе вы подыметесь выше того, что вами уже достигнуто.

Заговорили о пьесе.

— Ну, пьеса пока еще знаете что? Перед тем, как оклеивать стены обоями, их оклеивают газетами. Так вот, сейчас пьеса — это газетный слой.

— Подмалевок?

— Да. Это пока запись сюжета и событий, литература, а уже потом будет становиться жизнью.

Не помню, почему он упомянул, что роман снимается в кино, кажется, американцами совместно с немцами.

— И вот одна из моих корреспонденток из Германии, не из тех поклонниц, с которыми завязалась по письмам дружба, но и не равнодушная, она где-то посредине, написала мне, что только я могу это остановить и чтоб я это сделал, потому что где же найдется актер, чтобы сыграть Юрия Живаго, роман изуродуют. А я вовсе не хочу вмешиваться, откуда я знаю, что выйдет?

По-моему тоже, роман не надо экранизировать, но я знаю, что настаивать бесполезно, и перевожу разговор.

— А вы фильм «Война и мир» видели<sup>82</sup>?

Он увлеченно подхватывает тему:

— Да! Многие говорят, что это не Толстой, а мне понравилось.

— По-моему, надо к таким вещам подходить как к совсем новым произведениям, забывая о первоисточнике и не ища с ним аналогий.

— Это верно. Я и не допускал никаких сравнений с Толстым.

— Главное, живет или не живет.

— Живет, живет! Мне говорили, что актриса, которая играет Наташу, какая-то особенная. А мне показалось, что она не так уж выделяется, что все слито. И сделано это с такой любовью к России! Я, например, совсем не помнил у Толстого, как возвращаются после пирушки с Долоховым, что рассвет, какая-то улица с булыжниками. Наверно, они многое сами внесли.

— Да. Ведь даже если чтец вам прочитает слово в слово знакомый рассказ, то это уже будет новый, чем-то незнакомый вам рассказ, а тем более перевод на язык другого искусства и сделанный людьми другой страны.

— Это очень верно, очень правильно, что вы говорите.

— Нелепое сравнение, но меня не слишком огорчило, что вы не нашли Лару похожей. От вашего толчка у меня родилось что-то другое, свое, и это хорошо.

— Верно. А я думал даже, что вы скажете это о портрете. Конечно, плохо, когда совсем нет сходст-

ва и трудно узнать, но должно быть свое толкование.

— Да и невозможно быть всеобщим угодником.

Это выражение ему понравилось.

Я ему сказала, что Асеев высказал интересную мысль — я с ней пока ни согласиться не могу, ни опровергнуть ее — надо подумать, но сама постановка вопроса мне нравится — это о внутреннем родстве Маяковского и Достоевского<sup>83</sup>.

— Так это я говорю! — воскликнул Борис Леонидович. — Это и в очерке есть, и в романе, когда в поезде Живаго разговаривает с немцем.

— Правда?

— Ну да, ну да, я говорю о сходстве Маяковского с молодыми героями Достоевского.

— Вот как! Но Асеев уверен, что это его мысль, он написал статью о причинах гибели Маяковского и обосновал ее сходством Владимира Владимировича с Митей Карамазовым.

Уславливаясь о следующем сеансе, я великодушно сказала:

— Вам еще два осталось.

— Как два? Один!

— Так ведь мы прошлый раз условились, что еще три, не считая того сеанса.

— Хитрая какая!

— Ну ладно, совсем не надо.

— Нет, нет, давайте.

— Обойдусь.

— Да нет же!

— Ну что это в самом деле!

— Хорошо, я вам буду позировать.

Смеясь, он ушел.

Минут через сорок мы встретились у калитки. Он опять издали улыбался, как-то непроизвольно и пытаюсь сдержать улыбку.

— Получили отсрочку на Кальдерона?

— Нет, это вечером.

Не переставая улыбаться, он снял кепку и, почти-точно почему-то склонившись, церемонно поцеловал руку.

— Мы с вами сегодня хорошо поработали, — сказал он на прощанье.

*12 октября*

В этот понедельник я снова приехала для самостоятельной работы. Внизу в доме не было ни души, и я сама взяла на кухне ключ. Однако мне нужна была горячая вода греть пластилин. Стоят странные для начала октября погоды — почти каждый день идет снег, подтаивает, но пейзаж полузимний. Работать холодно, а главное, так твердеет пластилин, что с ним очень трудно справиться. Я заглянула на кухню — никого. Через полчаса заглянула опять и на этот раз наткнулась на Бориса Леонидовича.

Он был очень бледный, какой-то тихий и странно ушедший в себя. Он взглянул на меня отсутствующим взглядом.

Я объяснила, что мне нужно.

— Я вам поставлю. В какой кастрюле вам греют? Давайте в этой. Никого пет дома.

Наливая воду, он, отвернувшись и невнятно, объяснял, где Татьяна Матвеевна и Зинаида Николаевна. Я зажгла газ, он поставил кастрюлю, и в этот момент подкатила машина с домработницей. Оказывается, ездили за капустой для засолки, привезли целую гору.

— Я сейчас, — рассеянно сказал он и пошел в столовую, а я ушла лепить.

*13 октября*

В десятом часу позвонил телефон.

— Зою Афанасьевну можно?

— Я слушаю.

— Зоя Афанасьевна, вы завтра придете?

Голос был молодой и звучный, я не узнала.

— Кто это говорит?

— Это Борис Леонидович.

— Да, приеду.

— Приходите, я вам постою.

— Мы так и договаривались, почему вы?..

— Я вчера ушел гулять, а когда вернулся, вас уже не было.

— Нет-нет, все в порядке.

— Всего доброго.

— Спокойной ночи, Борис Леонидович!

*14 октября*

Борис Леонидович пришел позировать.

— Наверно, я очень изменился за последние три-четыре дня.

— Вы выглядите расстроенным.

— Еще и сейчас? Ну, это совсем не то, что было позавчера.

На щеке у него застыла слеза.

На мой встревоженный взгляд он отвечает:

— Нет-нет, это огорчения не политические, не литературные, а личные. Избежать этого нельзя, и причины неустранимы. Поэтому я был с вами неразговорчив прошлый раз.

Без всяких вопросов Борис Леонидович принялся рассказывать, что переводит Кальдерона, сегодня много сделал.

— Как сегодня? Вы же сказали, что по утрам будете пьесу писать?

— Нет, надо за него взяться и сразу сделать побыстрее, постараться перевести за месяц, а пьесу пока отложу.

— Мы так не договаривались! — с шутливым возмущением восклицаю я.

— Ничего, ничего, кончу Кальдерона, возьмусь всерьез за пьесу.

— Да, а потом Незвал будет или еще что-нибудь.

— Незвала я пока отложил, но я его сделаю. Я живу не в идеальных условиях, у меня семья, и много людей от меня зависят. А пьесу страшно хочется написать. Я уже заканчиваю свой жизненный круг, осталось мало времени, но ее хочется завершить.

— Ах, кто об этом что-нибудь знает! И дело не в абсолютном времени, а в том, как и чем оно наполнено.

— Да, это верно. А к Кальдерону я был несправедлив. Это при первом соприкосновении он казался таким, а за внешним слоем есть другой, глубже и интереснее. Это очень высокая культура выражения, гораздо разработанней, чем у Шекспира. Такая разработанная, что многое становится условностями, символами. Там есть место, когда полководец рассказывает марокканскому султану о появлении испанского флота. Сначала вдали показались скалы, потом они превратились в облака, потом в плывущих чудищ и, наконец, в город с башнями, и все еще нельзя было догадаться, что это корабли.

У меня в записи ничего не вышло, а рассказывал он, как сказочник, с поразительными деталями, заставляя все видеть.

— Так ведь это же чудесное описание перевернутого миража! Возьмите книгу Миннарта «Свет и цвет в природе» — там даже рисунки к этому явлению есть.

— Мне кто-то говорил про эту книгу, кажется, она у нас есть в доме.

— Такие книги должны читать литераторы, а не всякую там художественную литературу. Это прекрасная книга.

— Ну что у вас нового? Где вы были, что видели? Как здоровье Дмитриева?

— У меня было недавно потрясение. Я впервые слышала баховские «Страсти по Иоанну».

— Где это? Как вам удалось?

— У Дмитриева. Ему принесли немецкие пластинки.

Мы читали Евангелие от Иоанна, ваши стихи и слушали Баха. Вы знаете, что я склонна к преувеличениям и временным увлечениям, но сейчас мне кажется, что это самая великая музыка, какую я слышала.

— Это там петухи поют, скрипочка так делает? — показывает он неуловимым жестом.

Я не помню этого, произведение огромное, а слышала всего один раз. Я говорю:

— Не думаю, чтобы русские люди имели когда-либо возможность слышать эту вещь целиком.

— Ее передавали по Би-би-си как-то. Откуда же я запомнил эту скрипочку? А разве Дмитриев не знает этих стихов?

— Нет.

— А мне казалось, ему передавали их. Вы с ним часто видитесь?

— Да. Собственно, вижу не так часто, но звонит он каждый день. Не понимаю, почему его тянет ко мне.

— Это как раз понятно.

— Но мы такие разные. В искусстве — в своих рисунках — он символист, а я стою на реалистических позициях.

— Искусство объединяет людей, если они стоят на каком-то уровне, независимо от направлений. Он говорил вам, что я был на выставке его сына?

— Да. Он говорил, что вас пригласила какая-то женщина, потом покончившая с собой.

— Кто же? Я не помню.

Он думает, потом с болью восклицает:

— Простить себе не могу, что сразу не вспомнил! Ее фамилия Александрова. Он говорил вам? Ну как я мог сразу о ней не подумать! Очень хороший была человек.

Потом он спрашивает о моей жизни.

Я говорю, что впервые за всю жизнь живу в комнате, в которой, кроме меня, никого нет.

— Вы не можете себе представить, какое это благо!



— Я это очень хорошо понимаю.

— Откуда? — с недоверием спрашиваю я, думая о его комнате.

— Устаешь от разговоров, от внутреннего диалога. Хочется тишины. Поэтому я люблю гулять один...

— Недавно я прочла «Марию Стюарт» Цвейга, — сказала я ему.

— Я ее не читал.

— Не понимаю, зачем нужна эта книга и почему вообще вокруг Марии Стюарт столько шума. Цвейг все время противопоставляет ее Елизавете, все симпатии его, в общем, на стороне Марии, а меня гораздо больше привлекает Елизавета. Основой ее существования было соиздание, а у Марии — расточение и честолюбие.

— Я ведь много занимался Марией Стюарт, изучал документы, ее без конца идеализировали и воспевали в литературе, но я думал о том, что вот сила ее чувств, выразившаяся в том, что она пошла на убийство, — это скорее жестокость века, а не личное ее свойство.

Разговор как-то переходит опять на Ницше.

— Я переписываюсь с одним французом. Он страстный поклонник Ницше, он знал его и живет им, и даже каждый год ездит в Швейцарию, где жил Ницше уже сумасшедшим. Это он прислал мне целую кучу книг о Ницше по-французски, как только узнал, что я им интересуюсь, и просит меня написать о нем. А я испытал разочарование в Ницше и написал письмо, в котором объяснял, почему я не могу этого сделать, ну, вот потому, что он выразитель средних обывателей с их стремлением раздуться до сверхчеловеков и так далее. Он мне ответил, что им дорого все, что я написал о Ницше, что оценка эта верна.

— А вы написали, что такое человек, для немецкого журнала?

— О, этот же француз заклинал меня не писать, по-

тому что такие запросы обращают к людям с именами захудалые журналы, чтобы поправить свои дела. Я им написал, что если я за всю свою жизнь своим творчеством не ответил на этот вопрос, то вдруг за короткий срок найти на него ответ вовсе не могу.

— Но все-таки вы думали об этом? Что именно?

— Меня человек интересует только исторически.

— В этом есть что-то бездушное.

— Бездушное? — Он задет. — А как же еще можно смотреть, если хочешь что-нибудь понять? Я вам говорил? У меня есть определение: культура — это плодотворное существование. Человек — носитель этого плодотворного существования.

— Да, но еще многое зависит от оценки этих плодов, плоды бывают и вредные.

— Ну конечно!

— В вашем определении отсутствует, на мой взгляд, существенное — из всех биологических видов человек оказался более других способным к быстрым изменениям.

— Ну да, это очень важно — способность к перемнам, к перестройкам.

— Да вы так не думаете. Вы не считаете, что человеческое общество имеет право на социальные эксперименты.

— Я этого не говорил.

— Но весь роман ваш говорит об этом. Я вам не раз говорила, что со многим в нем не согласна и больше всего с этим — боязнью перемен. Лучше, если б они совершались без насилий, но разве отсутствие движения предпочтительней?.. Вы не обижайтесь на меня, Борис Леонидович, у вас огорчения, а я вам неприятного наговорила.

— Я не обижаюсь, потому что вы абсолютно неправы.

— Ну в чем? Скажите. Я не буду спорить.

Но он не хочет отвечать.

Помолчали. Потом я говорю:

— Теперь я вам признаюсь: позавчера я тут ревела от сознания, что я бездарна.

— У вас тоже был грустный день?

— Да. Вам, наверно, нужно идти?

— Да. Я вам хорошо сегодня постоял — два часа. Условливаясь о следующем сеансе, я говорю, что он последний.

— Да не мучайте себя этим, почему непременно последний?

— Я сама себя заклинаю. Мне кажется, что даже природа с этой ранней зимой меня торопит.

Вешая ключ на кухне, я увидела, как он, сидя на стуле в передней, стаскивает сапоги.

— Сейчас буду принимать душ.

— Кончится это ревматизмом.

Он дружески улыбнулся в ответ.

*19 октября*

Во двор вышла Зинаида Николаевна, и я пригласила ее посмотреть. Она, при мне во всяком случае, очень давно не видела работы.

— Гораздо лучше! Гораздо лучше! — сказала она. — Теперь очень похож. Только правый глаз в уголке задрап.

Я повернула голову.

— Очень хорошо. И в профиль очень похож.

Я знала, что Борису Леонидовичу было бы, конечно, приятнее, если бы портрет и ей нравился, и была довольна.

Уходя раньше обычного, я зашла в дом, чтобы договориться с Зинаидой Николаевной о рефлекторе, которым я стала пользоваться, и попросить ее передать Борису Леонидовичу, что я хочу перенести последний оставшийся сеанс.

— Вы с ним сами договоритесь, он уже спускается. Боря!

— Поздравляю вас! Самый строгий критик одобрил. Хвалит и хвалит.

— Я очень рада.

— И вот что. Я хочу в присутствии Зинаиды Николаевны это сказать, хотя вы не хотите об этом и слышать.

— Раз не хочу слышать, зачем говорить?

— Нет-нет, постойте, погодите. Я должен сказать. Я вам это уже говорил, но я еще скажу. У нас сейчас нет денег приобрести портрет, но я это сделаю, как только они будут.

— Вы хотите со мной навсегда поссориться?

— Нет.

— Я вам подарю портрет в том случае, если он нравится, навязывать не собираюсь.

— Вы оригинал здесь, конечно, не оставляйте, — вам захочется показать, услышать отзывы, — а нам отлейте копию, подарите пока.

— Все отливы будут оригиналами. Но я вам портрет никогда не продам.

— Ну, там видно будет.

Я ему объясняю, что хочу отложить его последний сеанс, приеду в среду поработать сама.

— Так я вам в среду постою.

— Да мне не надо. За вами как был один сеанс, так и останется, только не в среду, а в какой-нибудь другой день. Вы поняли?

— Ничего не понял, — смеется он. — Я вам и в среду постою, и на той неделе во вторник или в среду.

— Да я этого и не прошу.

— Ничего, ничего.

— А потом я буду ходить в мучительницах.

— Да нет же! Хотите яблоко?

— Давайте.

Он протягивает два.

— Одно!

— Нет, два!

— Одно.

— Тогда вот это. Оно красивее.

Он весь искрится дружелюбием, весельем, расположением.

21 октября

Появился Борис Леонидович поздно, в третьем часу.

— Я все помню, что вы мне говорили и что я вам говорил, но я сегодня недоспал, неважно себя чувствую, и у меня лицо не такое.

— И вам не хочется позировать? Не надо тогда.

— Нет-нет, просто я боюсь, что мало вам подойду таким.

— Раз вам не по себе, нездоровится, не нужно.

— Но вы были бы рады, если бы я постоял?

— Ну конечно!

— Я буду стоять, с тем я и пришел.

Лицо у него, правда, совсем изменившееся: грустное, усталое, чуть обмякшее, но опять полно какой-то новой, очень человеческой привлекательности. Почти весь этот сеанс я держала его спиной, так мы и разговаривали.

— Почему вы плохо себя чувствуете, Борис Леонидович?

— Это даже странно. Очень часто я сплю по шесть часов и хорошо с этим справляюсь, а тут недоспал всего час — спал семь часов, а голова какая-то мутная, и зябко.

— Это, наверно, Кальдерон виноват? Вы не слишком из-за него устаете?

— Очень может быть. Он меня снова разочаровал. Он беднее и однообразнее, чем мне показалось.

— Может быть, все пришло бы в равновесие, если бы вы продолжали наряду с переводом и пьесу писать?

— Нет, надо сначала с ним разделаться.

— Сегодня я сделала ошибку. Утром, до того, как к вам ехать, прослушала снова баховские «Страсти по Иоанну». От пережитого волнения сейчас какая-то опустошенность и усталость, не надо было этого делать.

— Где же вы их слушали? У Дмитриева?

— Нет, дома, он мне дал на время пластинки. Жаль, что вы так загружены, я бы привезла их вам послушать. Или вам не до этого?

— Да. Мне присылают хорошие пластинки — современную музыку, Стравинского, но их слушают Ленья и гости.

— Почему у вас такое отношение к музыке, Борис Леонидович? — мягко спросила я.

— Это не только к музыке. Я понимаю, что многое упускаю, но что делать! Впереди так мало времени, а сделать хочется многое.

— Уже и кроме пьесы еще что-то хочется?

— Нет, пьесу очень хочется сделать. Сосредоточить в ней свои мысли об искусстве.

Иногда совершенно случайно, ну, чтоб завернуть что-то, возьмешь газету — и вдруг обнаружишь что-нибудь. Вот попались стихи из Челябинска. Кажется, Татьянаничева. Очень в форме сделано, ничего лишнего. Мне нравится такая каллиграфия. И из Челябинска!

— А вы не видели стихов Евтушенко в «Октябре»? Их уже успели разругать в «Комсомольской правде»<sup>84</sup>.

— Это там? — Он приводит какую-то знакомую строчку из Евтушенко.

— Нет, там этого нет. Есть хорошие стихи. Одно стихотворение легко пересказать, называется «Карьера». Мысль его в том, что настоящую карьеру делали те, кто шел наперекор, не боялся остаться в одиночестве, рисковать жизнью, а те, кто считал, что делали карьеру, приспособившись к господствующему мнению, на самом деле ее губили. Там есть такое четверостишие:

Ученый, сверстник Галилея,  
Был Галилея не глупее,  
Он знал, что вертится земля,  
Но у него была семья.

А кончается так: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее».

— Очень хорошо. Это чудная строфа. И за что же разругали? Надо приспособливаться, чтоб делать карьеру?

— Я статьи не читала, мне Сериков принес стихи и рассказал о ней. Я знаю только, что ругали стихотворение «Одиночество», Евтушенко обвинили в допжуанстве. В нем есть хорошая, молодая смелость. А вам он нравится?

— Да. Не надо ни из кого делать себе кумира, а просто ценить удачи и свое лицо. В каком номере эти стихи? В октябрьском?

Заговорили о рефлекторе, которым я теперь пользуюсь. Борис Леонидович попросил после работы принести его в дом.

— Так легко оставить его включенным. Эти нагревательные электроприборы — коварная штука. Недавно был такой случай. Я ложился спать, весь дом уже давно спал, и вдруг услышал слабый запах гари. У меня очень хороший нюх. Другой раз идешь по Переделкину ночью, в темноте, и ясно так представляешь: здесь кипятили молоко, и оно ушло — пахнет пригоревшим молоком. Я прошел по всей системе отопления — думал, может быть, перегрелась и где-нибудь начала краска плавиться, нет, все в порядке. Решил не обращать внимания, ложиться. Стал раздеваться. А запах такой знакомый. И вдруг вспомнил: во время войны на печурках сушили дрова, и иногда они начинали тлеть, обугливаться, и от них шел такой тонкий, горький запах. Я спустился вниз к Зинаиде Николаевне, она еще не спала. Поговорил с ней об этом, вышел, а у нас гладильный столик сделан из старого письменного стола, очень дешевого, фанерного, ужасного! На кружке стоит включенный утюг, кружка раскалилась, а под ней на фанере темный круг.

— Хорошо, что услышали, могла быть беда.

— Да. Может быть, большого несчастья и не было бы, но кто знает, как далеко могло зайти, прежде чем спохватились бы.

Помолчали.

— Я вам антологию принесла. Большое спасибо. Я зря так с наскоку судила, там есть немало интересного. И там есть поэт, который в одной частности, но существенной, мне нравится. Это...

И мы вместе одновременно произнесли:

— Герберт Рид.

— А вы слышали, что я сказал Рид?

— Да! Но, Борис Леонидович, почему вы подумали, что это я его имела в виду? Скажите!

Действительно, странно — в антологии на равных началах представлено больше двадцати поэтов, размещенных в алфавитном порядке.

Борис Леонидович дает оценку Риду в каких-то неуловимых для меня выражениях.

— Он был главой целой школы, — говорил он. — Эскейписты, персоналисты — вот как это называлось. Многие из вошедших в нее поэтов участвовали в этой войне. Они непротивленцы, но они отказывались не участвовать в войне — эскейпизм выражался в том, что они исключали войну из литературы.

— Мне он понравился по очень простой причине. Его герой постоянно ощущает тщетность индивидуальных усилий, безнадежность барахтанья человека в жизни. Но поступает всегда так, как будто уверен в целесообразности и успехе своих действий. Это у нас с ним общее. Не знаю, что за сила заставляет так действовать, ну, просто чтоб не быть тряпкой.

— Это проявление энергии, жизненности и составляет вашу индивидуальность, вашу особенность.

Мы сговариваемся на среду, это будет последний сеанс, хотя мы об этом и не говорим.

*27 октября*

Я с час поработала без него, застыли ноги, и я вышла попрыгать, чтоб согреться. Вдруг из дому вышел Борис Леонидович. Я тотчас остановилась, а он покачал головой.



Он был в сером пальто и черной каракулевой шапке пирожком, какой-то непривычный, в них он кажется очень высоким.

Он пристально посмотрел на портрет.

— Ничего мне не говорите перед работой, я должна буду выслушать ваше мнение, но пусть это будет в конце сеанса, когда все кончится.

— А какое еще может быть мнение, кроме того, что очень хорошо. Это и есть мое мнение.

Весь большой разговор этого сеанса запомнила урывками, — видимо, сказалось напряжение последних минут работы.

— Наверно, лет через десять я буду над одним портретом пять лет работать, — сказала я.

— Давайте не будем считать это последним сеансом. Хотите продолжить?

— Нет, не хочу. У меня есть самолюбие. Я сказала это вовсе не потому, а оттого, что чем дальше, тем больше отодвигается от меня конец работы. Когда я встречаюсь с художниками и вообще с людьми, занятыми творческим трудом, я теперь пристаю к ним с одним вопросом: что заставляет их считать работу законченной?

— Мне можно вам отвечать?

(Перед этим я работала надо ртом.)

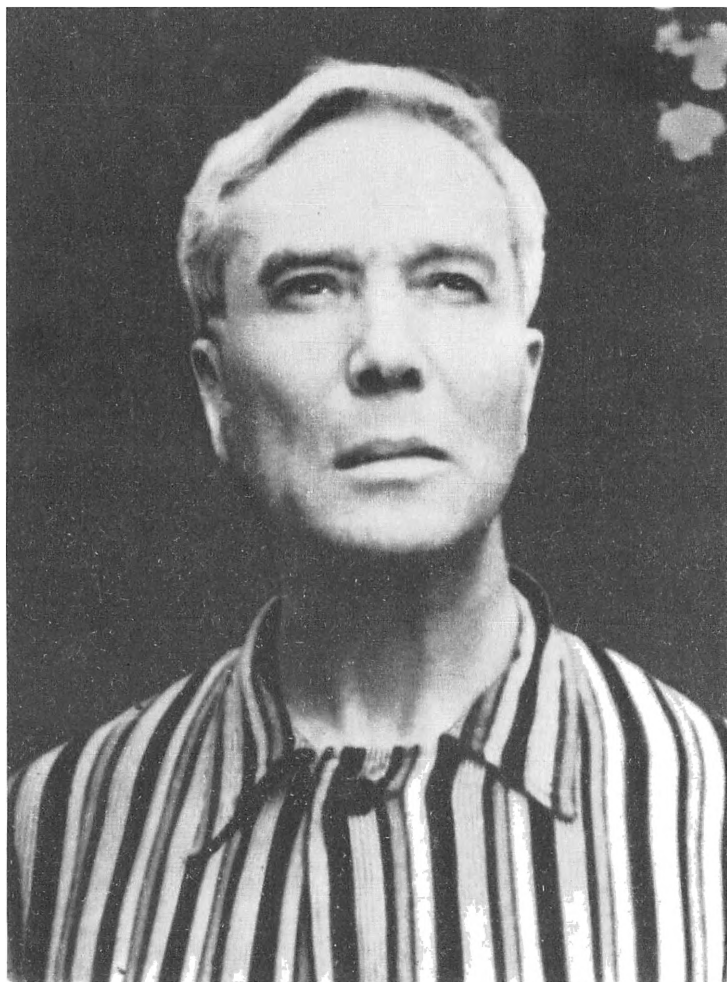
— Да, конечно.

— Сначала вы смотрите, и вам кажется, что вы видите, и вы начинаете работать, но это лишь овладение материалом, знакомство с ним. Вы убеждаетесь, что пока еще не видели, не охватили всего, и в процессе работы уточняете свое понимание. У вас есть модель, и вы добиваетесь сходства, достоверности. Но это слишком ваш случай. Что привлекает нас в искусстве? Возможность придать неживому подобие жизни. Для меня часто надо, чтоб приняться за работу, втянуться в нее — пойти по ложному пути, взяться за что-то случайное и боковое.

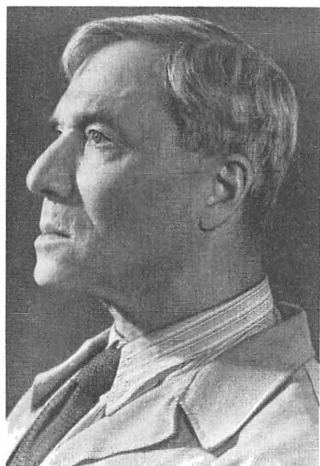
— Как страничка о следах планировки усадьбы в романе?



«И вот в это воскресенье я подходила к двухэтажной деревянной даче...»



«Самым удачным он считает снимок, сделанный после больницы, на котором он в полосатой пижаме, как арестант».



«Но фотограф так долго возился с освещением, что лицо Бориса Леонидовича стало каменеть...»

Уголок сада перед дачей.



Борого  
Зое Аркашево  
Масленниковой,  
уипов, муртешевской,  
палакитиной,  
на память  
о наших встречах и  
разговорах и о том,  
как подвигалась  
и скульптурная работа  
весною 1958 года.

---

Масленниковой

Переделкино  
30 сент. 1958.

«По дороге домой я прочитала надпись на книге...»



«Перпендикулярно к огромному окну с синими шторами, чуть от него поодаль, дубовый, ничем не покрытый письменный стол, почти пустой».

«Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен» (из телеграммы Б. Пастернака в Шведскую Академию по случаю присуждения Нобелевской премии).



БОЕВАЯ ПРЕМИЯ

Я продал, как зверь в загоне.  
Где-то люди, воли, свет,  
А за мною шум погони  
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда.  
Кли спаленной брезно.  
Путь отрезан отовсюду  
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за нагость,  
Я убийца и злодей?  
И весь мир заставляю плакать  
Над красной землей моей.

Но в так, почти у гроба  
Зари я, и жмует вода  
Сладу радости и слезам  
Одоеет дух добра.

Все твоем колесом облетела  
И наружу я выхожу.

Наша рука со мною правды  
Дружа сердца твои со мной

А с тобой ты же у горня  
А в котлах еще вода,  
Твоем слезам даже утешил  
Правда моя рука

«Он зачеркивает последнее четверостишие в одном из стихотворений и вписывает два других».

Дорогой мой  
Зураб и невесточка  
Зоя Адамовна, ко-  
торой я усаживал  
офиц. кепришкинскую, оруду-  
ю в бассейне близостан-  
се Зураб, Зобриш и  
Масаломы.

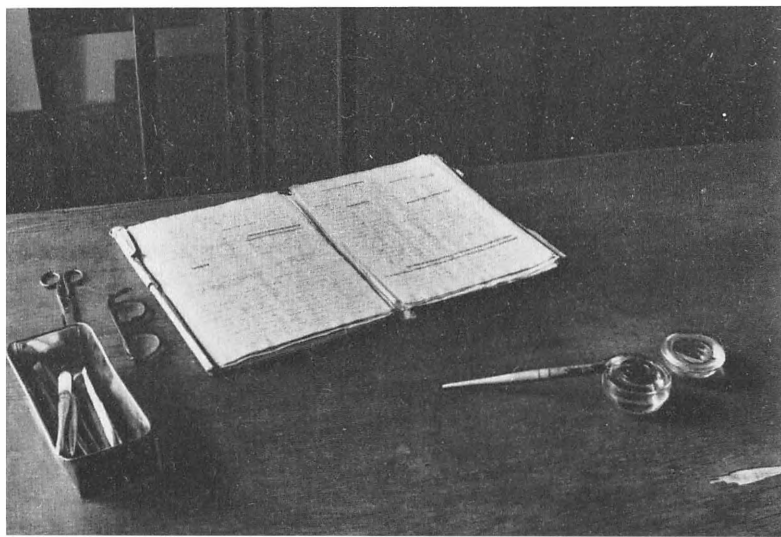
Мастурман

11 сент 1959.

Зоя Адамовна  
Зураб  
" Зураб ра Зурабичи."

«Потом что-то надписывает на листе, в который вложены стихи, и кладет тетрадку перед моими глазами, чтобы я прочитала».

«На столе большой... линованный блокнот, часть страницы испи-  
сана лиловыми чернилами... В левом углу... карманные часы,  
знакомая уже круглая чернильница и блестящая металлическая  
коробка, полная остро очиненных карандашей».







«Борис Леонидович был в неизменной серой куртке с голубой рубашкой».

«Направление, в котором вы шли, взято верно. Это — Лара».

«На дверях веранды висела записка, написанная рукой Бориса Леонидовича...»



На террасу ходит  
осторожно.  
Не подходит к лежащей  
внешней голове,  
она гудит держится  
на подпорках.

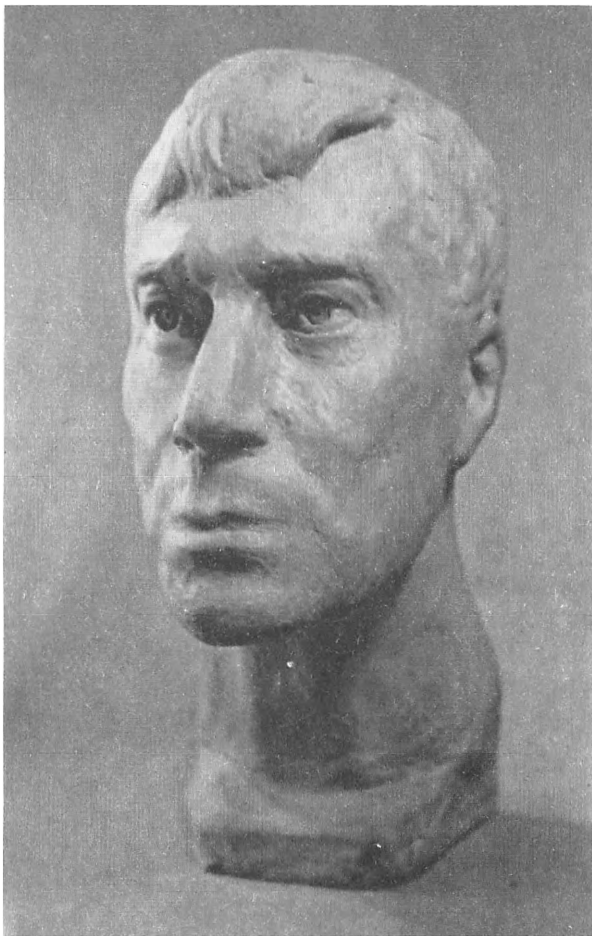


В Переделкипе. Слева направо: Борис Леонидович, Зинаида Николаевна, Нина Александровна Табидзе.

«А пьесу страшно хочется написать... Я уже заканчиваю свой жизненный круг, осталось мало времени, но ее хочется завершить».

Борис Леопидович в  
Узком. 1952 г.

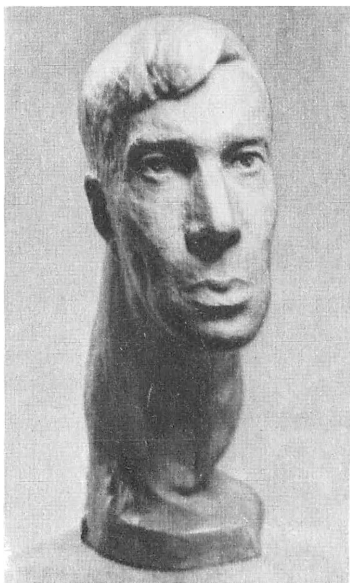




Первый портрет Пастернака (сделанный с натуры).

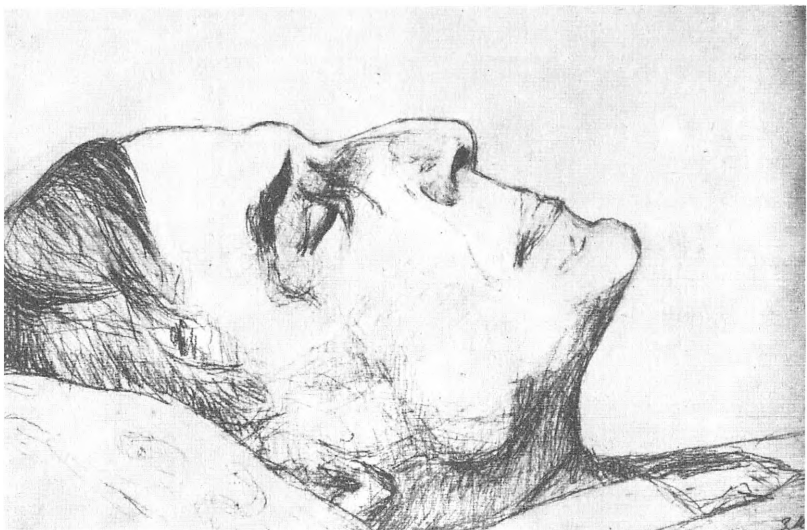


За кулисами после спектакля «Фауст» в постановке Гамбургского театра. Март 1960 г. Один из последних снимков Пастернака.



«Еще при его жизни я начала лепить дома второй портрет. Кончала я его уже под впечатлением от его смерти».

«А я, не прерывая мысленного потока прощальных слов, молча делала рисунок».





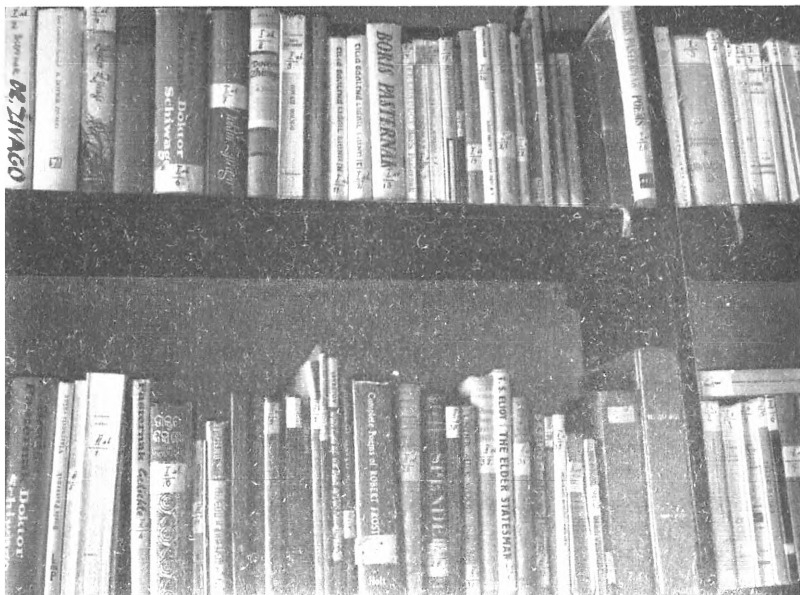
Барельеф «Свеча горела».





«Наконец предприняла попытку соединить лучшее, что было в портрете с натуры и во второй скульптуре».

«Полторы полки стеллажа заняли издания Пастернака на иностранных языках».



— Да. Я берусь за такую частность, увлекаюсь, а потом забываю об этих страницах. Затем идет работа над газетным слоем, подмалевком, я вам говорил: запись сюжета, событий, расстановка действующих сил. Потом, когда это сделано, я насыщаю его жизнью, добиваюсь сходства с моей внутренней моделью. А когда это достигнуто, когда материал начинает жить и достоверно соответствует моей модели, это меня удовлетворяет, и я останавливаюсь.

— Я понимаю. Но в работе над вашим портретом я впервые почувствовала вот что: сначала идут поиски общей формы, это и есть композиция. Но основное — это размещение частей внутри общей формы. Оно, как в исполнительском мастерстве в музыке, может иметь свои оттяжки, акценты, придыхания, все в рамках достоверности, все они несут свою смысловую нагрузку — и тут открывается бесконечность.

— Я вас понимаю. И вот что, я не хочу, чтоб у вас было чувство, что вы сегодня окончательно расстанетесь с работой.

— Это, конечно, расставание и с работой, и с вами.

Я его спросила, познакомит ли он меня с пьесой, когда напишет.

— Непременно. И если я буду читать пьесу, я вас позову... Сейчас роман должны еще раз издать во Франции по-русски, без такого количества опечаток, я вам тогда подарю...

Зоя Афанасьевна, я вас считаю другом и хочу вас спросить: заметили ли вы, что этих прошлогодних событий как бы не было в моей жизни, что я занят делом, работой и мало о них думаю и говорю?

— Заметила, конечно. Но если уж пошло на откровенности, то меня больше беспокоит ваша потребность в откликах, то, что вы к ним начинаете привыкать и, может статься, без этого уже не сможете.

Он отвечает с большой серьезностью и искренностью:

— Нет, это не так. Это в жизни тоже должно быть, но не как привычка к щекотанию нервов, а как накопление, освоение нового материала.

Вы знаете, что почти все отклики из-за границы. У нас есть или ищущая, но начинающая молодежь, или же те, с кем я имею дело, люди, составившие себе имя, очень пожилые — им предоставлена возможность топтаться на месте.

Я вам говорил об американском критике Мортоне. Он и раньше писал обо мне, а летом этого года опубликовал большую статью о романе. Это, конечно, гораздо глубже попыток расшифровать символы. Там есть нечто очень верное. Он начинает, правда, с моих старых стихов, а меня всегда огорчает и расстраивает, когда их вспоминают, такое там все случайное, непродуманное. Вы помните это?

Сестра моя жизнь, и сегодня в разливе  
Расшиблась весенним дождем обо всех...

Так вот, он это эпиграфом взял, мысль его такая, что жизнь всегда была моей сестрой, а сегодня в разливе романа расшиблась весенним дождем обо всех. Это он зря притянул, это искусственно, но дальше он пишет нечто очень правильное.

Он говорит, что роман — это жизнь, Россия. И больше, чем Россия в то время, это жизнь моя, ставшая жизнью всех, и его в том числе.

Но в это время показывается почтальонша, которую он высматривал в окошко, а когда он возвращается, мы говорим уже о том, как сохранить работу.

— Ее судьба в какой-то мере связана с моей. Издаются новые тиражи, новые переводы, делается фильм, пишут в газетах, говорят по радио, вот недавно Би-би-си устроило передачу для Бельгии о романе, и маловероятно, чтобы этот интерес внезапно пропал. Если мной интересуются и зачем-то делают портреты, то тем больший интерес пред-

ставляет ваша работа, которая сделана с меня и так удачно. Я не хочу вас вовлекать ни в какие политические осложнения, но если обстановка переменится, то почему не сделать эту работу известной? Конечно, все такие шаги я буду предпринимать только с вашего ведома и согласия.

Он вдруг стал рассматривать портрет и пришел в возбуждение:

— Молодец, Зоя! А правда, я изменился за последние пять-шесть дней?

— Да. Особенно вчера вы плохо выглядели. Лицо было землистое, все живые краски ушли.

— Да. И как ни кокетничай, красавца из меня не получится, кокетство мне не помогает...

— Когда вы Кальдерона кончите?

— Недели через две.

— Так подвинулось?

— Да, но потом...

— Как, потом еще что-то будет?!

— Нет, потом еще неделю займет чистка и редактирование. Но, вообще, еще кое-что будет.

Вот еще отрывок из разговора:

— Не знаю, поймете ли вы это. Эта мысль так сжата в формулу, что нужно о-очень быть подкованным в философии, чтобы она дошла в таком виде. Вот она: ботаника, зоология, география — науки неизбежно описательные, другими они быть не могут. Но яблоня не нуждается в описании, она сама пишет свою биографию.

В этот день я наслушалась от него похвал по разным поводам. Говорил он обо мне задушевно и серьезно и сказал много такого, что запало в душу.

Он в третий раз предложил продолжить работу.

— Вы можете приехать поработать, но если решите не работать и приедете забрать голову, я и к этому буду готов, не удивлюсь. Хорошо?

Мы уславливаемся, что он позвонит до субботы и мы сговоримся.

28 октября

В десятом часу вечера я подошла к телефону (я заметила, всегда он звонит около 21.30).

— Зоя Афанасьевна, пусть этот день будет понедельник второго ноября, хорошо?

— Очень хорошо. Спасибо.

— Как вы живете?

— Почему-то испытываю сильную усталость и стараюсь ничего не делать.

Рассказываю ему о сегодняшнем разговоре с Асеевым по телефону.

— Будете с ним говорить, передайте привет.

— Спасибо, передам. А как вы? Как настроение?

— Э-э... Работа то идет, то спотыкается. У нас с вами ведь все зависит от работы, да?

— Пожалуй.

— Ну, будьте здоровы.

— До свидания.

2 ноября

На этот раз, увлеченная работой, я не заметила, как он подошел, и вздрогнула от стука открываемой двери.

— А-а! — воскликнул он, впившись взглядом в портрет. — Очень хорошо! Очень хорошо! Простите меня не только за то, что поздно пришел, но и за то, что сбил вас с вашего решения кончить в прошлый раз.

— Вы умница, что пошли на это. Знаете, этой ночью вы мне приснились. Вы были великолепно освещены, а главное — лысый, все было так понятно. Это нелепо, но это мне помогло.

Я сообщаю о переговорах с форматором и фотографом, он входит в подробности.

— Вы говорили еще раз с Асеевым? — спрашивает он.

— Нет, я только вчера видела отца, я хотела его попросить посмотреть Асеева.

— А как Асеев отнесся к этому?

— Он сказал, что был бы рад. Дело в том, что папа болен той же болезнью и справляется с ней физическими методами, а Асеева лечили медикаментами, и сейчас у него любые лекарства вызывают аллергию.

— Пусть он его непременно посмотрит. Значит, вы были в воскресенье на даче?

И он принимается расспрашивать меня о моих домашних делах. Он задает и нескромные вопросы, вызывая меня на откровенность. Я отвечаю скупой, но по существу.

— Иногда я себя спрашиваю, — говорю я, — не наступит ли день, когда я из-за дочки пожалею, что так поступила.

— Нет-нет. Возвращения никогда не достигают цели. И не надо жалеть. Вы всех жалейте. Полудоброta — безотносительно, ко всем, ко всему — лучше сосредоточенной на ком-то доброты. Жертвы всегда бесполезны. И потом наше воображение суше и жесточе жизни, жизнь всегда милосерднее.

И он рассказывает о своей первой неудачной женьтибе.

— А потом я увлекся Зинаидой Николаевной... Это была тяга, которая должна была сокрушить препятствия. О, мои жертвы — первая жена и сын — и не подозревали, каких мук мне стоило порвать с ними!

Он рассказывает о Лене.

— ...Я с ним поговорил: Ленечка, помни, что могут быть последствия, которые будут тянуться всю жизнь. И рассказал ему о своем первом браке. Почему я вам все это говорю? Чтобы сказать, что жизнь милосерднее нашего воображения. И к моим жертвам она была милосердна. Нет, я не хочу сказать, что в жизни нет ужасного, трагического, непоправимого, но в общем, как закон, она добрее к нам, чем мы обычно ожидаем.

— Мне очень важно то, что вы сказали. Нет, это ничего не меняет, на компромисс я все равно не могла бы пой-

ти, но вы единственный, кто одобрил мою линию в жизни. Близкие меня пугают будущим, и главный их аргумент — Даша.

— У Даши будут две матери — вы и жизнь.

И еще он сказал:

— Я против каких-либо правил — должна ли быть обязательно семья по домострою или свободная любовь — в каждом случае это по-разному. И роман об этом и говорит, о том, что не должно быть таких правил, жизнь сама решает, какой ей быть...

Избежать ударов и несчастий мы часто не можем, но самое важное — это сохранить гордость. В конце концов нести наши неудачи с достоинством — это часто единственное, что нам остается. Но у вас есть ясная цель, воля, трудолюбие, увлеченность, страстность — все то, за что я вас люблю. Вам всегда, как ваше постоянное качество, сопутствует сдержанность. Вы — натура героическая. И вы человек искусства. Именно вокруг искусства особенно много болтунов и бездельников. Вашими спутниками и спутницами должны быть люди трудолюбивые, деятельные, каждый час которых направлен к цели, плодотворен, а не истерики и фантазеры. Такие люди, немного педанты, еще встречаются в научной среде, но в искусстве очень редко. Так называемые интересные люди, сразу бросающиеся в глаза в обществе, как правило, ничего не стоят, они пустоцветы. Остерегайтесь их. Есть такая вещь, как скромность. Люди, обладающие действительными достоинствами, о половине их не подозревают... О половине их не подозревают! И не бойтесь жизни, вы любите свое дело, вы своего добьетесь.

— Прошлой осенью, в такое тяжелое для вас время, вы мне сказали о том же, собственно. Это были два слова, которые мне очень помогли: доверяйте жизни! Я ее боялась, потому что всегда приходилось одной нести все последствия своих поступков, не было опоры.

— Правда, лучше иметь дело с авторами драм, чем с их героями? — пошутил он.

Мы поговорили о чем-то другом — в это время, сидя на корточках, я рассматривала подбородки снизу — и я спросила:

— Признаться вам или не признаваться? Вы не расвирепете? Знаете, чем я буду заниматься, когда кончу этот портрет? Буду приводить в порядок записи того, что вы говорили об искусстве.

— Это о моих противоречиях?

— Нет!

— О, спасибо! Какая вы милая!

— Вы правда не сердитесь? Я страшно боялась.

— Нет-нет. Спасибо вам.

— Вы так свободно со мной разговаривали и вдруг...

— Да, прежде чем вы это сказали, я подумал — почему мне так приятно с вами говорить?

— Когда я их приведу в порядок, может быть...

— Показать их мне?

— Да, я могла что-то не так понять, ошибиться.

— Нет, не надо. Пусть это будет ваше дело.

— Странно, что физическое состояние и рабочее не совпадают. Я спала всего два часа, сильно болит голова, а работается хорошо.

— Да, это и у меня часто бывает. Во время болезни или после бессонной ночи особое состояние — обостряется внимание. Но это на нервах, все-таки гораздо лучше быть отдохнувшим, выспавшимся, здоровым.

— Борис Леонидович, вы не пожалели, что порвали с Ливановым?

Он чуть удивлен тем, что вопрос впад.

— В субботу 24-го были именины Зины. На воскресенье позвали гостей. А в пятницу, кажется, я был в городе, очень рано утром. Я поднялся к Ливановым, два раза постучал, но не открыли. Домработница, видимо, отлучилась, а они, наверно, еще спали.

Я сунул записку: если вы можете перешагнуть че-



рез письмо, приезжайте, а не можете, то пусть свое дело сделает время, — но ни слова извинений.

Я в том очень резком письме Ливанову задел еще двух моих приятелей — Асмуса и Нейгауза. Асмус совершенно безобидное существо... его не стоит так обижать. Я не знал, дошло ли до него, что я написал, но я перед ним извинился. А до Нейгауза дошло, и извиняться я не стал.

— Были Ливановы?

— Нет. Он в тот вечер играл, а жена не приехала, и вообще они сказали, что это еще надо обсудить. Но было бы гораздо лучше, если бы вместо коньячной дружбы и излишней был просто интерес ко мне. И я не лягушка, чтоб меня раздувать.

Правда, я изменился за последние дни? Это от переутомления.

— Да, вы не так хорошо выглядите, как я привыкла вас видеть. Но, наверное, перевод совсем уже близится к концу?

— Да.

— А вообще ужасно жаль, что вы так устали, когда предстоит кончать пьесу.

— Ну, кончать! До конца еще далеко.

— Все равно, впереди самое трудное.

— Нет, ничего. Я месяца на три-четыре обеспечился. Я вам говорил месяца полтора назад, что были материальные затруднения, что ожидалось какие-то ухудшения?

— Они не состоятся?

— Нет, минуют.

— Вот хорошо! Вам не нужно братья за новые переводы?

— Нет, я буду их делать. На очереди Незвал, Рабиндранат Тагор. Вчера у меня был один переводчик\*. Он

---

\* Юрий Глазов, усхавший позднее в Канаду.

сделал подстрочный перевод одного древневосточного автора — Кабуль, Кемаль? Я даже не запомнил. Уговаривал меня взяться. Почему-то существует такая нелепость, считается, что подстрочник должен делать один человек, а потом надо отдавать править его кому-то с именем, как будто автор подстрочника ни в коем случае не может справиться с редакцией. Я, конечно, отказался, сказал, что, по-моему, он сам должен это сделать...

— Ну вот видите, переводы будут.

— Вам нужны будут фотографии? — спросила я.

— С портрета?

— Да.

— Да, спасибо! Вы с нескольких точек сделаете? И отсюда, и отсюда?

— Да, в разных ракурсах.

— Да, и даже несколько экземпляров, если можно.

Он хвалит портрет.

— Поставили последнюю точку?

— Можно и так считать. Знаете, меня не огорчает, а наоборот — радует, что кончаю, когда остаются возможности улучшить работу.

— Что, есть резерв? Я понимаю — как залог вашего движения.

— Вот вам и лимит исчерпан, — злорадствую я.

— А когда вы это говорили?

— Это вы говорили!

— Тогда, прошлой осенью, пусть на ошибочной, даже фальшивой основе вы сумели добиться какого-то очень живого сходства, передать что-то существенное. Это производило впечатление, и я не думал, что это можно повторить на другой основе.

— Скажите, вы находите, что теперь портрет лучше, чем тогда?

— Да. Намного лучше. Я вижу, что вы двигались к

ясной цели, добивались осознанного результата. Портрет — удача.

— У вас есть «Дополнения»? — спросил он.

— Нет, конечно. Вы о летних? Зимние есть.

— Да, это стихи прошлого года. Там семь стихотворений, надо для вас их перепечатать.

Когда вы сидели тут в углу и у вас вдруг загорелись глаза, и вы спросили: вы не рассвирепеете? — вы были похожи на девочку, которая сорничала и боится наказания, и надеется на прощение. На очень маленькую девочку.

Я вдруг испытываю всепоглощающий интерес к его уху, и мне, конечно, не до ответа.

Не помню, как зашел об этом разговор, но он сказал, что его французская приятельница мадам Пруайар воюет с Фельтринелли, который хочет ставить фильм, и накладывает запреты — то сй актриса на роль Лары не нравится, то еще что-то.

Рассказал, что издательство Галлимара во Франции выпустило тиражом в 15 000 очень дорогое иллюстрированное издание романа. Иллюстрации художника Алексеева, русского эмигранта.

— Он не умеет или не хочет рисовать. Вы мне как-то рассказывали о выставке современного западного искусства — так это не такое полное отсутствие реальной формы, а где-то посередине. Но он очень хорошо уловил настроенные романа. О многом я даже сам забыл, он мне напомнил. Начинается это развернутым листом, на нем изображены тянущиеся друг за другом лошади, катафалк, группа людей. Это похороны матери. Вообще много похорон, смертей, горя. Два гимназиста с расширенными от ужаса глазами, где-то сзади мелькает фигура Комаровского, Лары — это там, где ее мать травилась. Обнаженная рука Лары с утюгом, а из-под мышки виден Юрий Живаго.

Но я сын такого рисовальщика, а не знаю, удов-

летворил бы меня академически точный рисунок?

— Чтобы не было противоречия с духом романа, иллюстрации должны быть сделаны в реалистическом духе, но реализм должен быть современный, впитавший в себя достижения и символизма, и экспрессионизма, и абстракции. А как типажи?

— Мало соответствуют моему представлению. Лара — здоровая молодая русская баба. Лицо, правда, в пропорциях. Вы и лучше чувствовали, и лучше думали, когда лепили вашу Лару, — и прическа, и весь облик больше соответствует и ей, и времени.

— Что же вы мне не покажете это издание?

— Я сам его еще толком не видел, его мне только показывали. Но потом оно попадет ко мне, и я вам покажу.

— А это единственное иллюстрированное издание?

— Кажется, было еще в Дании, но я его не видел. Во всяком случае, они рассылали новогодние поздравления с рисунком из романа.

— Это там паровоз, который похож?

— Да. Я вам говорил?..

...Я мог бы после всего, что случилось, выдать себе пожизненную пенсию и жить, обыгрывая прошлогодние события. Но, как видите, мне просто некогда. Я занят делом, и надо думать о том, что можно еще сделать.

Он давно предупредил, что ему надо уйти в три, но он сам увлекся, и мы проговорили до полчетвертого.

— Ну, все! — говорю я наконец.

Он спохватывается, смотрит портрет и принимается его хвалить. Потом подходит ко мне с каким-то чудесным, озаренным лицом. Мы прощаемся.

— Мне сегодня было приятно позировать. Когда я вас увижу? Если вам нужно, я в вашем распоряжении.

— Что это вы такой добрый? Я не откажусь.

— Вы договаривайтесь с форматорм, а в пятницу я

вам позвоню, и мы тогда окончательно условимся. По-моему, все, и можно поставить точку, но если вы хотите, в понедельник я вам постою.

На этом мы расстаемся.

*11 ноября*

Он не позвонил. Я взяла такси и в чудесный солнечный день 11 ноября отправилась в Переделкино. Машина остановилась у крыльца, а я вошла, как обычно, без стука в пустую кухню за ключом, но тут показались Борис Леонидович и домработница. Он был в пальто и в кепке.

— Вы забирать приехали? В добрый час! — сказал он, здороваясь. — Я вам приготовил десять стихотворений, я их сейчас принесу. Я вам чем-нибудь могу помочь?

— Ничем, шофер все сделает.

— А поместится?

— Думаю, что да. Я ведь на ЗИМе все и привозила.

— Вы на меня не будете сердиться, если я уйду? Мне очень надо — и по телефону поговорить, и вообще. — Он говорит это, заглядывая в глаза, как бы ища понимания.

— Конечно, идите...

— Так вы хотите стихи?

— Ну как вы думаете?

— Я сейчас принесу.

Он идет наверх и спускается со стихами.

— О, спасибо! И вообще огромное вам спасибо за терпение и за доброту.

— Вам большое спасибо.

Это уже не формальность, а правда — благодарение его и мое.

Он несколько раз целует руку, говорит:

— И все продолжается. Да? Ну, до свидания. В час добрый!

Мы грузимся и уезжаем.

# 1960 год

---

11 января

Дома я доработала портрет. Его неудачно сфотографировали в пластине. Потом он был отформован, высушен и тонирован. Для него сделали подставку. Наконец все было готово.

Я выбрала самый будничнейший день — понедельник и время, когда Бориса Леонидовича обычно нет дома, и отвезла предназначенный ему экземпляр на такси.

Я вошла в дом и сообщила Зинаиде Николаевне, что привезла портрет.

— Да, но у нас сейчас нет денег.

— Разве что-нибудь переменилось? Борис Леонидович вам говорил, что не хочет портрета?

— Нет-нет, никакого такого разговора не было, просто мы сейчас заплатить не можем.

— Ни сейчас, ни потом денег я не возьму.

— Но как же так, даром?

— Вот так, даром.

— О, спасибо! А где же он?

Шофер внес портрет, я — подставку, и его поставили в рояльной.

Я хотела уехать тут же, но, когда Зинаида Николаевна предложила подождать Бориса Леонидовича и сказала, что он хотел поставить портрет в кабинете, осталась — важно было найти освещение.

Пришли Александр Леонидович и его жена Ирина Николаевна, все говорили, что теперь очень хорошо, что похож, что лицо одухотворенное.

— Ведь можно сказать, что это Боря, правда? — спросила их Зинаида Николаевна.

— Безусловно, — ответили они.

Я сидела в рояльной с Александром Леонидовичем, который рассказывал о судьбе своего проекта для Севастополя, когда в столовой раздался голос его брата.

Он шумно разлетелся с восклицаниями, но замер в дверях, устремив пристальный, оценивающий взгляд на портрет. На нем было зимнее распахнутое пальто (черное с черным каракулевым воротником, по которому шла резкая седина), черная каракулевая шапка пирожком и высоченные, как ботфорты, серовато-желтые валенки.

Он принялся хвалить портрет. Потом опомнился, снял шапку и поцеловал мне руку.

Он снял пальто, но остался в валенках. Любой другой в этих гигантских сооружениях, над которыми брюки казались трусиками, был бы смешон, но он был так домашен, так светски безразличен к своему виду, что они только прибавляли к его притягательности.

Опять все собрались, хвалили, обсуждали, где поставить портрет. Борису Леонидовичу хотелось, видимо, оставить его в рояльной.

— А то выйдет, что я собой люблюсь.

Но Зинаида Николаевна говорила, что тут бывают гости, которые напиваются, могут толкнуть и разбить, и что иногда здесь устанавливаются раскладушки. Борис Леонидович смирился.

Он взял портрет, Александр Леонидович подставку, и мы пошли наверх. Портрет поставили между гардеробом и дверью на веранду, напротив письменного стола. Борис Леонидович подошел ко мне.

— Спасибо! — сказал он и, обняв, поцеловал.

Я стала поворачивать голову, ища более выгодное освещение. Освещена она дневным светом плохо: окна начинаются низко от пола, и часть света падает снизу. При каждом повороте раздавались шумные возгласы, и я попросила:

— Не мешайте, дайте подумать!

— Да, верно, это автор должен сам решать, как стоять портрету, мы не должны мешать, — сказал Александр Леонидович, а когда я наконец повернулась, в комнате его уже не было.

— Я очень рад. Портрет очень хороший. И вы — прелесть!..

— Чем вы сейчас заняты?

— Пьесой.

— Только пьесой? А Лопе де Вега?

— Это потом, не скоро.

— Как хорошо!

— Да. Было время, она помертвела, а сейчас опять оживает. Я над ней еще долго буду работать. Я еще Незвала не сдал.

— А как здоровье?

— Сейчас хорошо. Было одно время что-то с сердцем: стало тяжело по лестнице подыматься, одышка, а потом прошло.

— Ну вот, а вы портрет тащили.

— Это ничего, с сердцем совсем прошло. Я знаю, что вы с Николаем Николаевичем видите и что вы что-то обо мне у него говорили, мне передавали. Спасибо вам.

— Он вам написал письмо, хотел, чтоб я его вам отвезла, но потом передумал, так оно у него и лежит. Он говорит: к чему это, если б он хотел дружить, то писем не надо было бы писать.

— Да не в этом дело, просто нет времени. Вот разделяюсь со всем этим и съезжу к нему, и все уладится.

— Что это у вас за новые украшения? — спрашиваю



я про ряды открыток и снимков, наколотых на стены.

— Это отовсюду шлют, на Рождество многое прислали. Вот это из Греции, — показывает он на фото античной головы с отбитым носом. — Я до сих пор не могу опомниться от счастья, которое на меня свалилось, которое не мне, какому-то другому человеку было предназначено, — признается он. — Но пойдете вниз, там ждут. Вы с нами пообедаете.

— Вы не так хорошо выглядите.

— Нет, это случайно. Иногда бывает, что выгляжу хуже, иногда лучше, но в общем — по-прежнему.

Спускаясь, он опять заводит разговор о деньгах. Я говорю, что он зря возвращается к этому, моя точка зрения неизменна.

В столовой ждет распоряжений шофер, его засыпают вопросами, а я под шумок быстро одеваюсь в передней и вхожу в столовую одетая. Борис Леонидович удивлен:

— Как, вы уже уходите? А вы не пообедаете с нами?

— Нет, спасибо. Я поеду.

Он принимается хвалить и благодарить меня.

— И я получил глубокое удовлетворение оттого, что портрет понравился и всем нашим. Я вам позвоню. Если произойдет что-нибудь важное — сообщу. А если что-нибудь будет написано, перешлю вам.

Он несколько раз целует руку и опять говорит о том, как доволен портретом. Я слушаю, кажется, довольно угрюмо (даже не запомнила похвал), и он говорит:

— Что бы вам такое сказать, чтоб вы поняли, что это не литература, а совершенно искренне, то, что я действительно думаю? Вот что я вам скажу! Надо хорошо относиться к людям.

До меня не сразу дошло.

— Это вы по поводу чего?

— По поводу...

Он ткнул себя в грудь. Я улыбнулась и не ответила.

11 февраля Борису Леонидовичу исполнилось 70 лет. Это просто недоразумение какое-то!

Я приготовила монографию о Серове с хорошими иллюстрациями. Но не застала его дома, отдала домработнице книгу, попросила передать мое поздравление с днем рождения и привет и ушла, никого не встретив.

На другой день в половине третьего звонок.

— О, Зоя Афанасьевна! Здравствуйте! Большое вам спасибо! Ваш Серов такой чудный! Мне было очень приятно.

— Правда? Я рада.

— Да, и он так хорошо издан, и вообще сам такой чудный, такой художник! Это, наверно, ужасно говорить, но мне тогда же подарили Рембрандта, но Серов мне даже больше нравится. И за надпись спасибо. Я получил большое удовольствие.

— Как, вы уже кончаете разговор? Но вы ни слова не сказали о себе!

— Сейчас, я только выгляну за дверь, не пужен ли кому телефон, я из Дома творчества звоню. Хорошо? Нет, ничего, говорят — пожалуйста.

В работе были перерывы. Приходит множество писем, вот заставили меня стены увешать открытками. Занимался переводами — то Кальдерон, то Незвал. Но новый год, — я хочу сказать — новый год жизни, — я решил начать работой и хотя поздно лег, но сегодня хорошо поработал над пьесой. Я, правда, отваживал всех друзей, даже самых близких, в эти дни много уходил из дому. Но Ивановы вчера сказали, что у них есть для меня подарок и что они принесут его вечером. Ну и засиделись, лег очень поздно. Правда, кроме Ивановых, никого не было. Сегодня еще буду работать.

В это время нас разъединили, он позвонил снова и спросил:

- А вы чем сейчас заняты?
  - У меня междуцарствие, ничего не могу надумать.
- Начала Асеева, но он заболел.
- Как, вы будете лепить Асеева?
  - Да, уже начала.
  - Даже начали?
  - Да. Но он морочит мне голову стихами и не хочет лепиться, к тому же он серьезно болен.
  - Ну ничего, поправится — будете продолжать.
  - Да, конечно.
  - А как вы себя чувствуете?
  - Довольно хорошо. А вы здоровы?
  - Здоров. Зоя Афанасьевна, уже заглядывают в дверь, нужен телефон, я вам лучше вечером как-нибудь позвоню. Спасибо. Спасибо вам! Будьте здоровы!

*6 апреля*

Прошло почти два месяца. Я не ездила в Переделкино. Борис Леонидович не давал о себе знать.

6 апреля без двадцати десять вечера звонок. Я сразу узнала его кажущийся по телефону высоким, чуть сдавленный голос.

- Борис Леонидович, милый! — воскликнула я.
- Зоя Афанасьевна, вы не думайте, что мы о вас забыли.
- А я думаю.
- Нет-нет, это совсем не так.
- Нет, забыли.
- Да нет же. Просто много всяких дел и событий...
- Как вы живете? — спросила я.
- Э-э, кое-что переводил, немножко подвинул пьесу.
- А что у вас нового?
- Ну вот, МХАТ «Братьев Карамазовых» ставит. Нет-нет, это не имеет никакого отношения ко мне, но я хочу посмотреть. А как вы это время жили?

— Ужасно!

— Да что вы? Как же это?

— Если рассказать, не поверите, решите, что я или с ума сошла, или выдумываю.

— Да что случилось?

И я ему рассказываю о драматических событиях моей жизни. На расстоянии чувствую то напряжение, с которым он слушает. Он вставляет вопросы, прерывает меня восклицаниями, переспрашивает. Мой рассказ его взволновал. Он высказывает свое отношение к тому, что случилось, дает советы и жалеет меня.

— Но вам, наверно, нужны деньги. Я мог бы вам дать сейчас три тысячи, у меня есть.

— Нет-нет, спасибо. У меня есть небольшой запас.

— Поклянитесь! Поклянитесь мне, что вам не нужны деньги.

— Не нужны, Борис Леонидович. И потом у меня есть источник, откуда я могу черпать.

Он меня уговаривает, но я отказываюсь.

Мы еще обсуждаем происшедшее. Наконец он говорит:

— Зоя Афанасьевна, я с вами сейчас расстанусь, я ведь из Дома творчества звоню. Я вам позвоню через неделю.

— Будьте здоровы!

— Будьте здоровы! Я вам позвоню.

*13 мая*

Проходили дни, недели, но обещанного звонка все не было.

И вот мне позвонила одна писательская жена и, болтая, вдруг обронила такую фразу:

— Да, а вы знаете, что Борис Леонидович болен? Говорят, очень серьезно.

Я похолодела. Оказалось, она сегодня виделась с же-

ной Либединского, и та ей сказала, что у Пастернака инфаркт.

Через час я уже была в Переделкине.

Вот что я знаю о его болезни.

В апреле из Западной Германии приезжала его корреспондентка, журналистка Рената Швейцер. Они виделись, Рената была им совершенно очарована. Борис Леонидович был с ней очень мил, провожал ее (как раз на Пасху). В воскресенье, 17-го, пришли гости, много ели, много пили... На другой день после Пасхи он плохо себя почувствовал — появились ужасные боли в сердце и плече, но он, преодолевая их, спешно сел за пьесу. За очень короткий срок, чуть ли не за день, он написал целую картину, привел в порядок и переписал начисто все, что было сделано раньше.

23 апреля с большим трудом добрался до дачи Ивинской и отдал ей написанное.

Вернувшись, он слег. Олух-врач заявил, что боли мышечные и надо побольше двигаться.

Лежал Борис Леонидович у себя наверху, но спускался в туалет. Сильные боли скоро прошли, он даже вымыл голову. А в ночь с 6 на 7 мая случился инфаркт. Тогда в дом переселилась литфондовский врач Анна Наумовна и при больном установили круглосуточное дежурство сестер. Зинаида Николаевна не жалела денег, и постоянно приезжали порознь и консилиумами медицинские светила.

13-го я говорила сначала с Ниной Александровной Табидзе. Инфаркт протекал, как ему положено: наиболее опасны первые 9 дней, если они минут благополучно, можно надеяться на хороший исход. Потом ко мне вышла Зинаида Николаевна. Мы обнялись с ней, и я, как милости, просила у нее позволения чем-нибудь быть полезной. Она меня благодарила, но не знала, что мне поручить. Но тут к нам подошла Анна Наумовна и сказала, что хочет покормить Бориса Леонидовича желе (он сидел на голодной диете, и уже несколько дней ему не давали

ничего, кроме крохотных порций жидкой манной каши на воде). В доме не оказалось желатина, и я тут же съездила в город и привезла все, что требовалось.

*14—30 мая*

С тех пор я стала ездить почти каждый день. Не знаю, очень ли было нужно то, что я привозила, но я могла выносить часы неизвестности в Москве, лишь что-то делая для Бориса Леонидовича.

Первое время вести были нешлохие. 9-й день миновал, и все жили надеждой на счастливый исход болезни — организм у Бориса Леонидовича был превосходный.

Но потом возникли тревожные и непонятные явления — он стал харкать кровью. С каждым днем падал гемоглобин. Появилась кровь и в испражнениях. Врачи ломали голову.

Мы говорили с Е. Е. Тагер, и она сказала, что ее родственник академик Тагер мог бы сделать рентгенологическое исследование. Она попросила меня передать это предложение Пастернакам.

Анна Наумовна ответила, что, если появится необходимость, она этой возможностью воспользуется. Но потом она решилась, и мы вместе с Тагер ездили в Рентгенологический институт на Солянке за аппаратурой и рентгенологами.

Тагер скрыла от меня результат. Но на другой день, это было 27 мая, Зинаида Николаевна, взяв с меня слово никому об этом не говорить, сказала мне, что рентгеном обнаружен рак. Первоначальным очагом были, вероятно, легкие, затем произошла метастаза через кость, поражен желудок.

Жить Борису Леонидовичу, по-видимому, осталось недолго.

При слове «рак» у меня все поплыло перед глазами.

Зинаида Николаевна была поразительно мужественна и тверда, когда говорила все это.

Вот что мне рассказывали о его последних днях.

Пожилой сестре Марфе Кузьминичне, проведеншей в борьбе за его жизнь тяжелую ночь, Борис Леонидович сказал, что, если б мог, он встал бы и поклонился ей в ноги за то, что она его отстояла, потому что той ночью он «слышал дыхание иного мира».

Татьяне Матвеевне сказал: «Трудно, Таня, хочу умирать».

А Зинаиде Николаевне говорил о том, что рад, что умирает, не может больше выносить людскую пошлость и уходит непримиренный с жизнью.

От Анны Наумовны я слышала, что все время он был в сознании, переносил болезнь необычайно мужественно, и если стонал, то они знали, что он спит.

Я еще раньше просила Зинаиду Николаевну передать ему, что мои неприятности уладились, и мне говорили, что он знает, что я часто бываю и привожу цветы и еду и что он велел очень кланяться и благодарить.

В последние дни Борис Леонидович отказался от пищи.

30 мая утром он сказал родным: «Ну что ж, будем прощаться?»

Но его стали уговаривать, что в этом нет необходимости.

Вечером ему сделали второе переливание крови, но на этот раз горлом пошла кровь.

В одиннадцатом часу он позвал сыновей. Он говорил им о том, как они должны жить, хотел, чтобы они больше сблизились, и просил не винить за то, что у него была вторая жизнь. Сыновья ушли, он очень устал от разговора, Леня мне потом говорил: «Может быть, этот разговор стоил папе жизни».

Он еще попросил Марфу Кузьминичну не забыть утром пораньше открыть окно. Это были его последние слова.

События, предшествовавшие болезни Бориса Леонидовича, и ее ход, на мой взгляд, так же полны драматизма, как и два последние года его жизни. Потрясающе проявилась некомпетентность врачей. Поэтому я приведу более подробную хронику этих недель, в которой использованы записи Ирины Николаевны Пастернак, подаренные ею мне.

6 апреля произошел наш последний разговор с ним по телефону, когда он узнал, что его портрет разбит вдребезги.

9 апреля Борис Леонидович был во МХАТе на «Братьях Карамазовых».

Из Западной Германии приехала его корреспондентка Рената Швейцер, с которой у него происходил трогательный роман в письмах. Они виделись у Ивинской. Рената была им совершенно очарована и просила Ивинскую: «Уступите его мне на неделю, у вас вся жизнь впереди». Борис Леонидович был очень мил с Ренатой.

17 апреля, на Пасху, раздеваясь после проводов Ренаты на аэродром, он вдруг пожаловался: «Какое тяжелое у меня пальто». В этот день много ели и пили — и дома, и у Ивинской.

18 апреля он плохо себя почувствовал, появились страшные боли в сердце и плече. Он говорил: «Это меня Бог наказал за то, что я был слишком мил с Ренатой».

Превозмогая боль и недомогание, он спешно сел за пьесу.

23 апреля с большим трудом дошел до дачи Ивинской и отдал ей написанное. Вернувшись, слег. Лежал в своем кабинете наверху, но спускался в туалет вниз.

25-го Зинаида Николаевна перевела его на первый этаж в рояльную. Он больше лежал, но обедал за общим столом.

26-го, по совету Тамары Владимировны Ивановой, вызвали врача Самсонова. По его мнению, у Бориса Леонидовича отложение солей и мышечная простуда.



27-го тот же врач настаивал на своем диагнозе и советовал побольше двигаться, чаще разминаться.

3 мая наконец сделали кардиограмму, которая была признана хорошей.

5 мая врач Бибикова признала стенокардию, велела лежать, не вставая.

6 мая состояние ухудшилось.

7 мая д-р Кончаловская подтвердила диагноз — стенокардия. В ночь на восьмое состояние резко ухудшилось.

9 мая Зинаида Николаевна настояла на полном покое, не разрешила подыматься с постели.

10 мая — сильное ухудшение, повторная кардиограмма, диагноз — инфаркт. В доме поселяется литфондовский врач Анна Наумовна и устанавливается круглосуточное дежурство сестер из Кремлевской больницы.

15 мая, воскресенье — очень плохой день, инфаркт распространился на переднюю боковую стенку, пневмония, в мокроте появилась кровь. Е. Е. Тагер привезла кислородную палатку.

16 мая — консилиум из знаменитостей (Петров, Фогельсон, Шпирт).

20 мая — плохой анализ крови, резкое падение гемоглобина (с 80 до 50), высокая РОЭ (68). Консилиум (Петров, Попов, Фогельсон).

22 мая — поражение инфарктом зарубцовывается.

23 мая — снова падение гемоглобина.

25 мая — анализы лучше, но очень плохое общее состояние. Внезапно повысилась температура ( $38,7^{\circ}$ ). Паника.

26 мая — утром  $37,1^{\circ}$ , рентген. Диагноз — рак!

27 мая — слабеет, мучительные желудочные явления, отказывается от пищи.

28 мая — гемоглобин 33. Попов. Переливание крови.

29 мая — общее состояние после переливания крови несколько лучше. К вечеру слабеет.

30 мая — очень слаб. Вечером второе переливание крови. Умер в 23.20.

*31 мая*

И вот я стою в рояльной одна. На раскладушке, посреди пустой комнаты, из которой убрали всю мебель, лежит Борис Леонидович. Он очень изменился. Стал законченно, безупречно красив, на лице отчетливое выражение познанной тайны, сдержанного страдания, в своей силе перешедшего в скрытое упоение. Это не отрешённость, а захватывающее переживание таинства смерти. Как будто в последние мгновения, когда он был уже «там», лицо еще отражало работу сознания.

И все это так сложно и значительно, так согласованно, что лицо потрясает и от него невозможно оторваться.

Увы, и это выражение оказалось преходящим, и скоро он изменился, стал величественней и отчужденней.

Я, наверно, долго над ним стояла, потому что вошла Зинаида Николаевна, медленно накрыла его простыней и, обняв меня за плечи, увела.

*1 июня*

Я уехала очень поздно. Вечером снова была там. Рояльная, столовая, терраса были уставлены цветами. Благоухали горы сирени, розы, нарциссы, ландыши... Шли люди прощаться. Шли переделкинские рабочие, крестьяне из Измалкова, близкие и незнакомые.

Наконец в 9 часов Зинаида Николаевна закрыла двери. Я сидела в саду. Она взяла меня за руку и повела в дом. Я провела эту ночь у них. В четвертом часу все разошлись после отпевания, чтобы набраться сил для последнего прощания, а я пошла к нему.

Это был наш последний сеанс.

2 июня

Шторы были задернуты, цветы вынесены. На Бориса Леонидовича лил яркий электрический свет, и бормотанье старушки, читавшей в углу псалтирь, лишь подчеркивало значительность и напряженность тишины.

А я, не прерывая мысленного потока прощальных слов, молча делала рисунок. Мне не хотелось обрывать эту близость. Уже светало, когда я поцеловала его в последний раз в совсем нестрашные милые губы и наконец прилегла отдохнуть.

Утром я поехала в Москву, а в три вернулась с Тагер-ми и Верой Леонидовной Юренской. У улицы Серафимовича милиционер в белых перчатках остановил такси. «Вы на похороны?» — спросил он и попросил пойти дальше пешком. Шоссе было запружено машинами.

Во двор потоком вливались люди и становились в медленно двигавшуюся нескончаемую очередь. Они входили через террасу в столовую, обходили гроб, оставляя все новые цветы, и выходили через кухню. Мне надо было сказать Зинаиде Николаевне несколько слов по поводу одного ее поручения, и Табидзе провела меня в совершенно пустую рояльную. Мы стояли с Зинаидой Николаевной у окна, глядя на траурную человеческую ленту. Потом я долго смотрела из дверей столовой в царственное прекрасное лицо. У изголовья застыли Женя и Леня и тоже не отрывали взгляда от отца.

Но люди прибывали, и меня оттеснили в переднюю. Дверь в комнату Зинаиды Николаевны была открыта. Там за роялем сидел Рихтер и играл. Напротив рояля стоял шкаф, наши взгляды встретились в зеркале, и мне казалось, что Рихтер играет для меня, что он один понимает, что со мной творится. А он, наверное, смотрел мне в глаза машинально, не видя.

Но не все пришедшие смогли проститься с Борисом Леонидовичем дома. Распорядитель из Союза писателей

потребовал, чтобы все шло по расписанию, и хотя Зинаида Николаевна при мне просила его продлить прощание, вскоре доступ к телу был прекращен. Борис Леонидович никак не хотел уходить из дому, гроб не разворачивался в узких проходах, и его долго и трудно выносили.

Сыновья и еще какие-то люди подняли гроб на плечи, и многотысячная толпа двинулась по шоссе на кладбище<sup>85</sup>. И казалось, что народ на руках, как ребенка, с любовью несет своего поэта к торжеству, и было что-то очень праздничное в цветущих яблонях и чистом, спокойном профиле, плывшем над людьми.

Я стала у старой сосны, наклонившейся над могилой, и гроб поставили у моих ног. Совсем близко было изученное во всех деталях дорогое лицо, смотреть в которое осталось считанные минуты.

Асмус произнес сдержанную, смелую речь. Он говорил о том, что умер писатель, вместе с Пушкиным, Достоевским, Толстым составляющий славу русской литературы, и если даже мы не во всем можем с ним согласиться, то все мы, однако, обязаны ему благодарностью за то, что он дал пример непреклонной честности, неподкупной совести и героического отношения к своему долгу писателя.

Голубенцев прочитал «О, знал бы я, что так бывает...», и на этом панихида кончилась. Какие-то мальчики пытались говорить речи, что-то выкрикивать из толпы, но Асмус остановил их. Зинаида Николаевна, Лёня, Женя стояли в голове могилы, окаменев.

Вдруг раздался плач, и из-за сосны я увидела белые женские руки, клавшие цветы в гроб и гладившие голову Бориса Леонидовича. Это была Ивинская.

Гроб подняли и опустили в яму. Стояла такая тишина, что, когда комья глины ударили в крышку, это прозвучало как орудийный салют. Над могилой вырос высокий холм из цветов. Кто-то из толпы стал читать «Август», и потом долго еще не расходились и тихо и неумело читали стихи Бориса Леонидовича — старые и еще не опубли-

кованные, и такой плотной и осязаемой была волна людской любви и признательности к нему, что я, изнемогая, выбралась из толпы.

\* \* \*

Теперь я часто приезжаю на кладбище. Я смотрю на окна комнаты Бориса Леонидовича, и меня не покидает странное чувство: их двое. Один там, в земле, а другой стоит у окна и разговаривает со мной. А когда я уйду, я слышу: «И все продолжается, да?» И для меня правда все продолжается: и наши долгие беседы, и работа над его новым портретом, и узнавание его в рассказах и разговорах о нем, и неожиданные встречи с ним и в стихах, и в природе, и в событиях жизни. И очень хочется выразить все это когда-нибудь, объяснить другим, какое безмерное богатство он нам оставил. То, что он был в моей жизни, заставляет меня любить ее как чудо, как удивительную, редкую удачу, и вся она пронизана и освещена этим соприкосновением с душой великого поэта.

*Май 1961 г.*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

На этом кончился мой «пастернаковский дневник» с записями встреч и разговоров с Борисом Леопидовичем. Но кое-какие дополнения, мне думается, все же нужно сделать.

Уже после смерти Пастернака я прочитала неоконченную его пьесу «Слепая красавица», в которой нашло отражение его отношение к портрету и драматическим событиям 20 мая 1959 года, когда пластилин растопился на солнце и работа чуть не погибла. Фрагменты ее были опубликованы в № 10 журнала «Простор» за 1969 год. Пьеса малоизвестна, поэтому я позволю себе частично пересказать содержание Пролога.

Описывается комната в барской усадьбе, где на шкапу стоит «белая голова» — портрет родоначальника хозяев имения. Некоторые действующие лица, как бары, так и крепостные, похожи на этот портрет. С головой связано поверье: пока она цела, цел и род.

Дворовых застигает известие, что нежданно возвращаются домой владельцы поместья, и они спешно убирают дом. Внезапно входят барыня и барин в разгаре ссоры. Помещик в пух и прах проигрался и требует у жены ее фамильные драгоценности, а она ему отказывает. Тогда он хватается дуэльный пистолет и хочет выстрелить в заступившегося за жену тайно влюбленного в нее камердинера (кстати, он похож лицом на «белую голову»), но выстрел попадает в портрет. Гипс разлетается на тысячи осколков. Часть их попадает в глаза крепостной девушки Луши, и она слепнет. Она-то и есть «слепая кра-

савица», давшая название пьесе и являющаяся прообразом России середины прошлого века. С гибели портрета начинается и гибель рода, чья судьба стоит в центре пьесы.

Уже после смерти Пастернака Ольга Всеволодовна Ивинская рассказала мне, что в злополучный день 20 мая он пришел к ней бледный, расстроенный, описал, что произошло с портретом, и сказал, что это предзнаменование скорой его смерти.

После того как мне удалось все восстановить, они увиделись снова, и он сказал: «Кажется, пронесло!»

Я понятия не имела о таком его отношении к своему портрету, иначе ни за что не рассказала бы ему по телефону 6 апреля 1960 года, в ответ на его настойчивые расспросы, о том, что накануне один человек в припадке безумия схватил гипсовый отлив его головы и со страшной силой бросил об пол, так что в дубовом паркете осталась вмятина и портрет разлетелся в куски. Услышав это, он на несколько секунд смолк, не отвечая на мои вопросы: «Борис Леонидович, вы меня слышите?» Потом после паузы сказал как бы издали: «Я тут».

По словам Ивинской, Борис Леонидович пересказал ей историю с разбитой головой и добавил: «Это конец. Теперь мне не уйти».

Через одиннадцать дней он слег в свою последнюю болезнь.

Не берусь это как-то объяснять, только привожу факты, отчасти с чужих слов.

Уж если наша работа над портретом отразилась в его творчестве и судьбе, то что говорить обо мне.

Я продолжала работать над образом Пастернака. Еще при его жизни я начала дома лепить второй портрет. Сначала я его уже под впечатлением от его смерти. Мне он кажется самым удачным, жаль, что Борис Леонидович его не видел. Затем, помня его желание, чтобы я вылепила барельеф, я сделала третий портрет, назвав его «Свеча

горела». И наконец, предприняла попытку соединить лучшее, что было в портрете с натуры и во второй скульптуре: так возник четвертый вариант его головы.

Эти работы нигде не экспонировались, только в № 9 «Панорамы искусств» за 1986 год в моих воспоминаниях об Ахматовой опубликован снимок с одного из портретов.

Я продолжала регулярно ездить в этот дом. Мне пришлось дело — я стала разбирать письма, присланные Борису Леонидовичу из Англии, Франции, Америки, Индии — со всего мира. Их было много больше тысячи. Я разобрала 300: читала и записывала по-русски краткое содержание. В основном это были отклики разных людей на роман. Бориса Леонидовича благодарили, рассказывали о потрясении, вызванном чтением, делились мыслями. Это был поток признательности великому художнику, выражение любви, с ним делились личными переживаниями. В письмах не было ни малейшей политической подоплеки: шел разговор сердца с сердцем наедине.

Зинаида Николаевна окрепла после инфаркта, и мы с ней стали приводить в порядок и каталогизировать архив: рукописи, письма, книги. Я купила папки, пересмотрела все рукописи и машинопись, рассортировала, разложила по папкам, перенумеровала, сделала подробную опись.

Зинаида Николаевна помогала, когда не была занята по хозяйству, печатала на машинке, надписывала, наклеивала. Какой-то поверхностный порядок до нас навели Евгений Борисович и его жена, но в основном всю работу пришлось проделать заново. Дубликаты машинописных рукописей Зинаида Николаевна отдавала мне, и у меня скопился собственный маленький архив. К тому же я сохранила черновые описи архива и при желании все можно восстановить.

Потом я взялась за библиотеку. Просматривала каждую книгу, и, когда обнаруживала листки с заметками Бориса Леонидовича, они переходили в архив. В ряде



книг попадались его заметки. В томике Блока внизу стихотворения «Темно в комнатах и душно» было написано его рукой: «Отсюда пошел «Близнец в тучах»<sup>86</sup>.

Две полки книжного шкафа с Энциклопедией Брокгауза и Ефрона пришлось отвести под книги с дарственными надписями их авторов.

Библиотека Пастернака состояла в основном из книг, присланных Борису Леонидовичу из-за границы в самое последнее время. Ведь еще в октябре 1958 года, впервые оказавшись в его кабинете, я обратила внимание на то, что у него совсем мало книг. Теперь стеллаж был заполнен книгами крупных западных поэтов и прозаиков на французском, английском и немецком языках, почти исключительно современных.

Полторы полки стеллажа заняли издания Пастернака на иностранных языках, а вот старых советских изданий его книг не было совершенно.

Своих собственных книг у Пастернака было на редкость мало. Это прежде всего старинные томики «Фауста» и Шекспира со множеством его пометок; плохонькое издание Блока без переплета в нескольких томах, Верлен, Рильке.

Еще небольшое число его книг оставалось на московской квартире в Лаврушинском.

После ремонта, сделанного в кабинете во время болезни, книги были расставлены очень приблизительно, по памяти, поэтому, чтобы найти нужную книгу, я решила на систематизацию по языкам, выделила поэзию, нижние полки отвела под словари и книги по искусству.

В разошедшемся шкафчике из красного дерева в нижнем ящичке был сложен архив Леонида Осиповича — рисунки, акварели, пастели, масло, записки, письма... Мы осторожно переложили все это в пустой чемодан. Под листом бумаги, устилавшим дно ящичка, оказалась записная книжка Бориса Леонидовича с несколькими не очень связными и разборчивыми записями, относящимися, видимо, к

поездке на фронт в 1943 году. Зинаида Николаевна подарила ее мне.

В освобожденные ящики я поместила иностранные газеты и журналы со статьями о Борисе Леонидовиче вместе с изготовленной мной описью.

Его платяной шкаф был пуст. В бельевое отделение мы уложили разобранные рукописи, коробки с фотографиями и личными его вещами, на внутренней стороне дверец прикрепили перепечатанную опись папок с рукописями.

На самом дне какого-то ящика я обнаружила в старой папке переписанные на машинке письма Марины Цветаевой к Пастернаку. По-видимому, Борис Леонидович дал их Алексею Крученых в обмен на бумагу с разрешением перепечатать, и Крученых, возвращая письма, приложил один экземпляр перепечатки, а Борис Леонидович забыл и считал, что письма пропали бесследно. Плохая бумага военного времени рассыпалась с полей в труху, и я перепечатала письма для сохранности.

За обедом Зинаида Николаевна нередко рассказывала что-нибудь о Борисе Леонидовиче, рассказывала живо, точно, конкретно. Я уговаривала ее писать воспоминания. «Я не писательница, я не умею писать», — отнекивалась она. Я настаивала. Она написала несколько страниц, но дальше дело не пошло. И тогда она предложила мне: она будет рассказывать, а я записывать.

Каждый четверг я приезжала на целый день, нередко с ночевкой, работала с архивом, а потом расспрашивала Зинаиду Николаевну и записывала ее рассказы.

Затем я их отредактировала и, когда все было готово, диктовала их Зинаиде Николаевне, а она печатала под диктовку на машинке. Получилась целая книга. Мы заключили с ней письменное соглашение о равных авторских правах.

Зинаида Николаевна была так безоглядно откровенна, что мне даже пришлось по ее просьбе купить несгорае-

мый шкаф специально для воспоминаний. Я выправила их под копирку, оставила себе два экземпляра, один отдала ей<sup>87</sup>.

Еще я очень уговаривала написать свои воспоминания брата Бориса Леонидовича — Александра Леонидовича Пастернака. Он делился своими сомнениями, мы много раз говорили на эту тему. Наконец решили, что я буду писать ему письма с вопросами, а он будет в письмах же отвечать мне. Я написала и отдала ему письмо, но он как и не ответил. Возможно, не я одна его об этом просила, во всяком случае через несколько лет он написал замечательную книгу воспоминаний.

Зинаида Николаевна после смерти мужа испытывала материальные трудности. Сводить концы с концами становилось все труднее. Пришлось отказаться от истопника и самой топить дачу. Котельная находилась под домом, и в морозы Зинаиде Николаевне приходилось вставать каждую ночь, выходить на улицу, спускаться вниз и подбрасывать уголь в топку. Возвращалась из котельной она измученная, перемазанная, жаловалась на боли в пояснице.

Дом требовал капитального ремонта. Зимой внизу было очень холодно, иногда Зинаида Николаевна ходила в валенках. Как-то в стене столовой появилась огромная трещина. Дуло изо всех щелей, нужно было перебрать балки между первым и вторым этажом.

Литфонд ремонтировал писательские дачи, в плане стоял и дом Пастернака. Но, будучи такой рачительной хозяйкой, Зинаида Николаевна всячески отбивалась от ремонта. Ведь для этого надо было полностью освободить дом, и слишком велика была опасность не получить его назад.

А делом своей жизни после смерти мужа Зинаида Николаевна считала сохранение дома в том виде, в каком он был при хозяине.

Когда поступали деньги по наследству, они шли в ос-

новном в уплату за дачу. Содержание ее стоило очень дорого. Почти тысячу рублей в месяц приходилось платить в контору. На отопление шло много дров и угля. Зимой платили рабочему за расчистку дороги от калитки к дому и гаражу.

Отказалась Зинаида Николаевна и от услуг шофера.

Теперь продукты доставлялись по заказу из Елисейевского, сначала два раза в неделю, потом перешли на один.

Зинаиду Николаевну очень угнетала неопределенность завтрашнего дня. Она усиленно хлопотала о пенсии. Мы сочиняли с ней ходатайства в Союз писателей, в ЦК, Хрущеву, Федину, Твардовскому. Я ездила с ее письмами, взывавшими о помощи, к секретарям Союза писателей, к директору Издательства художественной литературы.

Нигде не отказывали, но и пенсии не давали, просто не отвечали.

Однажды по просьбе Зинаиды Николаевны я поехала занимать деньги к Асееву. Николай Николаевич оказался болен. Жена его Ксения Михайловна принимала меня в неубранной кухне, заваленной невытой посудой, не отрываясь от хозяйства.

Я попросила 1000 рублей (уже новыми деньгами).

— Откуда у нас такие деньги? — недовольно сказала она.

Я знала, что деньги у них были, и немалые. Асеев, даже лежа в постели, играл на скачках. При мне к нему приходил маклер и передавались большие суммы.

— Дайте сколько можете. Зинаида Николаевна сейчас в бедственном положении, но как только получит аванс за сборник, тут же отдаст.

— Не понимаю, почему вы именно к нам обращаетесь, есть гораздо более богатые писатели.

— Есть. Но Николай Николаевич был дружен с Пастернаком.

— Не такие уж они были большие друзья.

Мне хотелось скверно выругаться, но деньги надо

было раздобыть. Я взяла 200 рублей и, оскорбленная за Бориса Леонидовича, возмущенная, расстроенная, ушла из асеевского дома. Кстати, Ксения Михайловна попросила вернуть эти деньги, не дожидаясь, пока Зинаида Николаевна сможет отдать долг.

Примерно за год до смерти Зинаиды Николаевны в Москву из Оксфорда приезжала сестра Бориса Леонидовича Лидия Леонидовна. Я передала ей через Зинаиду Николаевну, что хотела бы поговорить с ней. Лидия Леонидовна позвонила мне, и мы договорились о встрече у меня дома.

На звонок я открыла дверь и увидела двух пожилых дам. Одна из них была в серой накидке самодельной работы с прорезями для рук, вроде кавказской бурки или плащ-палатки, по виду скроенной из суконного одеяла. Голову украшал белый колпак детского покроя из синтетического меха. Костюм ее дополняли мужские башмаки, толстые шерстяные чулки и грубошерстная юбка. Это был удивительный образчик дореволюционной интеллигентки, не то народнического, не то толстовского толка. Облик ее твердо заявлял о равнодушии к внешности и готовности стойчески нести любые тяготы жизни.

Это и была Лидия Леонидовна. Она представила спутницу, подругу детства, у которой остановилась, быстро огляделась, критически прищурилась на портрет брата, похвалила какой-то случайный мой этюд маслом и приступила к делу.

Я объяснила, что хотела просить ее связаться с зарубежными корреспондентами Бориса Леонидовича (у меня были готовы для нее адреса тех, с кем шла у него интенсивная переписка), а кроме того, опубликовать в газетах просьбу передать ей или его письма, или копии с них и переслать все Зинаиде Николаевне.

Я уже знала, что на подобное ее объявление в газете почти никто не откликнулся, поэтому рассчитывала,

что она лично спишет с главными адресатами Пастернака.

К моему изумлению, она стала энергично отказываться от этой просьбы. Уверяла, что ужасно загружена, что быт отнимает много сил, не доходят руки даже до архива Леонида Осиповича. За 20 лет после его смерти удалось разобрать очень немногое. Там есть, между прочим, письма Бориса Леонидовича к родителям, но ей некогда привести их в порядок. Лежат целые груды книг, статей, вырезок из газет о брате, так и не распечатанных. И самой хочется что-то писать.

Я ей пробовала внушить, что нет для нее занятия более важного, чем дела брата. Убеждала ее написать о семье, о его детских и юношеских годах. Советовала привлечь к разбору материалов студентов-руссистов, ведь они только счастливы будут.

Но говоря все это, я уже понимала, что ничего существенного она не сделает.

Перед уходом Лидия Леонидовна снова пылко расхваливала висевший на стене натюрморт, опять покосилась на портрет Бориса Леонидовича и, распрощавшись, ушла со своей молчаливой спутницей.

Однажды Зинаида Николаевна сказала, что решила продать оригиналы писем Пастернака к ней. Я пришла в ужас. Но, видя ее решимость, посоветовала передать их моим друзьям: переводчице В. Н. Марковой и писательнице С. Л. Прокофьевой, будучи уверена, что письма попадут в самые прекрасные и надежные руки. Зинаида Николаевна перепечатала письма в трех экземплярах. Один оставила себе, второй отдала мне со словами: «Приложите к воспоминаниям», а третий приложила к оригиналам, чтобы не трепали при чтении.

Я настояла на том, что за семьей Пастернака сохраняется право в любой момент выкупить письма за ту же сумму в 500 рублей (назначенную Зинаидой Николаевной). Зинаида Николаевна умерла 28 июня 1966 года.

Я сказала сыну Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны — Лене, где находятся письма и что он может их выкупить. Но Леня этого не сделал, и письма были переданы на хранение в ЦГАЛИ.

Кроме того, я сделала еще девять портретов, на этот раз литературных, самых близких Пастернаку людей. И конечно, писала новые и новые стихи — и посвященные прямо ему, и навеянные высказанными им мыслями, которые продолжали жить во мне и развиваться годами.

Я знала, что к столетию Бориса Леонидовича в переделкинском его доме будет открыт мемориальный музей и решила сделать музею подарок. На свои скудные сбережения отлила с моего оригинала в бронзе портрет, который Борис Леонидович сам внес в свой кабинет и установил напротив своего письменного стола, ту самую «голову», что простояла в доме четверть века. К моему полному недоумению, бескорыстное это приношение было отвергнуто Литературным музеем, в ведении которого оказался переделкинский дом Пастернака. Из экспозиции исключили и старый гипсовый слепок, тем самым самоуправно нарушив интерьер кабинета.

Воспоминания Зинаиды Николаевны были приняты и анонсированы журналом «Дружба народов», но под нажимом наследников подготовленная мною с учетом пожеланий Зинаиды Николаевны публикация не состоялась. Совсем случайно я узнала, что без моего ведома воспоминания Зинаиды Николаевны выходят в «Неве». По моему настоянию журнал прислал мне гранки окончания, и я ужаснулась, прочитав их. Дело в том, что я уговаривала Зинаиду Николаевну рассказывать мне все без стеснения и обещала приготовить для печати вариант, из которого я уберу слишком интимные подробности. А в вариант, представленный в «Неву» наследниками, были включены детали, совершенно не допустимые с этической точки зрения. Я просила редакцию «Невы» убрать несколько абзацев, но с моим желанием не посчита-

лись, и мне пришлось снять свое имя с этой публикации.

Болят душа за память о Борисе Леонидовиче. Несмотря на всю помпезность юбилейных торжеств, горькая судьба поэта, непонимание, неуважение, возня вокруг его наследия продолжают и поныне.

Богатство, которым наделило меня его творчество и общение с ним, оказалось неисчерпаемым, вся моя дальнейшая жизнь шла от этого импульса. Публикация наших разговоров — лишь малая толика моей великой ему благодарности.

*Апрель 1987—1990 гг.*



## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Зинаида Николаевна Пастернак (урожденная Еремеева, 1894—1966); до 1931 г. была женой Генриха Густавовича Нейгауза (1888—1964) — выдающегося пианиста и педагога.

<sup>2</sup> Речь идет о биографическом, а точнее — автобиографическом очерке, написанном Пастернаком в мае — июне 1956 г. и предназначавшемся для готовившегося тогда к изданию большого сборника избранных стихотворений, но так и не вышедшего в свет. Очерк этот, в окончательном виде получивший название «Люди и положения», впервые был опубликован в 1956 г. на грузинском языке в журнале «Мнатоби»; на русском же (если не считать многочисленных зарубежных изданий) — только в 1967 г. (Новый мир. — № 1).

<sup>3</sup> Это сравнение см. в очерке Марины Цветаевой «Световой ливень» (1922): «Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, — и вот-вот...» (Цветаева М. Световой ливень. — Лондон: Искандер, 1969. — С. 24).

<sup>4</sup> Саму Анну Андреевну, судя по запискам Лидии Чуковской, очерк рассердил. «...Прочитав всю статью целиком, — пишет Чуковская, — я поняла, наконец, почему так обиделась Анна Андреевна. Дело вовсе не в путанице: «Подорожник» — «Вечер»! Это мелочь, хотя и характерная. Но все «Предисловие» в целом — воспринимается как история поэзии XX века, и в этой истории Ахматова для автора почти не существует, ей посвящен всего-навсего один сбивчивый абзац, в то время как, например, Марине Цветаевой целые страницы» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. — Париж: Имка-Пресс, 1980. — С. 212).

<sup>5</sup> Об обстоятельствах, при которых роман оказался за границей,

рассказано в публикации В. М. Борисова и Е. Б. Пастернака «Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».

«В мае 1956 года один из членов иностранной комиссии Союза писателей привез в гости к Пастернаку члена Итальянской компартии и сотрудника итальянского радиовещания в Москве Серджо Д'Анджело. В обстановке официального визита один из экземпляров романа с дефектным и неправомерным текстом был передан Д'Анджело для ознакомления.

Рукопись не вернулась. Д'Анджело сразу же переслал ее миланскому издателю Дж Фельтринелли, который вскоре известил Пастернака, что хочет издать роман по-итальянски и ищет переводчика. 30 июня Пастернак ответил ему, что будет рад, если роман появится в переводе, но предупреждал: «Если его публикация здесь, обещанная многими журналами, задержится и Вы ее опередите, ситуация будет для меня трагически трудной» (Новый мир.— 1988.— № 6.— С. 245—246). В дальнейшем ссылка на эту публикацию будет указываться сокращенно: Борисов В., Пастернак Е. Материалы...

<sup>6</sup> Знакомство Пастернака с Николаем Николаевичем Асеевым (1889—1963) относилось к 1910-м гг., когда оба они были студентами Московского университета. В 1913 г. входили в литературную группу «Лирика», затем в литературное объединение «Центрифуга». Первая книга Пастернака «Близнец в тучах» (1914) вышла с «дружеским предисловием Асеева», от которого Борис Леонидович, судя по письму А. Л. Штиху от 1 июля 1914 г., всячески «отбояривался» (Вопросы литературы.— 1972.— № 9.— С. 146). В 20-е гг. вместе сотрудничали в журнале «Леф». Однако после выхода Пастернака из «Лефа» пути его и Асеева разошлись, а с начала 30-х, после смерти Маяковского, их личные и творческие отношения приобрели сложный, даже драматический характер. В дальнейшем разность общественных позиций и взглядов на искусство привела к взаимному отчуждению, порой резкому (особенно со стороны Асеева, подчеркивавшего это печатно). И хотя временами дружеское общение между поэтами возобновлялось, они встречались и переписывались, знакомились с произведениями друг друга, былая дружба и былое понимание не восстановились.

Подробно о взаимоотношениях Асеева и Пастернака говорится в хорошо документированной публикации А. М. Крюковой в 93-м то-

ме «Литературного наследства» — «Из истории советской литературы 1920—1930-х годов» (М.: Наука, 1983.— С. 516—527; далее — сокращенно: ЛН-93).

<sup>7</sup> Отец Бориса Леонидовича — Леонид Осипович Пастернак (1862—1945) — художник, академик, в 1921 г. вместе с женой Розалией Исидоровной Кауфман (1867—1939) и дочерьми Жозефиной (1900) и Лидией (1902—1989) выехал в Германию. Там семья Пастернака жила до второй половины 30-х гг., а затем переехала в Англию.

<sup>8</sup> Анастасия Платоновна Зуева (1896—1986) — народная артистка СССР, играла во МХАТе; ей Пастернак посвятил два стихотворения — «Прошу простить. Я сожалею...» и «Великой истинной артистке...» Оба они написаны в 1957 г. (см.: Пастернак Борис. Избранное: В 2 т. — Т. 2. — М.: Худож. лит., 1985. — С. 420, 428; далее это издание будет упоминаться как Избранное, с указанием тома и страницы).

<sup>9</sup> «Объявление войны (первой мировой.— *Ред.*) застало Бориса Пастернака домашним учителем под городом Алексином на Оке. Страшная новость олицетворялась эшелонами мобилизованных, оглашаемыми женским причитанием. Ненастье, дожди и слезы сменили на редкость засушливое и жаркое лето. Освобожденный от армии из-за укороченной ноги, неправильно сросшейся после перелома, Пастернак обе следующие зимы (1915/16 и 1916/17.— *Ред.*) провел конторщиком на Уральских заводах», — говорится в комментариях Э. Мосман к книге «Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг». — Нью-Йорк; Лондон, 1981. — С. 353. А вот что рассказывал сам Пастернак в очерке «Люди и положения»: «Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А. Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих Горах на Каме, на химических заводах Ушаковых» (Избранное. — Т. 2. — С. 257). См. также стихотворение «Урал впервые» (1916) (Там же. — Т. 1. — С. 51).

<sup>10</sup> Возможно, речь шла о сонате для фортепиано, написанной Борисом Леонидовичем и изданной через много лет после его смерти, в 1979 г.

<sup>11</sup> Елена Ефимовна Тагер (1904(?) — 1981) и ее муж, известный

литературовед Евгений Борисович Тагер (1906—1984) дружил с семьей Пастернака.

<sup>12</sup> Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефедов, 1876—1959) — выдающийся скульптор. Много лет жил за границей (из них почти четверть века в Аргентине), где имел громкую славу. Вернувшись в 1950 г. на родину, он привез огромное количество своих скульптур, а также большой запас ценнейших пород деревьев, не уступающих по своей жесткости граниту или мрамору. Однако ни работы его, ни уникальная техника никому оказались не нужны: музеи и коллеги считали его скульптуры слишком «спорными», а материалы — «чуждой экзотикой».

<sup>13</sup> Супруги Кислицыны — талантливые геофизики, официально непризнанные подвижники науки.

Елизавета Яковлевна Драбкина (1901—1974) — известная писательница, автор книги «Черные сухари», «Зимний перевал», много лет провела в сталинских лагерях.

<sup>14</sup> С художником Валентином Александровичем Серовым (1865—1911) Б. Л. Пастернак не раз встречался в детстве и юности. Впоследствии поддерживал дружеские отношения с его женой Ольгой Федоровной (ум. в 1927) и дочерью Ольгой Валентиновной (1890—1946).

<sup>15</sup> Эти страницы, на которых говорится о Марине Ивановне Цветаевой (1892—1941), содержат ряд неточностей. Цветаева училась в Швейцарии не в монастыре, а в католическом пансионе.

Вот что пишет Вл. Орлов во вступительной статье к тому ее «Избранных произведений»: «Училась она много, но, по семейным обстоятельствам, довольно бессистемно: совсем маленькой девочкой — в музыкальной школе, потом — в католических пансионах в Лозанне и Фрейбурге, в ялтинской женской гимназии, в московских частных пансионах. Окончила в Москве семь классов частной гимназии Брюхоненко (из 8-го класса вышла). В возрасте шестнадцати лет, совершив самостоятельную поездку в Париж, прослушала в Сорбонне сокращенный курс истории старофранцузской литературы» (М.; Л.: Сов. писатель, 1965. — С. 7).

<sup>16</sup> Антифашистский конгресс — международный конгресс писателей в защиту культуры, проходивший в Париже в июне 1935 г. От СССР участвовали И. К. Луппол, М. Кольцов, И. Эренбург, А. Н. Толстой,

И. К. Микитенко, Галактион Табидзе, Ф. И. Панферов, Н. Тихонов, В. М. Киришон и др.

<sup>17</sup> Александр Сергеевич Щербаков (1901—1945) — секретарь ЦК ВКП(б) и одновременно секретарь Союза писателей СССР.

<sup>18</sup> Вот что писал об этом сам Пастернак: «Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заблуждения от почти годовой бессонницы, попал в Париж, на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте, без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения» (Избранное.— Т. 2.— С. 268).

В комментариях Е. В. и Е. Б. Пастернак к этому фрагменту говорится: «Цветаева показывала ему Париж, возила в Фонтенбло. Но встреча не принесла им ожидаемой радости (Цветаева называла ее «невстречей») (Там же.— С. 529). В публикации В. М. Борисова и Е. Б. Пастернака — еще определенной: «...неудача долгожданной встречи с Мариной Цветаевой, которой он не смог рассказать о мучившем его душевном разладе, только усугубила его «болезнь» (Борисов В., Пастернак Е. Материалы...— С. 210).

<sup>19</sup> Переписка между Цветаевой и Пастернаком, такая интенсивная прежде, после 1935 г. прекращается.

<sup>20</sup> Что же касается потери писем Цветаевой, то эту версию изложил Борис Леонидович и в своем автобиографическом очерке. Однако в упомянутых выше комментариях к нему указывается, что письма были потеряны в процессе их копирования А. Е. Крученых. Сохранились копии лишь некоторых из них.

<sup>21</sup> М. И. Цветаева вернулась из эмиграции 18 июня 1939 г. Ее дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, была арестована у нее на глазах 27 августа

на даче в Болшеве под Москвой; муж, Сергей Яковлевич Эфрон, — 10 октября там же. Эти факты приводятся по книге Марии Белкиной «Скращение судеб» (М.: Книга, 1988. — С. 69).

<sup>22</sup> О последних днях жизни Цветаевой см. в названной книге Белкиной, а также в очерке Лидии Чуковской «Предсмертие» (Собеседник. — 1988. — № 3). Заявление с просьбой принять ее судимой в открывающуюся столовую Литфонда Цветаева не прислала из Елабуги, а написала 26 августа 1941 г. в Чистополе, куда приезжала с надеждой получить прописку. Вопрос о прописке в Чистополе решала комиссия Союза писателей. Асеев был болен и прислал в комиссию письмо, в котором поддерживал просьбу Цветаевой. Присутствовавший же на заседании Тренев действительно категорически возражал, но комиссия, однако, удовлетворила просьбу. На следующее утро Цветаева вернулась в Елабугу, где через несколько дней, 31 августа, повесилась.

<sup>23</sup> Сын М. И. Цветаевой Георгий (Мур) сразу после похорон уехал в Чистополь, в конце сентября вернулся в Москву, через месяц (во время паники) эвакуировался в Ташкент и пробыл там до сентября 1943-го, затем снова перебрался в Москву, поступил в Литературный институт. В конце мая или начале июня 44-го, 19-ти с небольшим лет, был призван в армию. Об обстоятельствах его гибели долгое время ничего не было известно, поэтому рождалось много различных версий. Ахматова, например, считала, что «он такой был, что мог быть убит и как дезертир или еще как-нибудь» (см.: Струве Никита. Восемь часов с Анной Ахматовой // А х м а т о в а А н н а. Соч. — Т. 2. — Париж: Международное литературное содружество, 1968. — С. 331); говорили и о штрафном батальоне (тот же Никита Струве в сноске к процитированным выше словам Ахматовой).

Лишь через много лет журналисту С. В. Грибанову удалось установить время и место гибели Георгия Эфрона: сражаясь не в штрафном, а в рядовом батальоне, он погиб около 7 июля 1944 г. в бою на территории Латвии, под деревней Друйка (См. журналы «Родина» № 3 и «Неман» № 8 за 1975 г.).

Георгий привез в Москву ту часть архива Цветаевой, которую она взяла с собой в эвакуацию. Другую, основную, часть Марина Ивановна перед отъездом оставила у Бориса Александровича Садов-

ского (1881—1945), жившего в подвальном помещении трапезной бывшего Новодевичьего монастыря.

Сейчас и та и другая части архива находятся в ЦГАЛИ.

<sup>24</sup> Владимир Брониславович Сосинский (1900—1988) — русский литератор, долгое время жил во Франции, в 1939 г. принял советское гражданство, в 1947 г. сделался сотрудником советского представительства в ООН и переехал в Америку. Его жена — Ариадна Викторовна.

<sup>25</sup> Ленья — Леонид Борисович Пастернак (1938—1976) — сын Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны.

<sup>26</sup> Портрет Пастернака работы Анатолия Никифоровича Яр-Кравченко (1911) воспроизведен на фронтисписе книги «Стихотворения в одном томе» (1933). В письме издателю Г. Э. Сорокину от 18 февраля 1933 г. Пастернак спрашивает: «Как понравилась Вам работа Кравченки? Он очень одаренный художник, и одно удовольствие было наблюдать его работу. К сожалению, я неважно позировал ему, т. е. принял неудачную позу, напряженье которой отозвалось на лице: выраженье лица часто менялось и при легком утомленьи уже становилось неестественным. Короче говоря, если работа не так удачна, то виноват не автор, а модель» (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома за 1979 год. — М.: Наука, 1981. — С. 213).

<sup>27</sup> С Симоном Ивановичем Чиковани (1902—1966) Борис Леонидович познакомился в сентябре 1931 г., когда впервые приезжал в Грузию. С тех пор они много встречались, переписывались. Переводы Бориса Пастернака произведений Чиковани можно найти в томе «Стихотворений и поэм» Чиковани, изданном в 1983 г. в Большой серии «Библиотеки поэта».

<sup>28</sup> Случилось все же так, что не З. А. Масленниковой, а именно С. Д. Лебедевой (1892—1967) поручили впоследствии делать надгробие Пастернаку на переделкинском кладбище.

<sup>29</sup> Вот подстрочный перевод этого стихотворения Ренаты Швейцер.

### Последний

Свет потухает, ворота закрылись.  
Прошлое уходит вместе с сумерками.  
Последние следы лошадей и всадников  
стерлись в песке и стали воспоминаньем.  
В тусклом свете, окаменев в своем движении,

медлит у окна одинокая женщина.  
Груз невысказанной печали  
наполняет, как глухое дуновение смерти,  
овеянный мартовским ветром старый усталый дом.  
Свет угас, почки молодых тополей  
набухают в тумане. Стайка робких мальчиков  
останется жить у источника жизни.  
Сыновья уезжают и не возвращаются.

1943

<sup>30</sup> Имеется в виду стихотворение Ренаты Швейцер о капитуляции фашистской Германии. В момент ее подписания по немецкому радио исполнялась симфония Бетховена.

<sup>31</sup> В 4-м номере «Знамени» за 1954 г. было опубликовано 10 стихотворений Пастернака: «Март», «Весенняя распутица», «Белая ночь», «Лето в городе», «Ветер», «Хмель», «Бабье лето», «Разлука», «Свидание», «Свадьба». Публикация сопровождалась авторским предисловием, в котором указывалось, что стихи входят в роман «Доктор Живаго». Насколько известно, это было первое печатное упоминание о романе.

<sup>32</sup> Стихотворение Пастернака «Хлеб» было напечатано в 10-м номере «Нового мира» за 1956 г. вместе с романом Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Роман этот, вскоре после выхода разруганный, объявленный «очернительским», был одной из первых ласточек наметившейся после XX съезда «оттепели».

<sup>33</sup> Стихотворение о Сталине, которое Мандельштам прочел Пастернаку, — «Мы живем, под собою не чуя страны...» (См.: Мандельштам Осип. Собр. соч.: В 3 т. — Т. 1. — Вашингтон: Международное литературное содружество, 1967. — С. 268). Оно было написано в конце 1933 г. Пастернак ошибся, говоря о 1932-м.

<sup>34</sup> В воспоминаниях З. Н. Пастернак «Моя жизнь» излагается еще одна версия разговора Пастернака со Сталиным:

«Вскоре до нас дошли слухи, что Мандельштам арестован. Боря тотчас же кинулся к Бухарину, который был редактором «Известий», возмущенно сказал ему, что не понимает, как можно не простить такому большому поэту какие-то глупые стихи и посадить человека в тюрьму. Дело подвигалось к весне, и мы готовились к переезду на новую дачу, но пока все еще жили на Волхонке. В квартире, оставлен-



ной Боре и его брату их родителями, мы занимали две комнаты, в остальных трех поселились посторонние люди. Телефон был в общем коридоре. Я лежала больная воспалением легких. Как-то вбежала соседка и сообщила, что Бориса Леонидовича вызывает Кремль. Меня удивило его спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович», — меня бросило в жар. Я слышала только Борины реплики и была поражена тем, что он разговаривал со Сталиным, как со мной. С первых же слов я поняла, что разговор идет о Мандельштаме. Боря сказал, что удивлен его арестом и хотя дружбы с Мандельштамом не было, но он признает за ним все качества первоклассного поэта и всегда отдавал ему должное. Он просил по возможности облегчить участь Мандельштама и, если возможно, освободить его. А вообще он хотел бы повстречаться с ним, то есть со Сталиным, и поговорить о более серьезных вещах — о жизни, о смерти. Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики, очень непосредственно.

Он вошел ко мне и рассказал подробности разговора. Оказывается, Сталин хотел проверить Бухарина, правда ли, что Пастернак так взволнован арестом Мандельштама. Боря был совершенно спокоен, хотя этот звонок мог бы взбудоражить любого. Его беспокоило лишь то, что разговор могли слышать соседи. Он позвонил секретарю Сталина Поскребышеву, спросил, нужно ли держать в тайне этот разговор, и предупредил, что телефон находится в кухне коммунальной квартиры и оттуда все слышно. Поскребышев ответил, что это его дело. Я спросила Борю, что ответил Сталин на предложение побеседовать о жизни и смерти. Оказалось, Сталин сказал, что поговорит с ним с удовольствием, но не знает, как это сделать. Боря предложил: «Вызовите меня к себе». Но вызов этот так никогда и не состоялся. Через несколько часов вся Москва уже знала о разговоре Пастернака со Сталиным.

Об аресте Мандельштама, о хлопотах за него и телефонном звонке Сталина рассказала в «Листках из дневника» также Анна Ахматова: «19 мая 1934 его арестовали... Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину, я — в Кремль к Енукидзе... Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Приговор — три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли... и сломал себе

руку. Надя (Надежда Яковлевна Мандельштам.— *Ред.*) послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место. Потом он звонил Пастернаку».

(К последней фразе Ахматова делает примечание: «Все связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы, и Надя и Зина, и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка даже осмелилась написать <...> что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку.

Еще более поразительными сведениями о Мандельштаме обладает в книге о Пастернаке Х.: там чудовищно описана внешность и история с телефонным звонком Сталина. Все это припахивает информацией Зинаиды Николаевны Пастернак, которая люто ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее «люяльного мужа».)

«...Бухарин в конце своего письма к Сталину написал: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если бы мой друг поэт попал в беду, я бы на стену лез, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» — «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». — «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замаялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения».

Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим объяснил свои шаткие ответы.

...«Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». — «О чем?» — «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.

Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила...» (Вопросы литературы.— 1989.— № 2.— С. 207—209).

Примечательны сохранившиеся два письма, посланные Мандельштамом Пастернаку из воронежской ссылки (они помещены в 9-м номере «Литературного обозрения» за 1986 г.). Вот несколько фраз одного из них, от 28 апреля 1936 г.: «Дорогой Борис Леонидович! Спасибо, что обо мне вспомнили и подали голос. Это для меня ценнее всякой реальной помощи, то есть — реальнее. <...> Одной из наиболее для

меня тягостных мыслей является то, что я не увижу Вас никогда. Не приходит ли Вам в голову, что Вы могли бы ко мне приехать? Мне кажется, это самое большое и единственно важное, что Вы могли бы для меня сделать».

В мае 1938 г. Мандельштама вновь арестовали. Погиб он в том же году, 27 декабря, но не на Колыме, как считал Пастернак, а во владивостокском пересыльном лагере.

<sup>35</sup> Та же мысль звучит в словах Дудорова в эпилоге романа «Доктор Живаго». Обращаясь к Гордону, прошедшему через сталинские лагеря, он говорит:

«— Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления.

Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале.

И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничили колдовскую силу мертвой буквы.

Люди не только в твоём положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной» (Пастернак Борис. Доктор Живаго. — *Ann Arbor*, 1959. — С. 519).

Так считали многие современники Пастернака.

<sup>36</sup> В октябре 1957 г. в Италии побывала группа советских поэтов. Через год, в сентябре 58-го, итальянские поэты приехали в Москву с ответным визитом. Состоялся ряд поэтических вечеров, встреч, дискуссий.

<sup>37</sup> Андрей Андреевич Вознесенский (1933) рассказал о своем знакомстве с Пастернаком в очерке «Мне четырнадцать лет» (См.: Вознесенский Андрей. Собр. соч.: В 3 т.— Т. 1.— М.: Худож. лит., 1983.— С. 417—457).

Сейчас А. А. Вознесенский — председатель комиссии по литературному наследию Б. Л. Пастернака.

<sup>38</sup> Ошибка Бориса Леонидовича. Анастасия Ивановна замужем за Зубакиным не была... Борис Михайлович Зубакин (1894—1937) — археолог и поэт-импровизатор и Анастасия Ивановна Цветаева (1894) — писательница и переводчица гостили у А. М. Горького в Сорренто в августе 1927 г.

О них и об истории конфликта, приведшего к временному прекращению переписки между Горьким и Пастернаком, см. в 70-м томе «Литературного наследия» — «Горький и советские писатели. Неизданная переписка» (М.: Изд. АН СССР, 1963) и в более полном виде — Известия АН СССР: Серия литературы и языка.— 1986. Т. 45.— № 3.

<sup>39</sup> Первой женой Бориса Леонидовича была художница Евгения Владимировна Пастернак (урожд. Лурье, 1898—1965). Их сын — Евгений (1923).

<sup>40</sup> С Борисом Андреевичем Пильняком (Вогау, 1894—1938) Пастернак познакомился в 1921 г.; в конце 20-х гг. между ними установились близкие отношения. Весной 1931 г., живя в доме Пильняка на Ямском Холу, Пастернак посвятил ему стихотворение «Другу» («Илья не знаю, что в потемки тычась...»).

Повесть Пильняка «Красное дерево» теперь опубликована на родине — в журнале «Дружба народов» № 1 за 1989 г.

<sup>41</sup> Поездка Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны в Грузию состоялась летом — осенью 1931 г.

«Это была особая пора в его жизни. Пора новой любви, нового творческого взлета. И огонь поэзии бушевал в его сердце с особым жаром. Семейная драма привела его с Зиной в Грузию, привела его и к порогу новых творческих свершений. Это была особая веха, особый этап в его жизни и в его работе. Позднее он мне не раз говорил, что Грузия оказала на него такое же сильное воздействие, как Революция, что она стала для него новым открытием мира, началом новой жизни» (из

воспоминаний С. Чиковани, опубликованных в «Литературной Грузии». — 1968. — № 9).

<sup>42</sup> С Паоло Яшвили (1895—1937) Пастернак познакомился зимой 1930/31 г., с Тицианом Табидзе — летом 31-го, во время первой поездки в Грузию. «Зачем посланы были мне эти два человека? — писал Пастернак. — Как назвать наши отношения? Оба стали составной частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем» (Избранное. — Т. 2. — С. 271). В трагическом 37-м Табидзе был арестован и расстрелян; Яшвили, когда за ним пришли, застрелился.

<sup>43</sup> Неточность: торжества, посвященные Н. Бараташвили, проходили в октябре 1945 г.

<sup>44</sup> В «Литературной газете» 30 сентября 1958 г. были напечатаны четыре стихотворения А. Вознесенского: «Василий Блаженный», «В горах», «Роничок», «Южные базары».

<sup>45</sup> Писатель Всеволод Вячеславович Иванов (1895—1963) и его жена переводчица Тамара Владимировна Иванова (1900) принадлежали к числу ближайших друзей и соседей поэта.

<sup>46</sup> Летом 1912 г. Пастернак ездил на три месяца в Германию, в Марбургский университет заниматься философией. Впечатления от этой поездки описаны им в повести «Охранная грамота» и очерке «Люди и положения».

<sup>47</sup> Постановка «Гамлета» в переводе Пастернака намечалась во МХАТе в 1938 г. с Борисом Николаевичем Ливановым (1904—1972) в заглавной роли. Опубликован перевод впервые в «Молодой гвардии» (1940. — № 5—6).

<sup>48</sup> Речь идет, вероятно, о французской славистке графине Жаклин де Пруайяр. Ее знакомство с Пастернаком состоялось зимой 1957 г., они много беседовали и переписывались. Ж. де Пруайяр был подарен один из машинописных экземпляров романа «Доктор Живаго». По просьбе Бориса Леонидовича ею написано предисловие к его Собранию сочинений (оно вышло в издательстве Ann Arbor в 1961 г.).

<sup>49</sup> Впервые стихотворение Николая Алексеевича Заболоцкого (1903—1958) «Поэт», посвященное Пастернаку, было напечатано в

«Юности» (1956.— № 10), а затем вошло в сборник «Стихотворения» (Гослитиздат, 1957).

<sup>50</sup> «Фауст» Гете в переводе Николая Александровича Холодковского (1858—1921) выдержал множество изданий (см., например, «Academia», 1936). Перевод Б. Л. Пастернака был выпущен отдельной книгой в 1953 г. (Л.: ГИХЛ, со вступительной статьей и комментариями Н. Н. Вильмонта) и при жизни Бориса Леонидовича дважды переиздавался: в 55-м и 57-м.

<sup>51</sup> Действительно, Пастернак переводил «Марию Стюарт» трех разных авторов: в 1916 году — Ч. А. Суинберна (рукопись была потеряна); в 1956-м, по заказу МХАТа, — Шиллера (издана в 1958-м.— М.: ГИХЛ), а в последние годы жизни — «Марию Стюарт» Ю. Словацкого (перевод вошел в 1-й том Избранных сочинений Словацкого, выпущенный в 1960 г.).

<sup>52</sup> Кандидатура Бориса Пастернака выдвигалась на Нобелевскую премию неоднократно, начиная с 1946 г. (см.: Борисов В., Пастернак Е. Материалы...).

Присуждена Нобелевская премия ему 23 октября 1958 г. «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы».

<sup>53</sup> 25 октября в «Литературной газете» появилась рецензия редколлегии журнала «Новый мир», написанная еще в сентябре 1956 г. и отвергавшая роман «Доктор Живаго» как идейно порочный. Под рецензией стояли пять имен: А. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов, А. Кривицкий.

29 октября «Правда» опубликовала отчет о заседании руководящих органов Союза писателей и постановление об исключении Бориса Леонидовича из этого союза. Вот этот отчет:

#### «Единоедушное осуждение»

Вопрос о действиях члена Союза писателей СССР Б. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя, обсуждался 27 октября на совместном заседании президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей.

После вступительного слова председательствовавшего на заседании Н. Тихонова и выступления секретаря правления Союза писателей

СССР Г. Маркова развернулось горячее обсуждение, в котором приняли участие С. Михалков, В. Катаев, Г. Гулиа, Н. Зарян, В. Ажаев, М. Шагинян, М. Турсун-заде, Ю. Смолич, Г. Николаева, Н. Чуковский, В. Панова, М. Луконин, А. Прокофьев, А. Караваева, Л. Соболев, В. Ермилов, С. Антонов, Н. Грибачев, Б. Полевой, С. С. Смирнов, А. Яшин, П. Нилин, С. В. Смирнов, А. Венцлова, С. Щипачев, И. Абашидзе, А. Токомбаев, С. Ригимов, Н. Атаров, В. Кожевников, И. Анисимов и другие писатели.

Все участники заседания единодушно осудили предательское поведение Пастернака, с гневом отвергнув всякую попытку наших врагов представить этого внутреннего эмигранта советским писателем. Выступавшие призывали всех советских литераторов еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической партии, быть еще более бдительными и непримиримыми борцами за чистоту советской идеологии.

«Президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР, — говорится в единогласно принятом постановлении, — лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР».

30 октября был опубликован доклад секретаря ЦК ВЛКСМ Семичастного на торжествах по случаю 40-летия комсомола. О Пастернаке там, в частности, говорилось:

«Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно, говорим о свинье, что она такая, сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, — все люди, которые имеют дело с этим животным, знают особенности свиньи, — она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит.

Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не делает того, что он сделал. (Аплодисменты.) А Пастернак — этот человек себя причисляет к лучшим представителям общества — он это сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит. (Аплодисменты.)

Я хотел бы высказать по этому вопросу свое мнение.

А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался. (Аплодисменты.) Я уверен, что наша

общественность приветствовала бы это. (Аплодисменты.) Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а, наоборот, считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух. (Аплодисменты.) »

<sup>54</sup> 31 октября 1958 г. состоялось общемосковское собрание писателей, на котором было поддержано решение об исключении Б. Л. Пастернака из Союза писателей и принято обращение в высшие инстанции о лишении его советского гражданства. Стенограмма собрания опубликована в 9-м номере журнала «Горизонт» за 1988 г.

<sup>55</sup> Валентин Фердинандович Асмус (1894—1975) — выдающийся философ, давний (еще с конца 20-х гг.) и близкий друг Пастернака. Ему принадлежит интересная статья «Пастернак об искусстве», написанная в 1966 г. и опубликованная в 1987-м (Радуга.— № 8 — 9).

<sup>56</sup> Ольга Всеволодовна Ивинская (1912), переводчица, близкий друг поэта, автор книги воспоминаний «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком», изданной в Париже в 1978 г.

<sup>57</sup> «Вечерняя Москва, 31 октября 1958 г.

«Слово писателей столицы

С общегородского собрания московских литераторов

Президиум правления Совета писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР обсудили на днях действия Б. Пастернака, написавшего произведение, клеветнически изображающее советскую действительность, извращающее думы и чаяния, дела и поступки нашей интеллигенции. Как известно, роман Пастернака «Доктор Живаго» был отклонен в 1956 году редакциями советских журналов и издательств как клеветническое произведение, и тем не менее Пастернак счел возможным передать эту рукопись буржуазным издательствам.

Предательское поведение Пастернака единодушно было осуждено всеми участниками заседания. Учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания «холодной войны», президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писате-



лей РСФСР лишили Б. Пастернака звания советского писателя, исключили его из числа членов Союза писателей СССР.

Обсуждению этого постановления было посвящено открывшееся сегодня общегородское собрание московских писателей. К 12 часам дня зал Дома кино заполнили прозаики, поэты, литературные критики и литературоведы столицы. С информационным сообщением на собрании выступил заместитель председателя правления московской писательской организации С. С. Смирнов. Он подробно охарактеризовал действия бывшего члена Союза писателей СССР Б. Пастернака, несовместимые с высоким званием советского писателя, его клеветнический роман, исчерпывающая оценка которого дана в письме членов редколлегии журнала «Новый мир» в сентябре 1956 года. Появление романа «Доктор Живаго» — злобного, проникнутого ненавистью к социализму, художественно-убогого произведения — не случайно: Пастернак давно оторвался от народа, от литературной среды. Начав когда-то с деклараций о «чистом искусстве», он кончил тем, что стал орудием буржуазной пропаганды, выгодным объектом спекуляции для тех кругов, которые организуют «холодную войну».

Гневом и возмущением, глубоким презрением к внутреннему эмигранту, порвавшему связь со своей страной и ее народом, были проникнуты выступления участников собрания, единодушно одобживших постановление об исключении Пастернака из числа членов Союза писателей СССР».

<sup>58</sup> «Центральный Комитет Коммунистической партии  
Советского Союза

Никите Сергеевичу Хрущеву

Уважаемый Никита Сергеевич, я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому правительству.

Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство «не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР».

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.

Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог бы представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносильен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.

*Б. Пастернак*

#### «Заявление ТАСС

В связи с публикуемым сегодня в печати письмом Б. Л. Пастернака товарищу Н. С. Хрущеву ТАСС уполномочен заявить, что со стороны советских государственных органов не будет никаких препятствий, если Б. Л. Пастернак выразит желание выехать за границу для получения присужденной ему премии. Распространяемые буржуазной прессой версии о том, что будто бы Б. Л. Пастернаку отказано в праве выезда за границу, являются грубым вымыслом.

Как стало известно, Б. Л. Пастернак до настоящего времени не обращался ни в какие советские государственные органы с просьбой о получении визы для выезда за границу и что со стороны этих органов не было и не будет впредь возражений против выдачи ему выездной визы.

В случае, если Б. Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском сочинении «Доктор Живаго», то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий. Ему будет предоставлена возможность выехать за пределы Советского Союза и лично испытать все «прелести капиталистического рая».

Но кампания не унималась, газеты продолжали предавать Бориса Леонидовича анафеме. Газеты пестрели заголовками: «Позорный поступок», «Оплаченная клевета», «От эстетства к моральному падению», «Сорную траву — с поля вон», «Пасквилянт» и т. п. Особенно поражало бесстыдством напечатанное 1 ноября 1958 г. в «Литературке» «письмо одного рабочего», приводим его в сокращении:

«Лягушка в болоте...

Что за оказия? Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего о нем я до сих пор не знал, никогда его книг не читал...

Потом я поехал строить сталинградскую гидроэлектростанцию. Шесть лет тружусь я старшим машинистом на кране-экскаваторе № 681. Мы достраиваем великое сооружение на Волге. Я работаю на перекрытии русла. Вот ночью была буря, много наделала бед. Трудная была ночь. Сегодня все исправлено.

А какая там буря в луже у Пастернака? Как у лягушки в болоте. Бывает, такое болотце вместе с лягушкой мой ковш зачерпнет да выкинет.

Допустим, лягушка недовольна, и она квакает. А мне, строителю, слушать ее некогда. Мы делом заняты.

Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше.

Филипп Васильцов,  
старший машинист экскаватора. Сталинград».

<sup>59</sup> Речь идет о Вячеславе Всеволодовиче Иванове.

Обстоятельства увольнения его с работы таковы. После появления 5 января 1957 г. в «Литературной газете» статьи К. Зелинского «Поэзия и чувство современности», в которой бесстыдно перевиралось стихотворение Пастернака «Рассвет», В. В. Иванов, при встрече с ее автором, отказался подать тому руку.

В разгар антипастернаковской кампании К. Зелинский не преминул доложить об этом «писательской общественности»:

«Он, — гневался Зелинский на В. В. Иванова, — демонстративно не подал мне руки за то, что я покритиковал стихотворение Пастернака. Это была политическая демонстрация с его стороны. И я хочу, чтобы эти слова достигли до его ушей и чтобы он нашел в себе мужество выступить в печати и высказать свое отношение к Пастернаку.

Да, должна быть проведена очистительная работа, и все мы должны понять, на какую грань нас может завести это сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие и поддержка идет за счет зачеркивания марксистского подхода» (Горизонт. — 1988. — № 9. — С. 49).

После этого доноса В. В. Иванов был уволен из журнала «Вопросы

языкознания», где работал заместителем редактора, из Московского университета.

<sup>60</sup> Вероятно, Пастернак говорил о своем новогоднем пожелании «Друзьям на Востоке и Западе», написанном в декабре 1957 г. (впервые оно было опубликовано лишь в 1965 г. — в «Литературной России» 1 января).

<sup>61</sup> Предстоял приезд английского премьер-министра Макмиллана, и стало известно, что он хотел повидать Пастернака.

<sup>62</sup> О том, как стихотворение «Нобелевская премия» попало за границу, рассказала в книге воспоминаний З. Н. Пастернак: «...К нам приехал английский корреспондент Браун, и я видела, как Боря передал ему стихотворение «Нобелевская премия» и просил вручить его сестрам, жившим в Англии. Не прошло и недели, как нам прислали вырезку из английской газеты с этим стихотворением и возмутительными комментариями к нему» (Горизонт.—1988.— № 8.— С. 57).

Стихотворение впервые было опубликовано в «Дейли Мейл» 11 февраля 1959 г. и перепечатано многими другими зарубежными изданиями. После этого Пастернак был вызван к Генеральному прокурору Р. А. Руденко, где ему было предъявлено обвинение по 64-й статье УК РСФСР (измена Родине) (см.: Литературное обозрение.— 1988.— № 5).

<sup>63</sup> Возможно, речь идет об одном из галлимаровских изданий «Доктора Живаго» (их было два — в 1958 и 1959 гг.).

<sup>64</sup> Судя по стенографическому отчету III съезда писателей СССР, проходившего 18—23 мая 1959 г., о «деле Пастернака» там говорилось очень немного. Лишь в докладе А. Суркова, полном славословий по поводу успехов советской литературы за «отчетный период», есть такой пассаж: «Идеологические оруженосцы «холодной войны» пользовались любыми средствами, чтобы сорвать или уменьшить сферу наших контактов с писателями капиталистических стран: то спекулируя на венгерских событиях, то организуя в последнее время свистопляску вокруг исключения из членов Союза писателей Б. Пастернака за предательское поведение, недостойное звания советского писателя» (М.: Сов. писатель, 1959.— С. 28).

<sup>65</sup> Кроме А. Т. Твардовского, упрекнувшего доклад Суркова и некоторые выступления делегатов съезда в «дробности, несцепленности частей в целом, случайности и необязательности иных моментов»,

в желании отдать «дань инерции» и т. п., об этом говорили Н. Грибачев («Хорошо бы, если бы заодно было отобрано у нас право на такие доклады, каким начался наш третий съезд»), С. С. Смирнов, М. Ромм и др.

<sup>66</sup> Имеются в виду слова Н. С. Хрущева, сказанные им на XXI съезде КПСС: «В Советском Союзе нет фактов привлечения к судебной ответственности за политические преступления. Это, несомненно, великое достижение. Оно говорит о небывалом единстве политических убеждений всего нашего народа, о его сплоченности вокруг Коммунистической партии и Советской власти» (Стенографический отчет. — Т. 1. — М.: Госполитиздат, 1959. — С. 103).

<sup>67</sup> Разговор шел о статье Льва Адольфовича Озерова (1914) «Стихотворения Анны Ахматовой» в «Литературной газете» (1959. — 23 июня).

<sup>68</sup> Коля Дмитриев (1932—1947) — ученик Московской средней художественной школы, погиб от случайного выстрела на охоте. «Выставки многочисленных работ этого феноменально талантливого и плодовитого юного художника, организованные в ряде залов столицы, репродукции рисунков Коли Дмитриева в журналах вызвали живой интерес, всеобщее восхищение и признание самых взыскательных ценителей искусств», — писала газета «Советское искусство» 16 мая 1950 г.

В 1953 г. вышла (и потом не раз переиздавалась) книга Льва Кассиля о Коле Дмитриеве — «Ранний восход».

<sup>69</sup> Федор Николаевич Дмитриев — отец Коли, художник по тканям.

<sup>70</sup> Нина Александровна Табидзе (1900—1965) — жена Тициана Табидзе. После гибели своего друга Пастернак считал своим долгом взять на себя материальную и моральную поддержку его семьи. Нина Александровна была одним из самых близких друзей Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны, часто приезжала в их дом, переписывалась с ними.

<sup>71</sup> 6 июля 1959 г. в газете «Литература и жизнь» появилась подборка А. Вознесенского «Из новых стихов»: «Баллада 41-го года», «Тайга», «Лунная Нерль».

<sup>72</sup> Точнее: Риви. Джордж Риви (Reavey, 1907—1976) — английский славист и поэт. Начал переводить Пастернака и писать о нем еще в 1930 г., примерно тогда же завязалась переписка между ними. Впервые

увиделись они в 1935 г., на конгрессе в защиту культуры. В годы войны Риви был сотрудником посольства Великобритании в Москве и не раз встречался с Пастернаком, доставал ему английские издания.

В книге «The Poetry of Boris Pasternak (1914—1960). Selected, Edited and Translated by George Reavey with an Essay on the Life and Writings of Pasternak» (New York, 1959) Риви передает свое впечатление от Бориса Леонидовича: «Бывший студент Марбургского университета, человек, проникший в дух шекспировского Лондона, он странным образом казался естественной и неотделимой частью этого деревенского пейзажа, того Переделкина, которое поэтически преобразил и обессмертил в своих поздних стихах. Когда голос его раскатывался в монологах, казалось, что его слышно в Париже, Лондоне и на Урале. Казалось, что он заполняет комнату и простирается по полю и лесу за домом. Поразительно, как естественно вписывался он в этот пейзаж, в эти сосны, клены и березы. «Как будто какая-то часть растительного существования переселилась в меня», — сказал он однажды» (цитируется по ЛН-94, где напечатаны письма Пастернака и Риви за 1931—1933 гг.).

<sup>73</sup> Ладо Гудиашвили (1896—1980) — грузинский художник; в 1935 г. оформил книгу Б. Пастернака «Грузинские лирики».

<sup>74</sup> Вероятно, речь идет о сборнике «Boris Pasternak. Selected Writings» (New York, a New Directions Paperback, 1958). В эту книгу, наряду со стихами, «Детством Люверс», «Воздушными путями», входили и «Письма из Тулы» (1922) — рассказ, не переиздававшийся у нас с 20-х гг.

<sup>75</sup> Борис Леонидович говорит о Леонарде Бернстайне, приехавшем в 1959 г. на гастроли в СССР. Они встречались. В книге Л. Бернстайна «Музыка — всем» (М.: Сов. композитор, 1978) на с. 63 приводится интересное высказывание Пастернака: «Несмотря ни на что, я полон радости; мое искусство существует как рассказ о трагедии человеческого бытия; оно вскормлено трагедией; и мое искусство — это вся моя радость».

<sup>76</sup> Летом 1959 г. в Вене проходил VII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

<sup>77</sup> Давид Давидович Бурлюк (1882—1967) — поэт и художник.

<sup>78</sup> О чтении Маяковским поэмы «Человек» и впечатлении, которое произвел Маяковский на Андрея Белого, Пастернак написал в «Охран-

ной грамоте»: «Против него сидел с Маргаритой Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал как замороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо» (Пастернак Борис. Воздушные пути: Проза разных лет.— М.: Сов. писатель, 1982.— С. 275).

Ср. также воспоминания И. Эренбурга: «Белый слушал не просто — иступленно и, когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить» (Эренбург Илья. Собр. соч.: В 9 т.— Т. 8.— М.: Худож. лит., 1967.— С. 250).

<sup>79</sup> Историю о «злющих письмах» А. С. Эфрон к Н. Н. Асееву и их взаимоотношениях подробно рассказывает Мария Белкина в уже упоминавшейся книге «Скращение судеб», посвященной Цветаевой и ее семье.

По возвращении из ссылки в Москву в 1955 г. Ариадна Сергеевна узнает подробности о предсмертной просьбе Цветаевой к Асееву — позаботиться о сыне: «Не оставляйте его *никогда*. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас. Уедете — увезите с собой. *Не* бросайте», и о том, как Асеев «отмахнулся», «не выполнил завета матери»... Она порывает всякие отношения с Асеевым.

<sup>80</sup> Переписка Бориса Пастернака и Ариадны Эфрон за 1948—1957 гг. опубликована в журнале «Знамя» (1988.— № 7, 8).

<sup>81</sup> В ЛН-93, где, как уже указывалось, есть публикация А. М. Крюковой о взаимоотношениях Пастернака и Асеева, приводится свидетельство К. М. Асеевой о том, что ее муж высоко ценил стихи, включенные в роман «Доктор Живаго», сам же роман считал слабым в художественном отношении (см. с. 526). Там же есть еще один асеевский отзыв: «роман-неудачник».

<sup>82</sup> В то время по нашим экранам с огромным успехом шел американско-итальянский фильм «Война и мир», как отмечает «Кинословарь», «отмеченный высоким профессиональным мастерством и актерскими удачами» (М.: Сов. энциклопедия, 1966.— 292-я колонка). Режиссер фильма — Кинг Видор. Наташу играла Одри Хенберн, Андрея Болконского — Мел Феррер, Пьера — Генри Фонда.

<sup>83</sup> Об этом позднее, в марте 1963 г., Асеев написал статью «Достоевский и Маяковский» (см.: Вопросы литературы.— 1979.— № 4).

<sup>84</sup> В журнале «Октябрь» (1959. — № 9) были напечатаны стихи Евгения Евтушенко «Продавщица галстуков», «Нас в набитых трамваях болтает...», «Что делает великою страну...», «Ты говорила шепотом...», «Карьера», «Одиночество». Сразу же по выходе журнала, 20 сентября, в «Комсомольской правде» появилась статья критика А. Туркова «В погоне за дешевым успехом», резко критиковавшая стихи Евтушенко.

Примечательно, что стихотворение «Карьера» впоследствии стало поэтической основой одной из частей Тринадцатой симфонии Д. Д. Шостаковича.

<sup>85</sup> Как свидетельствуют «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, гроб Пастернака вместе с сыновьями несли Вячеслав Всеволодович Иванов, Лев Копелев, Владимир Корнилов. Известно также, что крышку гроба несли Андрей Синявский и Юлий Даниэль.

<sup>86</sup> Вот это стихотворение Блока (подчеркнуто в нем рукой Пастернака):

Темно в комнатах и душно —  
Выйди ночью — ночью звездной,  
Полюбуйся равнодушно,  
Как сердца горят над бездной.

Их костры далеко зримы,  
Озаряют мрак окрестный.  
Их мечты неутолимы,  
Непомерны, неизвестны...

О, зачем в ночном сиянии  
Не взлетят они над бездной,  
Никогда своих желаний  
Не сольют в стране надзвездной?

*11 дек. 1901*

→ Отсюда пошли «Близнец в тучах», «Сердца и спутники».

<sup>87</sup> Несколько страниц из мемуаров Зинаиды Николаевны Пастернак были опубликованы в сборнике «Станислав Нейгауз: Воспоминания. Письма. Материалы» (М.: Сов. композитор, 1988) и журнале «Горизонт» (1988. — № 8).



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ПАСТЕРНАК — СОБЕСЕДНИК.</b> ( <i>Вместо предисловия</i> ) . . . . .	3
<b>1958 год</b> . . . . .	16
<b>1959 год</b> . . . . .	121
<b>1960 год</b> . . . . .	237
<b>ПОСЛЕСЛОВИЕ</b> . . . . .	253
<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b> . . . . .	264

### **Зоя Афанасьевна Масленикова** **ПОРТРЕТ БОРИСА ПАСТЕРНАКА**

Редактор *Т. П. Зыкова*  
Художественный редактор *Е. Н. Заломнова*  
Технические редакторы  
*В. А. Преображенская, Г. О. Нефедова*  
Корректор *Л. М. Логанова*

ИБ № 5885

Слано в набор 19.03.90. Подп. в печать 23.08.90.  
Формат 70×108/32. Бум. типографская № 1.  
На вкл. офсетная. Гарпитура обыкновенная шовал.  
Печать высокая. Усл. печ. л. 13,3 (в т. ч. вкл. 0,7).  
Усл. кр.-отт. 13,65. Уч.-изд. л. 14,17 (в т. ч. вкл. 0,7).  
Тираж 50 000 экз. Заказ № 1136.  
Цена 1 р. 30 к. Изд. инд. ХД — 281.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Госкомиздата РСФСР. 103012, Москва, проезд Салунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Госкомиздата РСФСР, 144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тервояна, 25.

1 р. 30 к.



Советская Россия